

Не такая, как прочие

Роман

*Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.*

А.С.Пушкин

Автор просит читателей учесть, что перед ним – художественное произведение, а не скрупулезное исследование генеалогического древа, и поэтому вполне возможны случайные (и неслучайные) совпадения (и несовпадения) имен собственных, а также дат, событий и характеров.

Часть первая

ГЛАВА ПЕРВАЯ, О ТОМ, ПОЧЕМУ ЭТА КНИГА НЕ ПОХОЖА НА ПРОЧИЕ МОИ КНИГИ

Ну, во-первых, потому, что ни одну книгу в своей жизни я еще не начинала в семь часов одиннадцать минут утра, при этом в постель еще не ложившись. Заканчивала в это время – да, бывало, а вот начать... Видите ли, я сова настолько хрестоматийная, что для меня сейчас, строго говоря, поздний вечер, пора готовиться ко сну. В комнате моей ночь не прекращается никогда: я живу за непроницаемо глухими гардинами, и если бы моя воля торжествовала всегда и во всем, то я бы никогда их не раздвигала, потому что мне вполне хватает света двух ламп – одной настольной, другой настенной.

Во-вторых, сегодняшний (по-вашему, вчерашний) день я провела *совершенно впустую*, что для меня, надеюсь, нехарактерно – и поэтому мне мучительно стыдно за минувшие сутки. Рассказать, как я его провела? Проснулась, как обычно, в два часа дня... Прочитав это, многие мои читатели немедленно перестанут называться таковыми по причине вполне извинительного презрения к моей особе, позволяющей себе валяться в постели до того часа, когда у всех порядочных граждан кончается обеденный перерыв – у кого он есть, конечно. Но причина эта чисто внешняя, а скрывается за ней один из смертных грехов, и именно тот, который лучше всего умеет маскироваться под «благородство и всякую такую вещь». Это господа, зависть. Потому что никто не хочет вставать в семь утра, а все хотят спать сладко и долго и при этом еще не казнить себя чувством вины перед всем человечеством. Но мне это безразлично, и перед человечеством я ни в чем не виновата. Итак, я встала и, совершив ежедневный гигиенически-макияжный ритуал, сильно осложненный отсутствием горячей воды по случаю летнего сезона, поехала в магазин покупать сыну кроссовки. Искомых, естественно, не оказалось, зато прямо на улице с лотка я купила два бюстгальтера – черный и белый – а потом, презирая самое себя, еще чуть не четверть часа нудно выбирала в галантерее заколки для волос – себе же. Рядом случился и продуктовый универсам, и в результате у вечности было мною похищено минут сорок... К пяти часам я приехала домой, приятно порадовавшись там тому факту что мобильник у меня не украли из кармана, а я забыла его у себя на кровати; переодеваясь, обнаружила на нем четыре пропущенных звонка, на которые отвечать мне не хотелось, и принялась готовить себе завтрак. По случаю Петровского поста он состоял из пяти крабовых палочек, банки морской капусты и кружки кофе с лимоном. За завтраком я (тоже редчайший и вопиющий случай) уперлась в дамскую сентиментальную

газету – и позорно застряла в ней часа на два, а потом по телефону позвонила подруга – и еще один час бездарно погиб из моей, уже на худшую половину перевалившей жизни. Следующие несколько часов ушли на нудное дело из разряда тех, которые надо же когда-то сделать. А именно – я собирала три рассыпавшиеся нитки бус, пристраивала им новые замки, меняла леску. Бусы были жемчужные, агатовые и нефритовые, работа кропотливая, потребовавшая сосредоточенности с последующим отдыхом. Но отдохнуть мне не пришлось, потому что начался полуфинал чемпионата Европы по футболу, в которой неожиданно угодили многострадальные «наши». Мне пришлось ответить на ряд урапатриотических эсмэсок и звонков, причем сплошь от женщин – совсем они все, что ли, с ума посходили? Вставать из кресла, где я пристроилась со своими бусами, я тоже сочла непатриотичным и даже украдкой скосила глаза на икону Николы-Угодника и почти что про себя помолилась: «Ты уж меня прости, угодничек Божий, я к Самому Господу с такими глупостями обращаться не посмею, а к тебе можно. Так мы с тобой Его не потревожим, потому как тебе дано исключительное право одному из всех святых решать всякое дело на месте, не прибегая к молитве. Тебе, конечно, и испанцы сейчас молятся, но ведь русских нас ты больше любишь, верно? Что тебе какие-то испанцы, на Руси тебя всегда больше всех почитали. Так может, можно как-нибудь сделать, чтоб наши выиграли? Не для футбола, конечно, дурацкого, а для России, для умножения ее славы? Что, совсем нельзя? Никак? А может, все-таки? Точно? Ну, ладно, что поделаешь...».

Икона эта Николая угодника не простая, а древняя, позапрошлого века, семейная, топором во время гонений рубленая и мною однажды не слишком удачно реставрированная. Рубил ее «главный хирург Балтики» в годы гонений на церковь, когда... Впрочем, об этом речь впереди, пока только замечу с облегчением, что он не прямой мой предок, а то нести бы за такое до... уж не знаю, до какого и колена.

Очередную повесть я задумала еще осенью, и, как водится, вынашивала, скупое делая заметки в органайзере. И писала бы я спокойненько ее, а не эти пока еще ни на что не похожие заметки, если бы не старинная фотографическая рамка, невесть как по весне попавшая в наш дом. Хорошая резная столетняя рамка, властно потребовавшая для обрамления фотографию-ровесницу. Я взяла альбом с уцелевшими фотографиями давно усопших предков, разыскивая подходящую по размеру и должным образом сохранившуюся, – и действительно нашла потребное. По ходу дела проглядела и остальные – и в который раз опечалилась.

Моя эта нервная печаль и будет «в-третьих» – а именно мое, особенное, болезненное отношение к старым фотографиям. Я их не просто люблю. Я их – переживаю. Причем наибольшее мое внимание привлекают те из них, где запечатлены люди, жившие давно, задолго до меня – люди, которых я никогда живыми не видела, о которых знаю преступно мало или вообще ничего.

Вот страшноватый для посвященного в некоторые тайны пример. Фотография Карла Буллы – Невский проспект начала прошлого века – сверху, из окна его студии. Привычный Гостиный Двор с серым (но закономерно вижу розовым) маяком Думы, неожиданные рельсы, конка о двух лошадях и – толпа. Если не с детства, то с отрочества точно – мой ужас: не больше комарика размером – господин в котелке, глазающий на афишную тумбу; девушка, явно горничная, подобрал юбки, стремглав перебегает дрогу; мальчишка в лихом картузе мечется у конки с кипой газет; нянька с щекастым питомцем на руках простодушно изумлена представительностью важного, но доброго городского, вовсе ее не замечающего... И каждый из этих людей – неповторимый и исключительный слепок с Образа Божия. У каждого была и прошла своя единственная судьба, в которой он так мучался, желал, творил, любил, радовался – да мало ли, что еще делал! – и вот спустя более века я, чужая (а вдруг нет?) сорокалетняя женщина вижу лишь некое насекомое на черно-белом снимке, знаю, что стоит за ним целый мир – и хоть лопни, но тайны этой мне не выведать, не выспросить – никогда, ниоткуда... А так хочется. И ведь все они где-то и сейчас находятся, потому что в бессмертие души в наше время не верить может только

сумасшедший. И каждому в мире уготовано было свое особое, никому другому не подходящее место, и они его заняли, забыв незначительный день, когда Булла сфотографировал их с высоты пятого этажа, о чем они до смерти не узнали... А такой ли незначительный день? Может, господин вовсе не газетчик, а выслеживает эсера-бомбиста, потому что служит в Третьем отделении – и сегодня он вражину поймает и получит за то орден? А если девушка завтра выходит замуж за дворецкого и навсегда запомнит день, когда бежала стремглав по Невскому накануне свадьбы в Гостиный двор за чем-то последним необходимым? Вдруг няньку сегодня же сгонят с места за воровство, нерадивость и легкомысленное поведение – и уж как она с хозяйкой-писарихой напоследок полагается – правнукам в пятидесятых еще рассказывать будет? А городской – ну, как он в тот же день самого Государя увидит, да так близко, что прямо аж глаза в глаза друг-другу глянут! Но мне-то никогда не узнать, и оттого больно...

Фотографии у меня дома – несколько иного рода: про этих людей я слышу с детства – слышу, запоминаю и фантазирую, так что теперь уж и сама не всегда могу отличить, что знаю твердо, а что родилось как-то само и незаметно выросло, приклеилось и стало неотъемлемой частью Легенды, богатой наследницей которой я являюсь и которую *обязана* сохранить. Чтобы и с ними не случилось так, как с теми, из альбома Карлы немецкого... Потому что каждый человек, по Образу и подобию сотворенный, имеет на это право – не остаться мушиным следом на невнятной фотографии, а расцвести на белой странице, глянуть живым глазом из своего Неведомого – не умереть на земле окончательно.

Мне с юности говорили: «Записывай, раз умеешь» – но я уверенно положила на девичью свою память, и теперь, когда записывать почти не за кем, а память из девичьей превратилась в твердую и зрелую – должна успеть. Пока не случилось чего с той же памятью: Бог дал – Бог взял, ничего невозможного. Чтоб до второго звонка уложиться – вдруг между вторым и третьим ни до чего станет?! Потому что первый уже был...

(Матч закончился настолько печально, что вовсе не хочется увековечивать стыдный счет, и так это меня отчего-то расстроило, что почти до семи часов утра я тоскливо занималась ничем: разгружала посудомоечную машину, давно тоскливо пропищавшую, посмотрела пол взрослого и пол детского ностальгического фильма и, наконец, поняла, что могу на целые страшные сутки утратить уважение к себе самой, если немедленно не раскрою ноутбук: этот день следовало оправдать.)

Итак, в-четвертых. Звонок прозвенел в семь часов октябрьского утра, через неделю после моего тридцать девятого дня рождения. Я бежала в этой глухой ночи по делу теперь неинтересному, оттого и не упоминаемому, и, спускаясь по лестнице в нашем неглубоком метро, вдруг почувствовала страшную боль в левой ноге, выше лодыжки – вроде как «ногу свело», только что-то не в меру болезненно. Дело свое я так никогда и не закончила, потому что уже через час «скорая помощь» привезла меня в хирургическое отделение одной из печально памятных мне по прошлому больниц. Меня весьма доброжелательно осмотрела приятная женщина-хирург и, обнадеживающе улыбаясь, покинула в смотровой, уйдя, как я думала, за каким-то бланком. Боль к тому времени как-то устаканилась или, может быть, это я начала с нею потихоньку сживаться – а только мне показалось, что она слабеет. Я вынула телефон и стала храбро сообщать мужу, что оставаться здесь не вижу никакого смысла, сейчас вызову такси и поеду домой. И вот именно когда я, говоря все это, уже нащупывала под лежанкой туфлю, намереваясь немедленно исполнить задуманное, передо мной вновь возникла милая хирургия, бестрепетно совавшая мне под нос длинную, мелким шрифтом напечатанную бумагу – с безапелляционным: «Подписывайте скорей, каталка уже здесь». Я воззрилась на бумагу с полным непониманием происходящего, и мелькнула даже нелепая надежда на то, что меня среди обилия больных и увечных с кем-нибудь перепутали. Но мне тут же пояснили – устало и очень вразумительно (позже я узнала, что доктор додежуривала в тот момент хлопотливые сутки и оттого была уже несентиментальна): «У вас подколенная

тромбоэмболия – тромб откуда-то оторвался и застрял в артерии. Это очень серьезно, и ваша жизнь в опасности. Вас нужно интенсивно лечить, будем пытаться избежать ампутации, но... Тромб – этот или другой – может ведь застрять и где-то еще...». Больше ни о чем не спросив – не потому что вопросов не осталось, а из-за того, что потеряла дар речи – я подписала невозможную бумагу, в которой ответственность за все, что может со мной приключиться в стенах больницы, без лишних церемоний возлагалась на меня же. Вскоре я оказалась в палате, где, прямо напротив, похожая на смерть, но от смерти после перитонита успешно отмахавшаяся женщина лежала сразу под двумя капельницами, другая тихо, но злобно угасала у окна, а третья выписывалась именно с той койки, на которую меня поместили.

Как передать чувства или поток мыслей человека, два часа назад практически здорового, не получившего никакой травмы, но по непонятной причине взятого кем-то, как котенок за шкварник, и брошенного в скорбное место с отвратительным знанием в голове: вот эту вот абсолютно на вид нетронутую ногу, возможно, уже завтра за здорово живешь отрежут, да и то еще лишь в том случае, если до завтра я доживу, а не помру ночью оттого, что тромб застрянет в сердце или в мозгу – как умер тот тридцатипятилетний монах в Псково-Печорской лавре, о котором всего месяц назад рассказал нам там его товарищ и сомолитвенник веселый инок Варух...

...Подождите-подождите, сегодня пятница, а в воскресенье ведь у меня презентация рассказа... Да какая там презентация, Господи... Воскресенье... На третий день как раз похоронят... Нет, не успеют, возни много, да и труп раньше вторника не выдадут, в понедельник вскрытие будут делать... Ромку жалко, как он теперь... Я в двадцать семь лет без отца осталась, с одной матерью, и то несладко пришлось, а он в девятнадцать, и без обоих родителей... Поможет ли кто? А моя мать? Это ж каково ей будет – единственного ребенка хоронить? Впрочем, она после такого долго не проживет, скоро отмучается, и Ромка, опять же, останется уж совсем один, как перст... Что это я на Господа не уповаю, Он-то ведь знает, наверное, как лучше – и сироток любит... Позаботится... А я-то куда, а?! «Далече от спасения моего словеса грехопадений моих...». Не зря, значит, в День рождения этот у меня в Псалтири была семнадцатая зауспокойная кафизма... Сама по себе, выходит, отчитала... А когда же я на исповеди-то была в последний раз, причащалась когда... Поздравляю: три недели назад, и то на общей... Значит, надо священника, причем прямо сейчас, потому что уже завтра может не быть... Совсем не быть... У меня...

Как я его по телефону искала – отдельная история. И как никто не хотел мне его приглашать, а говорили: «Не может быть у тебя такого диагноза, потому что он слишком страшный. Расслабься, не надо тебе никакого священника», – убийственная, согласитесь, логика. Как я кричала в трубку всем подряд, стараясь сдерживать пугающие истерические нотки: «Да не боюсь я смерти, пойми – я боюсь умереть без покаяния!» – и как ни один не понял. И как соседка, сочувственно наблюдавшая и слушавшая, вдруг сказала: «Я сейчас выписываюсь, а там внизу есть больничная церковь. Я обязательно зайду и скажу, что вы хотите исповедоваться, – и, в ответ на мой отчаянно-недоверчивый взгляд: – Не сомневайтесь, не волнуйтесь. Я даю вам слово, что сделаю это». У каждого из нас на земле есть свой местный спаситель. И не один. Но лица ее я не помню.

А дальше все вершилось гладко и волшебным, как и подобает вершиться делам славным. Вскоре у моей постели оказалась огромная девушка в форме *сестры милосердия* (попрошу не путать с зелеными штанами и рубахой *медсестры*), а именно – копией той, что носили доблестные сестрицы на Первой мировой – и милосердие было мне немедленно оказано: по мобильному вызван батюшка, впоследствии оказавшийся супругом моего зубного врача – ох, и дивны же дела твои, Господи! И через полчаса я оказалась в рядах немногочисленной рати: тех, кто, чуя близкую смерть, успел исповедоваться, причаститься – и выжил. До сих пор терзаюсь я загадкой собственной души: а «взаправду» ли я исповедовалась? Не знала ли где-то в глубине, что это еще не та,

не последняя исповедь? Но, так или иначе, прямо перед моим ложем, окруженным капельницами, была проведена подобающая служба – даже с пением, чему я отвлеченно порадовалась, а мои сестры по несчастью изумлено наблюдали действие, которое сочли нарочитым представлением, против чего, впрочем, не возражали, потому что какое-никакое – а все ж развлечение. Из слов священника навеки врезалась в память одна фраза: «Придется, куда денетесь», – в ответ на мое смятенное о том, что не могу смириться с тем, что утром была здорова, а вечером, вероятно, умру. Просто и по-деловому, мне понравилось... А потом он бережно достал с груди Дароносицу (мне впервые пришлось разглядеть ее вблизи), причастил меня и, решительно отказавшись от денег, ушел, а я – выздоровела. Сразу. Во всяком случае, консультант, вызванный для меня из городского специализированного центра и прибывший еще через полчаса, даже больных не постеснявшись, обругал своих коллег, диагноз их подтвердить ничем не согласился и тотчас уехал, брезгливо бросив им на ходу: «Где тут у вас выход?». Возмущенным курятником дамы-хирурги кинулись за ним, уверяя, что еще час назад никакого пульса в ноге не было, и они тоже не первый день здесь работают. Под шумок я пощупала то место, которое полчаса назад было белым и как бы деревянным: под кожей жарко пульсировала ожившая артерия...

Тогда-то я и решила, что пора взять эти самые фотографии и написать, что помню, пока не поздно. И еще о другом написать – о том времени, которое застала, в котором жила, где было у меня вполне счастливое детство и первые любви со стихами. О той стране, исчезнувшей с карты мира, для которой я совершала первые маленькие подвиги и родила ребенка. Сейчас если пишут о ней, то, как о тюрьме, нет, даже о голодном и холодном карцере, где всегда темно. Даже сын мой, будучи еще подростком, произнес как-то знаменательную фразу: «Кажется, что у вас вся жизнь была черно-белая, без цветных красок». Да, только в ней он родился почти двадцать один год назад – и был вполне розовый, а коляска его – голубая. Я с парадоксальной благодарностью хочу вспомнить то время, хотя росла в семье ярого антисоветчика – отца и тихого – матери, да еще и сама в юности считала своим долгом писать разоблачительные стихи, читать подпольную литературу, слушать «голоса» и, к тому же, умудрялась соответствующе настраивать всех своих знакомых. А вот выросла – и нет ненависти. И вовсе не оттого, что не верю теперь и в демократию, оказавшуюся не то что хуже, а – гаже. Просто не хочу, чтобы у меня и у моих сверстников, едва успевших стать официально взрослыми к моменту очередного и окончательного крушения империи, были отняты детство и юность. Их теперь попросту вульгарно перечеркнули: дескать, что там у вас могло быть хорошего – это за железным-то занавесом, при пустых магазинах и пионерских галстуках? Давайте, мол, лучше забудем! Я не согласна. Я не хочу забывать время, когда вы могли сказать постороннему человеку чуть ли не на улице: «Слушай, старик, у меня тут такое дело, помоги, а?» – и человек этот считал своим долгом бросить собственные дела и заняться вашими, причем вопрос о том, чтобы ему за это заплатить, даже не стоял; время, когда можно было запросто пообедать в гостях, ни на секунду не задавшись вопросом, а не объедаешь ли ты хозяев; время, когда детскую коляску, с ребенком или без, можно было спокойно оставить у магазина... *Такое уже никогда не повторится*, поэтому я и хочу просто – запомнить. И записать, если Господь сподобит...

Позвольте, а как же повесть? Такая, чтоб «с любовью, с разговорами»? Добавлю еще – чтоб с приключением и назиданием... Та, задуманная? И вот, что я, по размышлении зрелом, решила.

Мне прекрасно понятно, откуда у нынешней власти такое вдруг почитание Великой Отечественной войны и ее героев: ну, во-первых, их все меньше и меньше, поэтому к столетней годовщине Победы можно им и по пятикомнатной квартире с лимузином и самолетом в придачу выделить. А еще лучше – почтить таким макаром ветеранов Куликовской битвы. Но главное в том, что Вторая мировая была глобальной битвой с фашизмом. Поэтому, настраивая молодежь на патриотический лад по-новому, нужно

предоставить ей и объект для ненависти: фашизм. И ничего, что Гитлер и иже с ним уже шестьдесят три года в аду горячие сковородки лижут: не их же ненавидеть, в самом-то деле! А вот зато, если, покрасочней разрисовав зверства фашизма, представить и назвать фашистами своих же, русских, пекущихся о благополучии нации, то они и превратятся в тот вожделенный объект ненависти – что и требовалось доказать.

Но я перед великой той войной в долгу. Потому что коснувшись ее вскользь только один раз, в прологе «Марфиного дома». Потому что, воспитывая сына, осознала вдруг, что Великая Отечественная и Ледовое побоище для него – вещи одного порядка: канувшие в Лету. Смотрели мы с ним, семилетним, документальный фильм о войне, и я, молодая старательная мама, каждую минуту объясняла своему несмышленишу: это, мол, не артисты, это все по-настоящему, это документальные кадры. Фильм кончился, и стали показывать «Александра Невского»; когда дошло собственно до побоища – с жестяными ведрами на головах у массовки и пенопластовыми льдинами, трещавшими под копытами несчастных, покрытых сшитыми простынями коней – ребенок, истово следивший за боем, вдруг спросил: «Мама, а это тоже документальные кадры?» – и я поняла, что с темой войны в моем собственном творчестве что-то нужно срочно делать. С тех пор прошло четырнадцать лет, а я так ничего и не предприняла для того, чтобы отдать давний долг, который вижу перед – *не* бойцами и *не* героями – а *мучениками* той войны. Нет, я не задумала военную повестушку с приличествующей последнему времени клубничкой – я опять лишь коснусь того, чему не была ни свидетелем, ни понятым. И делать это я буду параллельно повествованию о них, о тех, с фотографий. Поэтому тот читатель, который еще от меня не сбежал и дожил в этом качестве до второй главы, будет познакомлен с моей тайной писательской кухней, ибо творить буду у него на глазах – и советоваться, пожалуй – а заодно и поведаю любознательным несколько любопытных фактов, легенд, наследственных баек и собственных измышлений.

ГЛАВА ВТОРАЯ, ОБ ОДНОЙ МОГИЛЕ НА КОМЕНДАНТСКОМ КЛАДБИЩЕ В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ И О МОЕЙ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ ФАМИЛИИ

Нашим родоначальником по мужской линии (имеется в виду только обозримое прошлое, иначе пришлось бы говорить об Адаме) считается Георг Йоганн Майдель. У меня было много шансов получить эту фамилию в качестве девичьей, но вмешались два досадных «если бы» – и моя веселая фамилия досталась мне от случайного деда, о котором я не знаю ровно ничего. Но вернемся к доблестному рыцарю. Ему не повезло: он оказался у своих родителей вторым сыном, а в Швеции в то время действовал вопиюще несправедливый закон майората. Другими словами, титул и имущество наследовал только самый старший сын – а все прочие дети полностью зависели в материальном смысле от его произвола. Захочет брат поделиться с младшими малой долей благ – и получают они пропитание и крышу над головой. Не захочет – извините, устраивайтесь, как знаете, а со двора вон. У нашего Майделя оказался как раз такой братишка, и пришлось юному Георгу заняться своей судьбой самостоятельно. Швед был, наверное, сообразительный и не стал мыкаться по своей худосочной родине, а рассудил здраво, что чем больше страна, тем больше возможностей, а, следовательно, путь его лежит на юг (!), в Россию.

Жизненный путь Георга в России был, по всей вероятности, славен, потому что он сподобился вписать свое имя в историю – золотом по черному. Известно, что, перейдя в Православие, зваться он стал попросту – Егор Иванович, пошел по военной линии, женился на русской женщине, чье имя благодарная память потомков не сохранила, отличился и был сильно ранен во вторую Крымскую кампанию, но в отставку не вышел, а в чине генерала от инфантерии был назначен комендантом Петропавловской крепости в Петербурге – и там до самой смерти прослужил своему приемному Отечеству.

Похоронили Егора Ивановича, где положено, – на Комендантском кладбище, в самом сердце Петербурга, и до тех пор, пока город не уйдет под воду во исполнение известного пророчества, каждый, посетивший крепость, может на самом высоком кресте черного мрамора прочитать золотые буквы: «Генерал от инфантерии Майдель Егор Иванович».

Остались двое сирот (жена Майделя скончалась, вероятно, много раньше, и с родственниками у нее было негусто), и встал неизбежный вопрос об их жизненном устройстве. Пригрел Колю и Наташу вышедший в отставку боевой товарищ Егора Ивановича Василий Зуев. Здесь вступило в силу первое и главное «если бы»: Зуев не просто стал опекуном детишек, но, не имея своих, усыновил их и переписал на свою фамилию. Смутная легенда бормочет, что Василий был спасен от верной смерти в Крыму Егором, который при этом и получил то тяжелое ранение, что позже свело его в могилу в самом мужском расцвете, лет около пятидесяти. Не чая выжить, он, будто бы, попросил Василия не оставить детей, и тот обещал. Егор прожил после Крымской еще несколько лет, но друг слова своего не забыл и в нужное время исправно выполнил. Почему фамилию детям поменял – Бог весть: может, не хотел, чтобы звались они «по-немчинному», а может, от великой любви пожелал, чтобы сын и дочка, ставшие ему родными, и фамилией не отличались от остальной семьи.

Сразу покончу с Наташей Зуевой: ее судьба для меня как-то невнятна (хотя для нее самой, возможно, была яркой и поэтичной). Знаю только, что, окончив какой-то из институтов благородных девиц, она встретила с известным певцом Собиновым и вскоре стала его гражданской женой. Почему гражданской – не знаю, возможно, из-за вполне похвальных сложностей с разводами на территории Российской Империи. Она, как будто, эмигрировала после октябрьского переворота – и следы ее перемешались с миллионами других следов русских женских ножек, принявшихся топтать крутые бока матушки-Земли от Константинополя до Австралии. По другой версии – осталась в России, где, надолго пережив убитого возлюбленного, скончалась в Москве – в нищете и забвении...

Коля Зуев стал инженером. В качестве хобби заинтересовался музыкой (у брата и сестры это, видно, была родственная черта) и принялся, как и подобает образованному молодому человеку, активно посещать различные музыкальные собрания. Как-то занесло его прямо в дом к Балакиреву на знаменитые вечера – и вскорости случился с Колей конфуз. Такой, что даже и говорить стыдно. Нахватавшийся еще в институте разных передовых веяний юноша влюбился в горничную Парашу. И добро бы только влюбился! А то ведь самым серьезным образом, прямо как за барышней, принялся за ней ухаживать – и женился-таки, стервец! Отговорить, наверное, уже некому было... Но о решении своем не пожалели Николай с Прасковьей ни разу в жизни, потому что «во всяком благочестии и чистоте» дожили ровненько до золотой свадьбы в 1947 году, когда Николай Васильевич скончался от рака кишечника; жена пережила его на пятнадцать лет, но умерла точно от такой же болезни, чем доказала, что муж и жена действительно «едина плоть».

Это они, Николай и Параскева, обычно возглавляют мою записку поминаемых за упокой – а дальше идут их дети, числом десять...

Имеется в семье фотография из той поры, когда они были молодоженами. Прабабушка сидит, одетая «барыней», то есть в английском платье с пуговичками и невероятной шляпе-цветнике, а прадедушка стоит за ее креслом в забавном котелке, сюртуке и с тросточкой... Такой эта фотография запечатлелась у меня в памяти, и интересно сейчас будет проверить – правильно ли я запомнила. А вдруг, наоборот, дедушка сидит, важно отставив трость, а бабушка, как тогда было принято, стоит за его креслом, гордо держа голову в модной «парижской» шляпе?

...Вот, не выдержала и проверила, и убедилась, что память меня почти не подвела. Только оказалось, что прадедушка стоит не в сюртуке, а в расстегнутом пальто с бархатным воротником, а у прабабушки на платье пуговичек еще больше, чем я запомнила. Изображение чуть-чуть, очень деликатно подкрашено в бледно-пастельные тона; оно, вдобавок, несколько выгорело под испепеляющим оком времени – и простые,

мудрые и добрые их лица смотрят на меня через неизбежную дымку вечности. Нет связи между тем миром и этим, кроме молитвенной памяти...

Квартира их, в которой я родилась семьдесят лет спустя после той свадьбы, по тем временам была как бы и бедновата. С улицы, называвшейся в их времена 3-й Ротой Измайловского полка, а в мои – 3-й Красноармейской, вы попадали в прихожую... О, нет, не сразу в прихожую. Сначала следовало потоптаться на коврике в промежутке между двумя дверями, где помещались одна над другой несколько полок с кастрюлями: при отсутствии или даже еще неизобретении холодильника это пространство более или менее безуспешно его заменяло. От прихожей начинался длинный темный коридор, пугавший собой в этой квартире несколько поколений детей подряд, и по обе его стороны располагались комнаты – очень большие и поменьше. Маленьких в современном смысле слова тогда не делали. Комнат было пять или шесть, а потом коридор упирался, пробежав мимо ванной и туалета, в кухню – и можно было, в случае чего, всегда сбежать во двор через черный ход. От двора у меня остались на вечную память два черных мостовых кирпича – их очень удобно использовать при засолке грибов и воспоминаниях о детстве.

Из десяти родившихся у Зуевых детей до взрослого возраста дожили восемь: два мальчика и шесть девочек. О двоих умерших неизвестно ничего, кроме имен – Наташа и Андрюша – даже название болезней, сведших их в могилу, умерло вместе с ними. Но Зуевым пришлось горевать над гробом своего ребенка еще дважды: взрослыми, но молодыми умерли две их дочери, но об этом в свою очередь, ибо чужая смерть поспешности не терпит. Имена выросших детей – в уважительной последовательности по старшинству – такие: Сергей, Мария, Михаил, Евгения, Клавдия, Валентина, Кира, Зоя. Так уж случилось, что я почти ничего не знаю о Михаиле – кроме смутного слуха о том, что он служил в НКВД и смог в годы репрессий каким-то образом оберечь семью от оговора, ареста и прочих крупных неприятностей. Я его никогда не видела: он жил и умер в неизвестном мне городе и единственное, что мне косвенно от него осталось – это безымянное лицо его сына на фотографии рядом с моим молодым отцом...

О старшем, Сергее, знаю едва ли больше. Что в войну был он немцами угнан в Германию вместе с единственным сыном Юрием – а на обратном пути тем же самым НКВД (носившим, впрочем, уже другое из нескольких синонимичных имен) завербован, потому на Родине ни восточней, ни северней Таллинна не попал. О сыне позже, хотя это и несколько противоречит моему правилу писать ныне только о почивших: Юрий Зуев здравствует и по сей день, но пребывает в том же Таллинне и находится в таком возрасте, что вполне может стать исключением. Сергей умер в старости, все там же, в Эстонии, очень мучившись перед смертью почками. В ночь после собственных похорон он пришел за какой-то последней надобностью в свой дом, чему свидетелями были две его сестры, Валентина и Евгения, причем последняя – партийный работник, атеистка по призванию сердца. Обе они слышали знакомые братнины шаги в пустой квартире – и было им не страшно, потому что знали, что родной брат плохого не сделает...

Остаются шесть сестер, и начинать я буду не по порядку, а по справедливости. Она требует вспомнить первой мою родную бабушку Клавдию, хотя она и умерла почти за тридцать лет до моего рождения, в тридцатилетнем возрасте. Ее пяти сестрам посчастливилось иметь внешность, вошедшую в моду в середине тридцатых, благодаря Орловой, Целиковской и Ладыниной, и не выходившую из нее больше тридцати лет. Все они имели волнистые русые волосы, ясные серо-зеленые глаза, не совсем правильно овальные, но и не круглые лица, гладкую кожу, впечатляющие с первого взгляда здоровые пышные формы и рост не выше ста шестидесяти трех сантиметров. Они удачно вписались в банальный эталон тех лет под названием «красивая женщина», и каждая по-своему воспользовалась в жизни этим несомненным преимуществом.

Моя бабушка, как говорили, одна пошла в своего шведского предка – чертами, не мастью, потому что была волосом не по-северному темна. Черты ее лица причудливо сочетали мягкость с точностью, нос, безусловно, выдавал нерусские корни и был

абсолютно идентичен носу белобрысого деда Егора. Бабушка имела тонкий и хрупкий стан и характер вполне определенный: легкомысленный. Можно с уверенностью сказать, что она любила делать больше всего: украшать себя по-всякому и в таком виде фотографироваться. От времени, когда увековечивание собственной персоны на куске картона посредством таинственного ящика на трех ногах было делом ответственным, отнюдь не сиюминутным, требовало тщательной подготовки, продуманного туалета и позы, что позволяло оставить после себя, кроме маленьких фоточек на документы, лишь несколько солидных фотографий, наклеенных на тисненый картон, защищенных от случайностей тончайшей папиросной бумагой – от того времени осталось не менее пятидесяти фотографий бабушки Клавдии, причем среди них нет ни одной неудачной. Клавдия в профиль, фас и вполоборота, с волосами, плечами, розами, бантами, лентами; в темном, светлом, льняном и бархатном – грустная, загадочная, счастливая, спокойная, больная, смеющаяся... «Ну, как общий вид?» – единственная точная фраза из ее прямой речи, настолько часто, по всей вероятности, повторявшаяся, что спустя пятьдесят лет после смерти Клавдии была передана мне в неизменном виде.

Мужей у нее было двое, и оба очень необременительные. Первый – некий Толик – яркий тип избалованного эгоиста со слабовольным подбородком, не оставивший ей, по счастью, потомства. Это ему она, молодая, дарила вырезанные в форме сердца свои фотографии, на которых, в умопомрачительных шляпках, томно смотрела мимо фотографа. «Толе от Клавдии» – писала она на их обороте с красивым росчерком – а после развода забрала все карточки себе обратно. Фотографии второго мужа у меня нет – а жаль, потому что эта темная лошадка – мой родной дедушка, подаривший мне фамилию. Если бы (вот и второе) бабушка, разведясь с ним, вернула себе и своему сыну, моему отцу, девичью фамилию, то Веселовой мне бы не быть никогда. Но она фамилию почему-то не сменила, с ней и в гроб пошла, она значится и на ее бедном кресте на Смоленском кладбище – доставшаяся от второго мужа, с которым прожила не больше года, но родила сына Александра. Кто он был, мой таинственный дед, никогда ни в чьей жизни больше не появившийся? В очень недостоверном (потому что раннем) воспоминании о просмотре альбома кого-то из сестер Клавдии он предстает мне чуть смахивающим на молодого Блока – и все. А еще он играл на скрипке.

Клавдия умерла, когда ее единственному ребенку было три года – и он на всю жизнь запомнил, как его привели к матери в комнату прощаться, и несчастная умирающая «обливалась его слезами». Перед кончиной она болела странной болезнью, записанной в свидетельстве о смерти как гастрит. Разве можно умереть от гастрита? – до сих пор мучает меня неразрешимый вопрос.

О своей смерти она знала заранее. Годом раньше сестра Валентина, (впоследствии моя незабвенная «тетя Валя», заменившая мне в Петербурге бабушку) встретила ее, еще совсем здоровую, рано утром на могиле своего недавно умершего сына Бори. Клавдия сидела там, держа на руках моего маленького папу – своего двухлетнего Алесика. На удивление сестры ответила, что только что видела Борю во сне, и он сказал ей следующее: «Тетя Клава, скоро мы будем жить с тобой вместе, а Алесик останется с мамой». Весьма в недалеком будущем так оно и вышло.

Своих умерших предков я отмаливала в Иерусалиме у Гроба Господня и на Голгофе, после чего стала как-то поспокойней за их посмертную судьбу. Но что, в сущности, сказал Клавдии умерший шести лет Боря? По словам его матери, он не был крещен, родившись в богоборческих ранних тридцатых, но умер до семи лет – младенцем. Стало быть, он находился в том месте Посмертия, где пребывают некрещеные младенцы, и там ожидал свою крещеную (за девять лет до революции родившуюся) тетку? Значит ли это, что по каким-то грехам на момент смерти ей было отказано в пребывании с христианами, но все-таки наказание не простерлось слишком далеко, дав ей возможность встретиться с племянником в месте, достаточно упокоенном, но не озаренным Христовым светом?

...Знаю по опыту, каково это: следить за перипетиями жизни, смерти и вечности чужих многочисленных тетушек, братьев и племянников и вскоре так надежно в них во всех запутаться, что *не поймешь, кто в кого влюблен, / кто когда и зачем встречался, / кто погиб и кто жив остался, / и кто автор, и кто герой*¹... Поэтому сейчас как раз настало время познакомиться и с тем героем, который никогда не был ничьим родственником, потому что его на свете не существовало. Зато он, надеюсь, станет полноправным обитателем моей личной мини-вселенной, населенной персонажами написанных мною книг (весьма опасной вселенной, кстати), и тоже получит от меня какой-нибудь ценный подарок из моего собственного, вполне реального прошлого. Когда-то Насте Волковой из «Дерева на крыше» я подарила сразу двоих: свою воспитательницу из детского сада и директора молодежного клуба, вопреки собственной традиции даже не изменив им имена – уж больно хотелось сохранить обеих дам для потомков в неприкосновенности. О. Вячеславу из «Оставь надежду» я, как и подобает его сану, подарила икону – ни больше, ни меньше, чем Троеручицу из Николы Морского. Безымянного полуночника в той же книге пустила гулять по собственному бульвару Новаторов, где живу и поныне, и сделала ему царский подарок в виде легконогого пуделя – как раз такого, каким была моя черная Криста. Ее я ни за что вниманием не обойду: увековечивания она заслуживает, мнится мне, большего, чем иные ее *старшие* братья...

Ну, что же, пусть будет еще одна повесть – с войной и смертью, с любовью и разговорами, а значит –

ГЛАВА ТРЕТЬЯ, О ТОМ, КАК АДЬКА ПОЕХАЛ В ДЕРЕВНЮ К БАБУШКЕ

- Не наклоняйся так сильно, Адик, сынок! Вот тряхнет посильней – и выпадешь!

Адька в который раз с видимым сожалением отодвинулся от борта грузовика. Усталость и нетерпение гнали его с тряскового места на тюке, заставляли то и дело бросаться к борту, слегка нагибаться над ним – и сладко ухало где-то пониже сердца, а если закрыть глаза, то и вовсе выходило почти как на качелях – весело! А еще он иногда ухитрялся встать на ноги у самой кабины и, положив на нее руки, смотрел вперед – тогда ухало уже в самых пятках, отчаянно ловивших сквозь тонкую подошву сандалий ускользящее дно кузова. Мама волновалась – не упал бы, не расшибся – как за младенца! – и каждую минуту он слышал ее ласково-встревоженные возгласы. «Адик, осторожней! Адик, упадешь! Адик, сядь на место!» – как же надоело! Вот бы набраться смелости и ответить ей невозмутимым низким голосом: «Помолчи, мешаешь», – как отец. Его-то она всегда слушалась и сразу начинала виновато моргать, отводя блеснувшие влагой глаза...

Отец у Адьки был человеком значительным. Настолько значительным, что Адька даже не смел называть его фамильярным «папа», а мать никогда не звала по имени. Оба обращались к нему «отец», и было в этом что-то от высокого звания, едва ли не государственного. Обращались с большой буквы, слову этому по чину не полагающейся. И еще одно имя было у отца – Сам. Так мать и сын обозначали его между собой и в разговорах с другими – очень солидно выходило: «Сам придет – починит», «Спроси у Самого – он знает», «Это Самому приготовлено – не тронь». Отец, лет на пятнадцать старше матери, к моменту их знакомства сумел уже заслужить почет и уважение: будучи потомственным рабочим-путиловцем, старшим мастером в огромном цеху, авторитетом он пользовался таким, что молодые инженеришки и получали меньше, чем он, и ежесекундно прибегали к отцу за советом и помощью, когда запутывались в своих туманных чертежах и расчетах. Дома Сам был немногословен и основателен: послушаться его – да что там послушаться! – возразить в голову не приходило. Сколько помнил себя Адька – страшней наказания, чем суровый отцовский взгляд, он на своей

¹ А. Ахматова «Поэма без героя»

шкуре не испытывал, но, чтоб взгляда этого не заслужить, говорил все больше полушепотом и без нужды старался отцу на глаза не попадаться. Голоса Сам тоже никогда не повышал – всегда говорил ровно и уверенно – будто имел гудел. Необдуманных слов тоже не произносил, а уж тем более грязных или оскорбительных. Выпивал только по праздникам – обстоятельно, под обильную закуску, в кругу родных. Праздниками считал только Первомай, очередную годовщину Октября, Новый год отчасти и уж Дни рождения Ленина и Сталина – обязательно. Кстати, Дни рождения членов семьи праздниками, равноценными этим, не считались, и особо богатый стол не накрывался: мать пекла пирог с повидлом, яблоками или капустой – по выбору именинника – и семья ограничивалась торжественным чаепитием.

С женой отец обращался серьезно и строго, на женские рассказы или жалобы внимания не обращал, но был справедлив, попусту ее не третировал, по мелочам не привязывался. Называл «мать», словно подчеркивая тем ее тоже высокое назначение, а когда редко обращался по имени, то только полному – Анна. Считал правильным, чтобы жена в его присутствии больше молчала, а если и заговаривала, то только по конкретному делу, не отвлекая мужа от размышлений, чтения «Правды» или отдыха; отвлеченных рассуждений не терпел, считая, что женская голова для них не предназначена. «Не умничай, Анна», – спокойно останавливал он жену за общим столом, если она вдруг набиралась смелости вмешаться в степенную беседу отца с товарищами дерким: «А вот мне кажется...».

Адька восхищался отцом, хотя и трепетал перед ним. Отец никогда не пытался стать другом своему сыну – построить, например, с ним модель аэроплана или, потрепав по упрямому вихру, спросить о школьных друзьях – но от такого значительного человека этого и не требовалось. Адьке достаточно было знать, что отец его не такой, как другие – мелкие, суетливые и писклявые, – что им можно гордиться без сомнений и втайне надеяться, что по миновении не одного, так двух десятков лет и он, его сын, станет таким же значимым и уважаемым, таким же объектом поклонения и трепета в глазах молодой жены и сына-наследника.

Мать – другое дело. Она была для него просто мамой – ласковой, тихой и надежной. С ней мальчик не боялся и пошутить, и поупрямиться, и выказать иной раз неопасное непослушание. К своим двенадцати годам он уже прекрасно понял, что его зависимость от матери – дело временное, лишь пока не вырос. А потом, когда станет Адька настоящим мужчиной, уже она, по женскому своему званию, должна будет перед ним робеть и, может быть, даже заискивать, как перед отцом.

Вот и сейчас он нарочно, больше, чем сам хотел, перегибался через борт ревущего и прыгающего грузовика, дразня ее и как бы даже испытывая, насколько далеко может зайти материнская власть над ним, Адькой.

Зашла дальше, чем он надеялся.

- Довольно, Адик. Всю душу мне вымотал, - мама неловко поднялась со своего мягкого узла с бельем и, балансируя, опираясь руками на чемоданы, направилась к сыну.

Добравшись, она крепко схватила его повыше локтя, увлекла за собой, усадила и строго молвила:

- Будешь теперь сидеть со мной до самой бабушки. Недолго уже: вон, смотри, за березняком Морок-озеро показалось.

Это означало, что трястись в кузове осталось от силы полчаса, потому что деревня, к которой они держали путь из Ленинграда уже больше семи часов, выехав перед самой зарей, находилась на другой стороне озера, названного так за необыкновенную черноту глубокой воды. В этой деревне, носившей смешное название Коровий Нос, родилась и выросла Адькина мама, единственный выживший ребенок из одиннадцати, родившихся у бабы Зины и деда Михи, умершего в один день с Кировым. В конце двадцатых, использовав последнюю перед окончательным колхозом возможность, Анна уехала пытать девичье счастье в Ленинград, где прилежно выучилась на фельдшера

и удачно вышла замуж за солидного человека – и вот наезжала теперь в родительский дом с собственным сыном каждое лето, испросив отпуск в июне. Потом она оставляла Адьку с бабушкой до конца августа, обеспечивая ему таким образом еще два привольных месяца, и забирала со всем скарбом перед самым сентябрем, приехав в кабине грузовичка, который в начале и конце лета выхлопывал у себя на Кировском заводе ее муж. Без грузовичка, конечно, было бы трудненько добираться до родной деревни, лежащей несколько в стороне от Киевского тракта, далеко за Псковом.

В Ленинграде мама работала близко от дома, на Васильевском острове, в роддоме им. Видемана, и работу свою ненавидела. Об этом Адька узнал весной, когда однажды, ворочаясь в постели перед сном, все почему-то не приходившим, услышал приглушенный разговор родителей за шкафом, что делил их комнату в дружной коммунальной квартире на две части – малую, предназначенную для Адькиного сна и занятий, и большую, с обеденным круглым столом, двумя широкими кроватями и тумбочкой между ними. У отца с матерью было в обычае, отправив спать сына, проводить еще какое-то время у стола, где мать безмолвно починяла белье или одежду у настольной лампы, а отец тихонько шурился вечерней газетой, изредка позвякивая о блюде последней за день чашкой чая. Но в тот вечер мама почему-то вздыхала больше обычного и даже бормотала себе под нос что-то полусвязное, причем, Адьке послышалось что-то вроде «...крепостное право какое-то...», произнесенное жалобно и протяжно. Услышал и отец, потому что тотчас спросил обычным тоном, не понижая и не повышая голоса:

- Что вздыхаешь, Анна? Нездоровится?

- Да нет, я здорова, – ответила мать еле слышно.

- А раз здорова, то и вздыхать нечего.

И опять несколько минут был слышен только шелест газетных страниц и вздохи, больше прежнего сдерживаемые. Потом мать снова нерешительно заговорила:

- У меня, отец, на работе... Не знаю, что и делать... Если б не закон этот... А так – не знаю...

- Не мямли, не люблю этого. Ясно говори, – отозвался отец.

- Да вот закон тот, что прошлым летом выпустили... Что с работы уходит самому нельзя, а только если начальство уволит. Но если уволит, то под суд...

- Это чтоб летунов окоротить.

- Я понимаю... Только как-то на крепостное право похоже: хочешь не хочешь – сиди на одном месте, а не то в Сибирь.

- Ты такими словами не бросайся. В Советском Союзе живешь, а не при царизме.

- А если ко мне начальница придирается, заведующая отделением?

- А ты работай хорошо – и не будет придираться.

- Но я хорошо работаю...

- Значит, плохо, раз начальство недовольно.

- И с коллективом я как-то не сработалась...

- А ты сработайся, не ленись.

- Я не ленюсь, отец, только... Если б не закон – ушла бы в другой роддом или в больницу, и дело с концом, а так... Только мучиться...

- Лишний это разговор, мать. Не твоего ума дело в законах разбираться. Какой надо было, такой и приняли.

Среди наступившего молчания из-за шкафа донесся отчетливый всхлип, и Адька, хотя и немножко жалко ему стало маму, все же душой был на стороне отца: вот как надо решать глупые женские вопросы – сурово, однозначно, по-мужски пресекая все пустяки, чтоб не разнюнилась слабая женщина. Отец на всхлип этот ненужный отреагировал строго:

- Ты тут сырости не разводи, мать, не терплю. Спать лучше давай. А глупости из головы выкини.

Выкинула ли мать глупости из головы, Адька не знал, но сейчас ехала она на родину счастливая и даже помолодевшая; радостное узнавание окружающего так и читалась на ее лице, когда пробежал мимо разросшийся березняк и в полную ширь показалось Морок-озеро, лежащее внизу, под холмом, по которому грохотал грузовичок. И сразу стало в который раз весело-понятно Адьке, почему деревня называется так смешно. Смешно, но метко: озеро-то очертаньями ни дать, ни взять – сытая черная корова, лежащая на брюхе, а на носу у нее примостилась махонькая, в десять дворов, деревенька. Мать вглядывалась в эти домики напряженно, щуря на ярком обеденном солнце свои зеленые крапчатые глаза, рассеянно заправляя за ухо шоколадно-темную прядь, вырывающуюся на ветру из тяжелого узла, туго затянутого на затылке. Отец всегда был против всяких там игривых валиков и завитушек, и жена его, понятно, не могла ходить вертихвосткой, что бегают в платьях с плечиками и рукавами «фонариком». Она носила простое темное платье в мелкую светлую рябинку, а скромной данью Ленинградской моде были беленькие носочки, которые мать, однако, осмелилась надеть только во время их «привала» в Пскове, смущенно оправдавшись перед Адькой тем, что в чулках ей жарко. У нее всегда были только простые, толстые чулки, потому что отец, увидев ее однажды в шелковых, выразил неудовольствие: «Не барыня в фильдеперсах щеголять». Он был за простоту и разумное спартанство в жизни и особенно в воспитании жены и сына. На Адьке были надеты свободные шорты темного сатина, на одной лямке, ехал он в летней белой фуфайке без рукавов, в сандалиях на босу ногу и широкой панаме «от солнечного удара». Отец настоял, чтобы пионерского галстука сын не снимал: «Пусть все видят, кто ты есть, и знают, что с тебя и спрос немалый», – и велел узел не ослаблять, завязывать под самое горло – «Чтоб голову не опускать и гордиться своим званием». Все это Адьке понравилось, только уж очень солнце пекло, и все время Адьку подмывало сдать на материнское: «Давай опустим пониже, чтоб шею обдувало», – но он пока держался, отвечая по-отцовски сдержанно: «Сам не велел».

Как-то вдруг выпрыгнула навстречу первая изба Коровьего Носа; метнулась из-за забора и поскакала рядом с машиной, сверкая зубами и остервенело лая, незнакомая кудлатая сука – и только в этот момент Адька пронзительно понял, что вот оно: начались необозримо длинные каникулы, после которых, подрастая, верно, как и в прошлом году, на целый вершок, отправится Адька осенью этого сорок первого в шестой класс... И таким счастливым почувствовал он себя в ту секунду, когда грузовик, рыкнув напоследок, встал прямо перед крепким бурым домом, а с крыльца уж бежала баба Зина, на ходу вытирая руки ярко-белым рушником, что сердце даже заныло от счастья, как, бывало, зубы от мороженого, в предвкушении еще большей радости...

Только к вечеру удалось Адьке вырваться из-под любовной опеки бабушки Зины, когда уставшая от дороги и тряски мать ушла на другую половину избы за пеструю ситцевую занавеску. Бабка убирала со стола посуду и, унося каждое блюдо, на котором что-то оставалось, значительно спрашивала внука: «Может, поел бы еще?» – на что Адька в ужасе мотал головой, потому что накормлен был отнюдь не по-спартански, а еле дышал, натрескавшись холодца, борща и картошки, да запив все это молоком с добровольно-принудительной ватрушкой в придачу.

Наконец выбрался потихоньку Адька за калитку, намереваясь бежать через колхозное поле в соседнее большое село, где были клуб и сельсовет, а главное, жили товарищи по прежним упоительным летним играм – в Коровьем Носу пацанов, подходивших ему по возрасту, не было. Но только ступил он несколько шагов вдоль своего забора, как услышал задиристый оклик. Обернулся – и встретился взглядом с паренком его же примерно возраста, белобрысым, щекастым, хлопавшим ярко синими глазами под белыми, как мотыльки, ресницами.

- Ты из Пскова, что ли? – по-деловому спросил паренек.

Адька приосанился:

- Из Ленинграда. На лето к бабке приехал.

Но на паренька это не произвело должного впечатления, он равнодушно кивнул:

- А я из Пскова. Тоже к бабке. Меня зовут Севка, а тебя?

- Адька.

Севка озадачился:

- Это по-полному как же будет?

- Адольф, – гордо сообщил Адька.

- Это в честь Гитлера, что ли? – пытал неуемный Севка.

Адька знал, разумеется, имя главного вождя Германии, речь его даже, которую в «Правде» напечатали, в школе на политзанятиях проходили, и ему нравилось, что необычный его отец и имя ему дал редкое – как мама потом объяснила, чтоб не такое, как у святых на иконах – незачем, мол, это советскому парню – да и звучное к тому же. Но почему-то счел нужным перед Севкой оправдаться:

- У нас с Германией пакт.

- Батя говорил, мы все равно с немцем воевать будем, – авторитетно изрек Севка, и палец его привычно потянулся к носу.

Этой темы Адька не любил и никогда ее не поддерживал, потому что ведь, если война, то будет, наверное, как в Испании – хронику в кино видел, такую, что и вспомнить страшно: мертвый мальчик его, Адькиных лет, лежит навзничь на груде мусора, в которую превратился его дом, а мимо бегут и бегут прямо по огню серые люди с разинутыми в крике ртами. Нет, мы не какая-нибудь Испания, на нас никто напасть не посмеет, а если и начнется война, то очень нескоро, через много-много лет, когда он, Адька, станет уже совсем стареньким, а может, и вовсе умрет – лет так через сто... И, хотя ровеснику в родной деревне Адька поначалу было обрадовался, дружить с ним как-то расхотелось, потому он бросил ему снисходительно: «Ну, бывай пока, я по делу спешу», – и затрусил в сторону околицы на встречу с дорогими сердцу деревенскими приятелями.

А я, пока он туда бежит, пожалуй, начну новую главу, под названием

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ, ПРО МОИХ ДВУХ ПЕТЕРБУРГСКИХ БАБУШЕК

У доблестного Майделя было десять внуков, что казалось, обещало роду в целом невиданное процветание и преумножение. Но пять революций и две огромные войны, обрушившиеся на страну в течение одного века, хорошо еще не под корень извели его, а дали возможность пробиться чахлым одиноким росткам, причем, в родном Санкт-Петербурге возможным продолжателем нашего рода остается только мой единственный сын. Из десяти детей Параскевы двое умерли в младенчестве, четверо имели по одному ребенку, и четверо, доживших до взрослого возраста, не оставили живого потомства вовсе... Внешние причины на то были разные, но теперь, глядя сквозь призму христианского самосознания, главную и единственную причину я вижу отчетливо и неотвратимо: такое наказание постигло семью за то, что февраль семнадцатого взрослые встретили с одобрением, через восемь месяцев приветствовали октябрь и потом до самой смерти не изменили своего мнения, привив его неопытным младшим, навязывая неискушенному молодняку. Иконы были сняты со стен и запрятаны подальше, причем так, что мне остались из них только три, и то подвергшиеся гнусному надругательству со стороны... Появился в нашей семье и человек, всю жизнь самозабвенно прослуживший идее мировой революции и коммунизма, посвятивший себя многотрудной партийной работе: одна из дочерей Николая с Прасковьей – Евгения, а всю мою жизнь – тетя Женя.

Она родилась в тысяча девятьсот четвертом, и окончить Павловский институт благородных девиц до революции не успела. Зато успела нахвататься вредных идей и проникнуться ими, что привело ее прямоком в ВКП(б) – двадцати лет, по так называемому Ленинскому призыву.

Жизнь Евгения прожила строгую, с первым поцелуем в тридцать один год, а целовальщиком был некий Мишка. Падение честной партийки произошло в извозчицком тарантасе, наверное, одном из последних в истории человечества. «Ехали мы как-то с Мишкой на извозчике...» – так начинался и заканчивался рассказ восьмидесятилетней тети Жени об этом знаменательном в жизни девушки событии... Мишка вскоре исчез безвозвратно, а вместо него в жизни Евгении появился бравый военный хирург Петр Петрович Минеев. Он тоже был красив модной красотой тридцатых-пятидесятых, во всяком случае, чуб имел кудрявый, а нос орлиный. Его-то атеизм как раз и простерся до той крайности, что ему показалось мало, что иконы просто убраны с глаз долой – и он решил бороться с мракобесием активнее: порубить их топором. Снятием солидных окладов доктор Минеев почему-то предпочел не заморачиваться, поэтому значительного ущерба иконам и не нанес, только мощная дубовая доска у Николы-Угодника изрядно повыщербилась сзади. За это в семидесятых он угодил под трамвай – и его тоже хорошенько повыщерило...

Супругов Минеевых Господь бездетностью не наказывал: это наказание они сами на себя возложили и абсолютно сознательно от детей отказались, а на вопрос, почему – отвечали твердо: «Все равно никакой благодарности не дождешься». Тетю Женю не мучил призрак одинокой старости и пустой – без стакана воды – тумбочки у смертного одра: еще будучи более или менее молодой женщиной, она приняла для себя решение умереть в привилегированном доме престарелых для старых большевиков, зная уже, что непременно его у власти выслужит. Впоследствии желание исполнилось с настолько ювелирной точностью, что можно уверенно сказать, что Господь ее добровольный выбор уважил: последний документ для поступления в Дом Старого Большевика был подписан 20 августа 1991 года, то есть за сутки до поражения пресловутого «путча», после которого уже никто подобной бумаги не подписал бы – так ей на следующий день и объявили. С 21 августа дом престарелых стал принимать только ветеранов войны, а ее-то как раз тетя Женя благополучно пересидела в Свердловске...

В свое время она стала опекуницей моего осиротевшего трех лет папы, сына сестры Клавдии, что и дает мне формальный повод называть ее почти официальной своей бабушкой. Он горько плакал и все звал умершую маму, скитаясь по тому самому страшному черному коридору в квартире на 3-й Красноармейской улице и, устав, вероятно, от хронического воя здорового трехлетки, Евгения вышла в коридор и раздраженно бросила невозвратимые слова: «Ну, что ты плачешь? Я твоя мама!» – и ребенок успокоился, стал так ее называть и меньше плакать...

Опекунство Евгении и Петра было им совсем необременительно: ласку и какую-никакую родственную любовь ребенок получал от бабушки с дедушкой, а мачехе и отчиму осталось лишь непритязательно кормить-одевать его со своих весьма и весьма немелких денег, да проверять у школьника дневник, периодически вступая прямо на его страницах в переписку с классным руководителем. «Вчера он должен был пойти на дополнительный урок математики, но не сказал об этом мне и прогулял его», – вот образец подлинно коммунистической неподкупности, за которую даже трудно всерьез осуждать человека с *такими* принципами: пустяк ведь – донести классной на собственного пасынка, когда и не такие бумаги от чистого сердца писались в те времена в другие, куда более серьезные инстанции...

А ведь людьми-то, они, наверное, были неплохими – Петр с Евгенией. Из всех своих многочисленных двоюродных бабушек (кстати, сразу после моего рождения дружно отказавшихся называться так и велевших моим родителям научить меня, что они еще молодые – «тети») я больше всех любила именно тетю Женю, да и пошла в нее внешностью, здоровьем (надеюсь) и немножко характером (во всяком случае, в той его части, что отвечает за целеустремленность и преданность гиперидее). Любила за то, что она была невредная и никогда не пыталась меня воспитывать – возможно, из хронического равнодушия, которое, должна признаться, и я сама питаю к чужим детям; но

равнодушие подразумевает ненасилие – а это как раз у детей на втором месте после подарков; любовь требуется только от мамы, за это ей же прощается и многообразное воспитание... Что касается подарков, то милые девчоночьему сердцу цепочки, сережки, колечки и прочие сорочки удовольствия водились у нее в изобилии, и мне всегда позволялось свободно в них копаться, выбирая себе, что сильнее блестело – и это она благосклонно отдавала мне насовсем. Кстати, откуда и зачем взялась у тети Жени вся эта бижутерия? – ведь не от нее унаследовала я слабость к самоукрашательству. Ее же помню всегда в закрытом темном, консервативную до абсурда: Бог весть отчего решив однажды, в незапамятных пятидесятых, что плюшевое темно-коричневое пальто и вязаная, «колпачком», шапочка – именно те предметы туалета, которые ей несказанно идут и будут красить ее пожизненно, она осталась им верна до своего очень нескоро открывшегося гроба: многие десятилетия раз в два-три года она шила и вязала на заказ точно такие же вещи взамен отслуживших старых, не поменяв в фасоне ни линии, ни пуговицы.

В моем более позднем детстве, после отправки нашего дома-ветерана на капитальный ремонт, когда вся семья оказалась раскиданной по разным краям мегаполиса, а тетя Женя поселилась в Веселом поселке, меня, бывало, отправляли на осенних или весенних каникулах гостевать к ней дня на три. Я запомнила загроможденную многочисленными коробками и мебелью в белых чехлах двухкомнатную квартиру, две великолепные бронзовые настольные лампы на тумбочках около нежной четы впечатляющих кроватей, чугунную сковородку, полную волшебной вкусной картошки, жаренной на сале в духовке (никогда и ни при каких обстоятельствах не едала ничего вкуснее), красного дерева трельяж, в многочисленных ящичках которого таились невозможно, томительно прекрасные вещи – как-то: бархотка, пудреница с сеточкой, прозрачная круглая стеклянная коробка с «драгоценностями», вполне мне доступными, старинные картонки из-под конфет, перламутровые раковины, в которых пело море... Главная моя сокровищница в гостях у тети Жени находилась между упомянутым трельяжем и шкафом: прямо на полу там были сложены внушительной стопкой журналы «Здоровье» лет за двадцать пять, так мне, десятилетней, приглянувшиеся, что именно им я посвящала все время между едой, сном и примеркой украшений, несказанно радуя тем тетю Женю. Бездетные женщины обычно боятся гостей детей – ведь их надо выгуливать и как-то занимать; со мной такой проблемы не существовало: я никакого внимания к себе не требовала, а в десятый раз разглядывала, например, карикатуру на рок-н-ролл, нещадно разоблачаемый в середине пятидесятых, или недоуменно читала статью о пользе только что разрешенных аборт...

Евгения Николаевна Минеева умерла в девяносто лет, от старости. Незадолго до смерти мы с сыном навещали ее в доме престарелых – и была она вполне довольна жизнью в отдельном номере с балконом и санузелом, показывала выпускной академический альбом мужа, за обе щеки уплетала «корзиночки» с пышным розовым кремом, попросила меня выщипать и покрасить ей брови, потому что «тут один так смотрит, так смотрит...». Дом Старого Большевика (Ветерана) не скучал: дружным коллективом ездил в гости к соседям – Старым Актерам – на концерты, писал гневные петиции Президенту, в годы самой головокружительной инфляции лопал по понедельникам красную икру...

«Моя жизнь состоялась так, как я этого хотела: я была счастлива, здорова, занималась полезным для общества делом и теперь умру с удовлетворением», – Евгения не изменила себе до смерти, накануне велев младшей сестре похоронить вместе с урной свой пронесенный сквозь все политические торнадо партбилет...

У морга нас встретил приехавший туда раньше родственник, не отличающийся особой церемонностью и в выражениях не слишком разборчивый, поэтому приветствие его прозвучало так: «Нам не ту старуху подсунули». Я недоуменно приблизилась к гробу и действительно увидела там труп незнакомого бесполого существа с запавшими щеками, обтянутыми скулами и провалившимся ртом. Конечно же, это была не пухлая,

круглолицая, кудрявая теть Женья! Но ее сестра Валентина, в жизни свое отудивлявшаяся и отскорбевшая, бестрепетно взошла по трем ступенькам, ведущим к гробу, расстегнула покойной платье, глянула и заплакала: «Да, это Женечка, это Женечка...». А я ее так и не узнала – и за всю историю моих проводов людей в мир иной это пока единственный, и, надеюсь, последний случай.

По желанию тети Жени ее не отпевали, но на девятый день заказали все-таки в Троицком Соборе, где в свое время ее крестили, где венчались ее родители, скромную панихиду. Нас собралось несколько человек – обломков гибнущего рода. Священник еще не появлялся, и мы часа полтора бродили в ожидании вокруг стоявшего тогда в лесах храма, того самого, у которого *с куполом синим не властно соперничать небо*¹ – а батюшка все не шел и не шел. Наконец, прибежала свечница и сказала, что на пути из пригорода у священника сломалась машина, он вынужден тащить ее на буксире и очень перед нами извиняется, что панихиду служить придется завтра. Назавтра все повторилось с той лишь разницей, что нас, обломков, смогло прийти меньше, и у батюшки машина не сломалась, зато его самого разбил радикулит, да так, что извинялся не он сам, а матушка. После этого уже и дурак бы догадался, что третьего раза ждать не стоит...

Муж тети Жени в книге «Врач на войне» (или с подобным названием, потому что сама книга утрачена) именуется «Главный хирург Балтики» – его фотография, помещенная там, изображает кудрявого темноволосого мужчину в белом морском кителе. Подвиги Петра Петровича Минеева, капитана второго ранга медицинской службы, на самой героической Балтике почему-то начисто выпали из моей памяти, зато во время послевоенного разминирования южного берега Финского залива ему оказались обязаны жизнью, наверно, несколько десятков саперов, никогда о своем чудесном спасении не узнавших. Он обратил как-то раз внимание, что случаев подрыва саперов на минах в послеобеденное время чуть ли не в два раза больше, чем в дообеденное. Долго думал, почему, и, наконец, догадался: им, оказывается, за обедом наливали «фронтовые сто грамм»! Доктор Минеев велел перенести поблажку на вечер, благодаря чему подрываться они почти перестали... В моем детстве он был непробиваемо глух после фронтовой контузии, постоянно курил трубку, даже держа меня, карапузику, на коленях, увлекался черно-белой фотографией, а характер, по воспоминаниям моих родителей, имел стержневой – но это, в конце концов, частное мнение...

Так засохла – без трагедий и метаний – еще одна веточка на могучем древе под названием род человеческий. Другая отмирала мучительно и катастрофично, на моих уже вполне взрослых глазах, в лице Валентины, то есть, тети Вали, составлявшей мое наказание с детства, но по всем счетам заплатившей сполна.

Она была моложе сестры и резко от нее отличалась – не внешностью, а поведкой. В отличие от степенной тети Жени, тетя Валя, казалось, имела спрятанный под юбкой моторчик (на маневренном фоне во время капремонта ее даже прозвали Скороходом), но и бес там, определенно, тоже затаился, потому что притягательностью для мужчин она обладала невероятной. Папа говорил мне когда-то, что один глаз тети Вали имел зрачок не круглый, а кошачий, вытянутый, что, впрочем, никак не влияло на остроту ее зрения, но повод заподозрить в ведьмовстве давало. Подозрение это было, однако, напрасным, потому что трудно встретить человека, менее страдавшего мистицизмом... В жизни – да, но, как теперь припоминаю, на картах гадать она все же бралась, простым раскладом – и, представьте, сколько бы ни гадала мне во время любовных коллизий моего девичества, предсказания всегда сбывались с пунктуальной точностью. В целом она была человеком ухватистым, здравомыслящим и жестким – недаром до пенсии проработала снабженцем и при этом, если верить глухой молве, еще и подпольно приторговывала «камушками». Нравом обладала круглым, никаких противоречий не терпела, в воспитании детей полностью отрицала принцип дружбы и «демократии», считая, что их дело – молчать,

¹ А. Галич

слушаться с первого слова, не путаться под ногами и не лезть с вопросами. «Даже если ты точно знаешь, что тебя наказывают несправедливо и взрослый неправ, ты все равно не должна спорить с ним, потому что маленькие девочки не смеют противоречить взрослым», – таков был один из ее многих похожих педагогических постулатов. Надо ли говорить, что в детстве я не испытывала к ней никаких теплых чувств, а испытывала горячие – отвращение и ненависть. Они еще усиливались оттого, что видеть ее мне приходилось гораздо чаще, чем хотелось бы, потому что мои работавшие родители иногда вынуждены были просить ее присмотреть за мной на каникулах и однажды даже отправили с ней на дачу в Комарово – впрочем, после месяца, проведенного нами под одной крышей, тетя Валя сама категорически отказалась в дальнейшем брать меня к себе более чем на сутки. И было из-за чего. Надо сказать, что львиная доля нрава и даже вкусов была унаследована мною именно от нее, вдобавок, единственный ребенок в семье, я к моим десяти годам была самым возмутительным образом избалованна. Это происходило за год до моих первых месячных, после которых я стремительно превратилась из сорванца в своенравную барышню, несколько помягчала характером, начала рассуждать о смысле жизни и писать стихи. Невольно я не терпела, воспитанная свободной и любимой, поэтому мне казалось диким, что меня можно за непослушание, например, запереть на весь день в комнате; мне и в голову не приходило там оставаться, поэтому я преспокойно вылезала в окно и мчалась в наш сосновый лесок командовать ватагой ребятишек, состоявших в моей «банде» – ибо это был неизбежный в жизни ребенка нашего поколения период «тайных обществ», «секретных штабов» и карт местности, испещренных стрелками и таинственными знаками, среди которых череп и кости являлись абсолютно обязательными. Случались и серьезные драки – с применением увесистых дубин, гонки на велосипедах, после которых на мне не оставалось живого места – и можно себе представить, как тряслась за меня тетя Валя, обязанная, все же, вернуть ребенка родителям целиком, а не по частям, чем и оправдывались ее чрезвычайные меры, в ответ рождавшие только вызывающую грубость и непослушание в квадрате. Временно спокойной она могла побыть только тогда, когда я, случалось, на целый день присасывалась к очередной книге или проводила вместе с тетей утро, собирая грибы – но ведь никакой гарантии не было, что вечером я не убьюсь насмерть или не прикончу ее саму. Такая возможность у меня однажды мелькнула, и я до сих пор не могу избыть темного ужаса при воспоминании об этом своем детском приключении.

Подбила я однажды своих сотоварищей вырыть самую настоящую волчью яму перед «вражеским штабом», обнаруженным в такое время, когда родители уже разогнали наших врагов по домам. Смеркалось – а у нас кипела работа: мы копали и копали, а потом еще воткнули в дно ямы остро заточенные колья, словно собирались загонять медведя (не забудьте, мне тогда было почти десять лет, но в раж входить я умею и до сих пор, правда, делаю это несколько реже). Яму закрыли ветками, положили сверху невесть где добытый коленкор, а на него насыпали палой хвои, очень натурально разметя ее еловой лапой. Получилось идеально; я до сих пор помню свое удовлетворение от качественно проделанной работы – и тут из-за сосен раздалось ненавистное: «Наташа, ужинать и спать!» – и тетя Валя неожиданно возникла едва ли не в двух метрах от замаскированной ямы – и продолжала уверенно шествовать вперед. «Тетя Валя, стой!!!» – взвизгнула я, нимало не заботясь о своем авторитете перед «младшими по званию». Если бы жизненного опыта было у меня хоть лет на пять побольше, то я бы уже знала, что самым надежным способом немедленно остановить тетю было выкрикнуть «Иди быстрее!!!» – но мне не исполнилось еще, повторю, и десяти лет. «Почему это я должна стоять?!» – в полном соответствии с нашим с ней характером возмутилась она – и следующий шаг стал роковым: раздался треск на весь лес – и я зажмурила глаза. Бог пронес. Она не то что не попала на колья и не сломала позвоночник – но и в прямом смысле отделалась легким испугом. А я не стала убийцей, не подлежавшим по малолетству уголовной ответственности.

Представляю, о чем думала тетя Валя той же ночью, когда я безмятежно спала, а она в сотый раз переживала невыносимое ощущение разверзающейся пропасти, уходящей из под ног земли... Она думала: «Мои дети никогда бы не поступили так, как эта скверная девчонка. Ни Боренька, ни Мариночка. Они были бы хорошими, ласковыми и всегда бы меня слушались. Но вот чудные мои дети умерли, а эта малолетняя преступница живет себе, и ничего ей не делается. За что такая несправедливость, Господи?».

Боренька умер в тридцать седьмом году шести лет отроду, причиной смерти в свидетельстве указана скарлатина. Тогда еще не изобрели антибиотиков. Это был отличный ухоженный ребенок с глазами шкоды и русой челкой. После смерти он не приходил к своей матери, а пришел к тетке (моей бабушке Клавдии), чтобы предупредить ее о предстоящей кончине. Он был некрещеным, и молиться за упокой его души в церкви не положено.

Мариночка скончалась в сорок втором году в Ярославле, прожив почти ровно два года (умерла накануне дня рождения). Этого не случилось бы, если б не война. Воспаление легких она получила в битком набитом эвакопоезде. Похоронена там же, в чужом городе, мать больше никогда не бывала на ее могиле, и самой могилы более не существует. Девочка была толстушкой, на мир глядела любопытно, сосала пальчик. У нее, как и у брата, и у отца, были кривоватые мизинчики. Ее тоже не крестили, остается уповать на Божью милость.

После этого тетя Валя решила детей больше не иметь – и не понять ее в этом вопросе невозможно. С мужем – красавцем и бабником Ваней – она развелась вскоре после войны и больше замуж не стремилась. Тот же Ваня, спустя лет пятнадцать овдовевший во втором браке, умолял ее выйти за него снова, она заметно колебалась, переписывалась, гостила – и ответила отказом. То ли оттого, что не захотела стать матерью его выжившему сыну от другой, то ли не желая менять своих к тому времени уже устоявшихся привычек независимой женщины.

Тетя Валя была личностью самодостаточной – этого не отнимешь. Мужчины добивались ее отчаянно – но снисходила она с большим выбором, предпочитая людей состоятельных, доказавших свою какую ни есть значимость. За них не цеплялась, охладевающие чувства искусственно не разогревала. Перед самым прибытием моей мамы в Ленинград, то есть за год примерно до моего рождения, тетя Валя как раз рассталась с последним своим любовником, молодым человеком, не достигшим на ту пору и тридцати. Исполнилось ей тогда пятьдесят шесть лет, но разрыв произошел по ее непреклонной инициативе – и отвергнутый, как рассказывали, часами простаивал, вызывая жалость всего дома, в морозные ночи под окнами коварной разбивательницы сердец – только ей уже вся любовь опостылела.

Когда тете Вале стало девяносто, и мы с ней почти подружились, она однажды застыла посреди разговора и вдруг шлепнула себя по щеке: «Вот сейчас сижу и думаю – и чего я из-за них, мужчин, мучилась! Какая глупость! Даже вспоминать смешно. А сколько крови они мне испортили...».

Когда она умерла, мне пришлось, подготавливая квартиру к продаже, перебрать абсолютно все ее вещи. Они бережно сохранялись хозяйкой с послевоенных времен, и, беря в руки то одно, то другое, я каждый раз понимала заново: умерла Женщина. Каждая безделушка или шарфик, вуалетка или пуговица, бархатный цветок или сумочка – все носило отпечаток нестандартного вкуса, про который вовсе нельзя было сказать «утонченный» – этого как раз в ней не было – но смелого, яркого, принадлежавшего эффектной во всем женщине, умевшей покорять, удивлять и царствовать. Бесконечно женственной. Причем сразу оговорюсь, что понятие женственности для меня означает не слабость, истерию и беспомощность, но напротив – незаурядность всякого рода, которая, помноженная на обаяние, и составляет то самое неразрешимое понятие «харизмы».

Здоровьем тетю Валу и Бог не обидел, и сама она не плошала: уже выйдя на пенсию, стала заниматься благородным бадминтоном – и получила первый разряд: не

помешала ей и полнота – она была, что называется, «кругленькой» и прыгала, как маленький упругий мячик. Бадминтону тетя Валя не изменила лет до семидесяти семи, он стал значительной и неотъемлемой частью ее многогранного существования, таким же, как вязание, на спицах и крючком, высокохудожественных вещей, больше на заказ, но и просто так тоже. Сколько было у меня шапочек и кофточек из ее рук, и, хотя моя мама тоже неплохо вязала – но в каждом изделии тети Вали присутствовала знаменитая «изюминка», которой нельзя научиться.

Уверенность в своей неиссякаемой силе и здоровье, в конечном счете, жестоко подвела ее. В восемьдесят два года тетя Валя ничтоже сумняшися переехала в освободившуюся двухкомнатную квартиру тети Жени после отбытия той в дом престарелых (государству отдали совсем другую комнату, потому что уж слишком жирно было бы разбрасываться отдельными квартирами). Мы уговаривали ее выменять квартиру поближе, чтобы оказаться в зоне нашей досягаемости в преддверье старости, но она категорически не пожелала брать в расчет свою возможную немощь, уж не знаю, сколько лет жизни себе в мыслях отмеряя... В результате, любая поездка к ней ее племянника, моей мамы или моя превращалась в путешествие на противоположный край города – и уже немислимым стало заскочить к ней «по пути» куда-то и оказать быструю услугу...

Силы ее таяли исподволь, почти незаметно. Она еще бодро руководила нами по телефону, иногда энергично отчитывала, оперировала глаза (что, кажется, не очень-то помогло), шила пальто на заказ, переписывала завещание, мечтая оказаться сверхсправедливой, но в результате только организовав наследникам кучу трудностей... А зрение понемногу гасло, сила уходила с каждым выдохом, немногочисленные родственники были заняты и далеко, а друзья умирали один за другим... Мы звали тетю к себе, но она не пожелала, боясь утратить самое дорогое гордому сердцу – самостоятельность, и настал такой день, когда, полуслепая и дряхлая, лишенная возможности читать, смотреть телевизор и выходить дальше, чем в магазин, тетя Валя оказалась одна в своей квартире на краю города – но еще сопротивлялась надвигающейся смерти, в дом к себе пускала только по предварительному звонку и на определенное время... В тот последний год она как-то рассказала мне за чаем, как, шестилетняя, видела Государя Императора Николая Второго с Императрицей Александрой Федоровной и Августейшими Детьми во время какого-то их торжественного выхода... «Помню, как бережно вел Царь свою Царицу... А Царевич был – совершенная копия отца, только маленькая... Он сам не шел, его нес на руках слуга... И еще было очень хорошо понятно, что все они в Семье очень друг друга любят...». Больше в жизни я никогда не встречу человека, видевшего всех Царственных Мучеников живыми...

Теперь я подхожу к описанию ее последней болезни и смерти. Для меня это подобно тому, как если бы глубокий обширный ожог разбинтовывать, отдирая присохшее, потому что все совершалось на моих глазах и при непосредственном моем участии. Провожу некоторую сухость слога, неизбежную при описании большой непридуманной трагедии, и заранее прошу читателя меня за это простить.

Позвонили около десяти часов вечера, и не мне, а племяннику тети Вали, Кириллу, а он, легко впадавшая в панику творческая натура, позвал меня на подмогу и моральную поддержку... Если бы я только знала, какие сутки предстоит нам пережить! Звонок поступил от соседней тети Вали снизу по лестнице, у которых хлынула с потолка в ванной вода, и дозвониться до квартиры, их залившей, они не смогли. Ключей у нас с Кириллом не имелось, потому что уверенность тети Вали в своей непотопляемости до того дня была настолько мощной, что даже на самый крайний случай не захотела она предоставить доступ в квартиру кому-нибудь из близких. Мы звонили около часа и уже начали обсуждать возможность вызова спасателей, когда дверь вдруг беззвучно распахнулась. Мы ахнули: едва видимая сквозь клубы горячего пара, в коридоре стояла тетя Валя, растрепанная, в одной ночной рубашке, а две ножки-палочки выростали из огромных черных мужских штиблет; пар валил из ванной, где била струя кипятка, уже

плескавшегося на полу по щиколотку. Тетя Валя сошла с ума. При осмотре квартиры мы нашли целыми только те предметы, которые невозможно было разбить или сломать. Все, до чего тетя могла дотянуться с высоты своего полутораметрового роста, она уничтожила, и обломки с черепками покрывали все горизонтальные плоскости. Квартира пребывала в разорении, практически некуда было ступить...

Некоторые странности в ее поведении, положив руку на сердце, я последние месяцы все-таки замечала, но предпочла списать их на общую вредность тети Валиного характера, замечательное упрямство и своенравие. Теперь выходило, что признаки ее постепенного сползания с ума были мною жестокосердно проигнорированы – и вот положение имело все черты безвыходного...

Первая вызванная «скорая помощь» помогла только тем, что вкатила несчастной снотворное, предоставив нам дальше выпутываться самим. Обыскав дом, мы нашли ключи и заперлись, но стало совершенно очевидно, что оставлять большую одну с этой минуты не будет возможно уже никогда, и нужно все-таки искать отсутствующий выход.

За Кирилла говорить поздно и незачем (почему – станет ясно впоследствии), но за себя могу сказать определенно: кроме того решения, которое я приняла на следующий день, имелось еще одно, драгоценное тем, что могло сохранить чистой мою совесть – и не осталось бы навеки в моей душе того присохшего ожога. Я могла и должна была увезти ее к себе, отдать ей свою комнату, временно поступиться комфортом. Если бы я чуть-чуть поднапряглась, то смогла бы организовать ее круглосуточное пребывание под наблюдением – пусть взаперти, но в человеческом доме, среди здоровых людей. Но для этого требовалось на неопределенное время лишиться привычных, кажущихся такими необходимыми удобств. Пришлось бы отказаться от многочисленных литературных тусовок, глубокомысленных бесед с выпивкой до утра, объяснять разбалованному до крайности сыну, тогда подростку, что не только его спокойствие имеет значение на этой земле, выносить и, возможно, *выгребать* за выжившей из ума старухой, при этом еще кормить ее с ложки и терпеливо относиться к всяческим выходкам... Все это показалось мне тогда столь ужасным и принципиально невыполнимым, что я ни на секунду не задумалась обречь человека на медленную мучительную смерть, наступившую только три с половиной месяца спустя.

О, я, разумеется, нашла себе оправдание: больная опасна. За ней можно недоглядеть – не могу же я никогда не выходить из дома! – и тогда случится беда. Она ведь не узнает никого из окружающих, считает нас с Кириллом бандитами, проникшими к ней в дом, и пытается, верная своему ничуть даже в безумии не изменившемуся характеру, воевать с нами не на жизнь, а на смерть – вот, только что даже чуть не проломила чугунным утюгом голову неосторожно повернувшегося к ней спиной Кириллу... Сутки я билась в квартире практически наедине с абсолютно невменяемой женщиной, агрессивно уверявшей, что ей укоротили холодильник, подстригли ковер и прибавили новые кнопки на телевизоре – наедине, потому что ее племянник почти сразу впал с состояние перманентной истерики и практически тоже оказался на моих руках. Я не спала, потому что считала это в тех условиях непозволительной роскошью, и не ела, потому что еды в квартире не осталось – вся она была размазана по полу и стенам...

Решение, принятое мною через сутки, можно счесть, конечно, продиктованным нервным и физическим истощением – но это снова лукавство, потому что шесть лет назад здоровье и психика у меня были не таковы, чтобы дать сколько-нибудь значимый сбой из-за каких-то двадцати четырех часов напряжения. «Она опасна, – уверяла я себя в десятый раз. – Преступное легкомыслие – оставить ее без врачебного надзора».

И вторая «скорая помощь» увезла тетю Валу с собой – без возврата. Свою жизнь она закончила в Ленинградской области, в поселке Никольское, в психиатрической больнице им. Кащенко.

Я описала ее в «Освобождении Агаты» – эту чью-то бывшую усадьбу, где разбросанные в тенистом парке корпуса имеют окна, зарешеченные с первого до пятого

этажа. Один из корпусов считается специально стариковским – именно туда жители нашего города сдают своих ненужных патриархов рода. Так поступила и я. Мы с мамой даже привезли туда священника, который тетю Валю, как мог, исповедовал и причастил – и совесть стала мучить меня немножко меньше. Я исправно ездила с огромными передачами, хотя и знала, что из них достаются больной только памперсы – «клиенток» без лишних церемоний держали там в состоянии постоянного сна, чтоб слишком долго на свете не задерживались. Все, что я не успевала скормить несчастной с ложки, когда тетю привозили в кресле на свидание, хищно делили между собой сытые крупные медсестры... Надеюсь, съедая старушечьи гостинцы, они, хотя бы, не избивали страдалиц. Хотя не знаю. Теперь трудно решить, что являлось правдой из сбивчивого бормотания тети, но я постоянно слышала жалобы на «все тело в синяках» – и она даже пыталась развязывать тесемки халата, желая эти синяки продемонстрировать... Правда, речь шла и об «отрезанной груди», и о «глубокой черной шахте, куда гоняют на работу»... Кирилл высказал тогда заслужившее мое внимание предположение, что рассказы тети Вали имеют уж слишком явное сходство с описаниями верхних кругов ада, известными от чудом вернувшихся, и допустил, что адские муки ей дано в видениях пережить еще при земной жизни, с тем, чтобы избежать их в вечной...

То, что место это отчаянно, ненормально забесовлено, у меня, все-таки регулярно принимавшей Причастие, не вызывало и тени сомнения. Я уже не духовно, а физически чувствовала, идя по парку больницы, как бесы присутствуют буквально в каждом кубическом миллиметре воздуха, как бурлит их адская злоба, как они в прямом смысле слова прыгают человеку на плечи и пригибают его к земле... Среди безумия, в большинстве случаев ими же и вызываемого, они чувствуют себя особенно вольготно, и трудно психически здоровому (в данный момент!) выносить такое количество нечистых духов в непосредственной близости. Их разрушительную ненависть переносить почти невозможно, исключение составляет лишь персонал, но этих людей, по всей видимости, Господь укрепляет как-то особенно – иначе очень скоро больных от медиков было бы не отличить...

Тетя Валя скончалась четырнадцатого июля две тысячи второго года, была отпета в Гатчине, в соборе, согласно ее желанию – кремирована и подхоронена в могилу к сыну Боре на Смоленском кладбище, рядом с могилой ее сестры, моей бабушки Клавдии.

Но печаль на этом не заканчивается, потому что настало время для еще более грустного повествования, которое продолжит

ГЛАВА ПЯТАЯ, О ТОМ, КАК АДЬКА ПОШЕЛ ЗА ГРИБАМИ

Дальний грохот боев затих уже почти год назад. По всему выходило, что битва проиграна Красной Армией, потому что уж больно уверенными и спокойными выглядели те немногочисленные немцы, на которых Адьке удавалось глянуть вблизи. Деревенька Коровий Нос, маленькая и стратегически неудачно удаленная от райцентра километра на три вокруг Морок-озера, никак, по счастью, не была пригодна для размещения в ней мобильных воинских частей, поэтому немцы туда если и забредали, то только случайно.

Страшной – да и то с непривычки, оказалась первая с ними встреча, когда вдруг взрели за околицей моторы, и на их мирной улице показалась вереница мотоциклов с колясками, привезших хмурых парней в крысино-серой форме, зловещих касках, с настороженно выставленными автоматами. Они разбились на две группы, и принялись врываться во все избы поочередно, двигаясь с разных концов улицы и мало-помалу сближаясь. Резкие, словно собачий лай, выкрики слышались все ближе и ближе, даже коротко стрекотнула где-то автоматная очередь. Бабушка опомнилась буквально минуты за две до того, как подошел неизбежный черед их дома. Она сначала

пробормотала что-то о хряке, которого, предчувствуя беду, догадалась загодя угнать в лес, и вдруг, всплеснув руками, бросилась к шкафу и принялась доставать темные мятые тряпки, швыряя их в сторону дочери.

Анна, застывшая на кровати в извечной материнской позе – то есть, прижимая к груди голову своего перепуганного чада, – недоуменно смотрела на летающее по комнате тряпье, и от этого зрелища, кажется, ей становилось еще страшнее.

- Дамское снимай! Городское! Да скорей ты, тетеря сонная! – бабушка бесцеремонно оттолкнула оторопевшего Адьку и, как тесто в кадушку, стала вдруг кулаками запихивать дочь в тесный закуток за шкафом.

Через секунду оттуда вылетело мамино светлое крепдешиновое платье с ландышами по подолу, а спустя еще не более чем полминуты показалась словно бы вторая бабушка – в такой же темной мешковатой юбке и широкой, кое-как заправленной рубахе. Первая бабушка наскоро обвязала вторую засаленным передником и бросила ей на голову застиранный платок неопределенного цвета, пробормотав:

- Ты до глаз его, до глаз, чтоб патлы не вылазили, – а сама метнулась к остывшей печи.

Адька наблюдал происходящее и чувствовал, что закономерный страх в его душе превращается в тошноту, превозмочь которую он еще чуть-чуть – и не сможет. А бабка между тем зачерпнула горсть холодной золы и уверенным движением, словно такое немислимое действие творила каждый день, размазала золу по лицу Адькиной преображенной мамы, а остатки растерла ей же по рукам... Все это показалось Адьке настолько невозможным, что, хотя за прошедшие два месяца войны он уже успел набояться вдосталь, именно мгновенное превращение молодой и красивой матери в неумытую старуху показалось ему самым ужасным из всего, что он уже испытал и даже страшнее того, что неумолимо приближалось... Бабушка еще успела критически оглядеть внука (пионерский-то галстук давно уж был от греха сожжен в печке) – и сразу же прямо в их дворе раздались тяжелые шаги и лающие выкрики. В дверь никто не стучал – ее распахнули двумя такими ударами, что с мясом отлетел накиннутый крюк – и в горницу ввалились четверо с автоматами наизготовку. В этот момент сидевший на мягкой кровати Адька описался; мать подскочила к сыну и положила холодную от ужаса руку ему на плечо, зато бабка вызывающе стояла посреди комнаты и на незваных гостей смотрела почти что грозно. Но никого убивать они не стали, даже ничего не тронули, только тот из них, у которого на погонах блестело больше, чем у других, гавкнул, обращаясь, как показалось Адьке, прямо к нему:

- Зольдат? Найн?

- Найн! – поспешно ответила вдруг мама, как оказалось, прекрасно понимавшая лай, и даже замахала руками для убедительности. – Найн зольдат, найн!

- Гут, – неожиданно кротко согласился немец и, шагнув вперед, протянул руку, погладил сомлевшего Адьку по вставшим дыбом выгоревшим волосам и, можно сказать, дружелюбно осведомился у его матери: – Имья? Иван?

- А... Адольф... – ни жива, ни мертва, выдохнула неузнаваемая Анна.

В стане врага произошло оживление. Среди одобрительного чужеземного рокота Адька разобрал только обнадеживающе понятное «зер гут», «яволь» и «фюрер». Один солдат достал из кармана крупное розовое яблоко (побочным потоком сознания Адька четко определил, что оно было минуту назад украдено в их же саду) и протянул мальчику, сверкнув из-под каски абсолютно белыми, как у овчарки, зубами.

- Бери, – чуть слышно шепнула мать, но Адька пошевелиться не смог.

Тогда немец беззаботно кинул яблоко на кровать, перетянул автомат с груди за спину и отвернулся. Процессия удалилась, не причинив ни малейшего ущерба и даже не заглянув ни в хлев, ни в курятник: были, наверное, сыты и не хотели тащить добычу издалека...

...Двадцать второго июня, когда Анна рвалась с Адькой в Ленинград, бабушка властно запретила ей это делать:

- И думать не могли. От Ленинграда твоего и камня не останется, а жителей всех перебьют. Опять же, что ни война – то голодуха. А здесь, как ни худо – а земля. Хоть лебедой – да прокормимся, грибов, может, успеем набрать, ягод, яблоки заготовим, капусту. Может, и хряка сбережем с курами, хотя на вряд... Перезимуем, а дальше и загадывать нечего.

- А мужа я что же – брошу?! – всхлинула мать.

- Не до мужей теперь, – здраво рассудила бабушка Зина. – Дите бы сохранить – и то слава Богу.

- К отцу хочу! – испугался Адька. – Его немцы убьют!

- Смотри, чтоб тебя не убили, – обрезала бабка, и мать, покачав головой, не стала с ней спорить.

«Предательница! – жарко колыхнулось в Адьке. – От собственного мужа так запросто отрекается, немцам его почем зря отдает!» – но тотчас он получил от бабы Зины подзатыльник:

- Ты мне не бычься тут! Ишь, надулся, как мышь на крупу! На ту половину иди и играй себе тихо, не до тебя сейчас!

«Ага, играй, как же! – мстительно думал Адька, сидя за занавеской. – Возьму и убегу от вас прямо до Киевского тракта, а там доеду на каком-нибудь грузовике: не один ведь я в Ленинград собираюсь! И пойдём мы с отцом воевать с фашистами, а вы сидите, тряситесь тут, зайцы трусливые!».

Однако побег к Киевскому тракту осторожный Адька отложил пока на неопределенное время, завидуя все же Севке, чья мать, собрав ему и себе лишь по чемоданчику с самым необходимым, пустилась с сыном в путь уже двадцать третьего. Завидовал он ему ровно два дня – до того часа, когда буквально истерзанного, в лохмотья одетого, икающего и опухшего от слез Севку привел в деревню незнакомый мужчина и сдал с рук на руки его бабушке. Вечером баба Зина, думая, что внук уже спит, рассказывала тихо вскрикивающей дочери:

- Хорошо, что Маринка, Севкина-то мать, нашей Михайловне только сноха, не дочь была! Застрелили ее немцы с самолета, когда ихнюю колонну беженцев бомбили! Машины никакой они не достали, да где ее теперь возьмешь, машину-то! Люди по тракту валом идут, думают до Пскова добраться, а там, кому в Ленинград, на поезд какой-то сесть... Какой там сейчас поезд, Боже ты мой! А самолеты по небу так и шастают. Когда так пролетят, а когда и бомбы сбросят прямо на людей. Или из пулемета... Вот в Маринку и попало: Севку собой в овраге закрывала – и полоснуло ее. Так теперь в овраге и лежит. Хорошо, добрый человек нашелся, помог мальцу к нам обратно добрести... Вишь, какое горе, а ты в Питер рвалась. Вот и лежали б теперь с Маринкой рядом...

Из дома Адьку больше не выпускали ни за какой надобностью – и как ни рвалась мальчишечья душа обсудить лихо с друзьями из-за Морок-озера, а баба Зина отлупила его однажды собачьей цепью, валявшейся у давно пустой будки, только за то, что вышел он со двора, желая просто до Севки добежать, утешить его и расспросить мимоходом.

...После прихода немцев жизнь начала понемногу входить в более или менее устойчивую колею. В райцентре за озером бывала одна баба Зина, Адьку по-прежнему не выпускали со двора одного, та же участь постигла и Севку, так что приятели были своими бабушками благоразумно лишены возможности догнать что-нибудь ужасного. Мать стала тише воды ниже травы – только тенью бродила по избе, все время во власти такого страха, что замурзанный платок, повязанный ей на голову бабой Зиной, едва решалась снимать лишь на ночь. Она теперь была подвержена своего рода хроническому психозу, требовавшему все время иметь сына в поле зрения – и неотступно следила за ним глазами, вдруг ставшими гораздо больше тех, что были у Адькиной

довоенной мамы. О муже и отце она даже не заговаривала, а на все попытки Адьки предположить что-то насчет Самого, отвечала всегда одним и тем же красноречивым жестом: она порывисто – нет, не обнимала Адьку, а хватала его в мучительные, жесткие объятия, судорожно прижимала к себе, малодушно шепча при этом: «Лишь бы ты был жив, лишь бы ты... А мы уж как-нибудь, ничего...» – и иступленно гладила его по все более обраставшей голове.

Бабушка не зря беспокоилась за внука до такой степени, что держала его под домашним арестом и надзором: после того, как увял первый страх, и жизнь «под немцами» перестала казаться уж очень невыносимой и опасной, Адька мало-помалу принялся вынашивать хитроумные планы-фантазии на тему о том, как возьмет и организует подпольный пионерский отряд, взорвет вместе с боевыми товарищами комендатуру, нагло захватившую здание сельсовета, или хотя бы глубокой ночью залезет туда на чердак и заменит фашистский флаг на алое советское знамя... То-то разговоры пойдут тогда по всем окрестным деревням об отчаянных смельчаках, не боящихся бросить вызов подлому врагу!

Но поначалу он выходил за калитку только под конвоем матери и бабушки, за самой прозаической надобностью: собирать на зиму грибы, коих народилось в тот год столько, что хоть косой коси.

В их округе немцы особо не лютовали, потому что партизан поблизости не наблюдалось, и заподозрить население в тайных сношениях с ними повода не было. Они только споро отобрали все, какие наши, радиоприемники и развесили на каждом столбе объявления о том, что любой, сохранивший эту запретную вещь у себя, даже не пойманный за слушанием, будет расстрелян без суда. Никого пока не расстреляли – это баба Зина, регулярно ходившая за озеро менять городскую дочернюю одежду на ржаную муку, знала совершенно достоверно – зато никаких новостей о том, что же происходило за пределами мира, подвластного теперь фашистам, добывать не удавалось... Победить-то совсем они пока не победили – это тоже было известно наверняка: у комендатуры вывешивался раз в неделю некий агитационный листок на русском, напыщенно сообщавший не менее чем с десятью ошибками о триумфальном шествии победоносных германских войск уже по Уралу, но об окончании войны речи пока не шло. В деревнях, по словам бабы Зины, листку и верили и не верили: с одной стороны, уж больно лихо драпала на восток непобедимая Красная Армия с самого начала войны, а с другой – неужели же и Москву, и Ленинград отдали? А где же Сталин, правительство где? Тут начинались сомнения...

Поздней осенью вышла их дому великая радость. Вернувшись к обеду из своего дальнего похода, бабушка привела с собой корову! Свою собственную, отобранную у нее колхозом после того, как она по немощи не смогла больше там работать по восемнадцать часов бесплатно, за трудодни. Ее отпустили, взамен конфисковав единственную коровенку Ночку – шуструю и быстроглазую, но богатую молоком. Немцы же колхоз разогнали, чтоб не собирались лишний раз вместе подозрительными группами крестьяне вражеского государства, а живность велели разобрать по дворам, пообещав, правда, в будущем использовать ее на благо Германии, а пока разрешив безвозмездно пользоваться. Этим жестом новая власть настолько развернула местное население лицом к себе, что своих, местных парней, не успевших загреметь на фронт и служивших при немцах в русской полиции, перестали чураться и презрительно называть «полицаями», а начали наперебой затаскивать в гости на парное молочко с творожными ватрушками.

Немцы потрафили и еще в одном: в первый же месяц фомкой взломали запоры на местной церкви постройки восемнадцатого века и, хотя живого священника во всем районе не нашлось, – народ хлынул туда из всех окрестных деревень, причем люди, изголодавшиеся за последние пятнадцать лет по открытой, ненаказуемой молитве, частенько валились на паперти на колени, так вползали в открытые двери храма и

начинали класть бесконечные земные поклоны. Самым подкупающим оказалось то, что немецкие солдаты и нижние чины частенько тоже приходили в церковь – за отсутствием кирхи сгодилась и православная – и смиренно молились рядом с побежденными, никак их не третируя...

Баба Зина лечила Ночку, в колхозе без хозяйской руки запаршивевшую, утратившую былую резвость и один глаз, целебными травами и припарками – животное приходило в себя день ото дня, и бабушка теперь носилась, как молоденькая, с тележкой на веревке – за озеро в бывший колхоз, наравне со всеми таская заготовленное там летом сено на корм возвращенной кормилице... Теперь в грядущую зиму можно было заглядывать даже с некоторой уверенностью и, каждый день, возвращаясь из своих походов, баба Зина рассказывала, что в райцентре и повсюду желают только одного: чтоб, не приведи Господь, не объявились где-нибудь поблизости партизаны, как, говорят, под Великими Луками, не начали бы вредить здешним спокойным немцам, что жестоко отразилось бы, в первую очередь, как все прекрасно понимали, на ни в чем не повинном мирном населении...

Но первая военная зима прошла на удивление спокойно, даже Адькина мама, казалось, начала понемногу оттаивать, взгляд ее стал спокойней, она уже не металась косулей по двору, жалобно крича, как бывало раньше, когда вдруг спохватывалась, что уже четверть часа сын ее не с нею... Но резонов выходить за калитку у Адьки вскоре почти не осталось: Севкина бабушка, прихватив, конечно, и сироту-внука, перебралась в райцентр на подмогу к одной из дочерей, державшей с сыновьями-подростками большое хозяйство. Так что главной заботой Адьки стало теперь непреодолимое одиночество: раньше хоть в присутствии взрослых, но все-таки мог он перекинуться с ровесником парой невинных фраз, похвастать удачной рогаткой, показать рыбный улов, пока его бабушка и Севкина вели меж собой степенную скучную беседу, а мать бесконечно хлопотала по хозяйству. Еще одним страданием было полное отсутствие книг, совсем в их деревне не водившихся. Только и принесла ему бабушка из своего заозерного похода однажды стопку старых «Огоньков» – и то счастьем показалось лежать вечером перед сном на лежанке русской печки и бесконечно читать при лучине... Определенно, деревенская жизнь, даже под немцем, тоже имела какие-то положительные стороны, самой главной из которых стала отмена школы на неопределенный срок.

Хозяйственные заботы, тяжким грузом легшие на отвыкшие от него плечи матери, почти не касались Адьки. Ему вменялось в обязанность лишь мыть посуду в тазике, задавать днем корм корове, хряку и курам, качать ручным насосом воду из озера и быть на подхвате по мелочам. Мать же долго убивалась колкой дров: кругляши-то лесник им на своей лошади доставил, столковались, а вот колоть никто нипочем не брался: немного могли предложить в качестве платы две бедные женщины, едва хватало их семье кое-как прокормиться. Да и морозы вдруг ударили небывалые – такие, что старики боялись, не померзли бы намертво все яблони и сливы... Немцы окопались в райцентре в теплой казарме, организованной в школе – носу на улицу не казали, и Адька по ночам иногда приподнимался в темноте и прислушивался: не послышится ли где-то вдалеке неясный пока гром? Ведь это означало бы, что привычная к морозам Красная Армия идет, идет на запад, чтобы взять врасплох напуганных знаменитой русской зимой фашистов, прогнать их со Псковщины, с берегов Морок-озера, со всей Советской земли... И тогда он, Адька, поедет с мамой в Ленинград к отцу... А отец... Он ничего не спросит, просто посмотрит испытующе и сурово – но Адька не опустит глаз: ведь он уже взрослый, побывавший почти что на войне... А потом скажет тихо, но твердо: «Отец, я решил сменить имя». Но в звенящей от холода ночи слышался иногда только пугающе близкий волчий вой, и тогда с кровати за занавеской шумно вставала баба Зина и, сунув ноги в валенки и накинув тулуп, бесстрашно выходила с огнем на мороз, беспокоясь, не подкопали бы звери хлев или птичник...

Весна не принесла с собой никаких новых напоминаний о войне, кроме ставшего уже привычным рева черных самолетов, да нескольких дальних выстрелов и автоматных очередей – то испуганные немцы палили в темноту, опасаясь выхода разбуженного русского медведя.

К ограниченным зимним заботам прибавились труды на огороде – теперь даже Адька знал, насколько важно добиться к осени хорошего урожая, ибо за зиму дошел до понимания самых различных сложных вещей: например, он впервые постиг недоступную прежде истину, что каждый положенный в рот кусок полит чьим-то потом, и что раньше, зная только, что еда берется у мамы из сумки, был по, по сути, презренным дармоедом.

Но больше всего любил все-таки Адька поздней весной ходить с осмелевшей матерью по многочисленным лескам и рошицам в поисках сморчков – смешных вытянутых растений, напоминающих небольшие деревца с коричневой кроной. Они в изобилии водились кругом и часто становились главным блюдом за обедом – особенно после того, как подъели прошлогоднюю картошку, изо всех сил стараясь сберечь посадочную.

В тот раннеиюньский день они зашли чуть дальше, чем собирались, и мама, разволновавшись, заторопила Адьку домой: углубляться в леса запрещалось очередным циркуляром, и за такую провинность тоже предполагался гипотетический расстрел, хотя, конечно, немцы никогда послушания не проверяли, ибо от леса в России инстинктивно предпочитали держаться подальше. Но вдруг совсем рядом с ними в кустарнике послышалось тяжелое копошение, у Адьки успела вспыхнуть заполошная мысль о медведе – но сразу же обрисовался сквозь молодую листву человеческий силуэт. Перед застывшим мальчиком и его матерью стоял мужчина в шлеме и комбинезоне, а через секунду остолбенелого молчания сзади показался второй, точно так же одетый. Анна схватила и вжала в себя сына жестом, от которого уже было начала отвыкать, но первый мужчина успокаивающе выставил ладони и вдруг произнес:

- Только тихо. Свои мы. Русские.

Я, пожалуй, оставлю этих четверых разбираться пока меж собой без моего участия, потому что, кажется, пришло время написать:

ГЛАВА ШЕСТАЯ, ПРО БЕЗМОЛВНУЮ ЛЕГЕНДУ И ПРЕКРАСНУЮ МЭРИ, ПРО АНГЕЛА В ГРОБУ И НОВОГОДНЕГО УДАВЛЕННИКА

Не описанными мною пока остаются еще три сестры – три дочери Николая и Прасковьи, одна из которых умерла за двадцать лет до моего рождения, а две другие оказались мне менее близки и понятны, чем тетя Валя и тетя Женя.

Одну звали Кира. К этому имени для меня никогда не приложилось «тетя», потому что живой я ее не видела, только на фотографиях. Красива, кудрява, большие серые глаза... Папа называл ее «легендой», но для меня легенда оказалась безмолвной: я ничего о Кире не знаю, почти совсем ничего, кроме совсем уж крох, мелких осколков ее бытия и смерти, и сама живая память об этой женщине умерла с последним знавшим ее на земле человеком – Валею, сестрой...

Какая была у нее профессия? Характер? Может быть, разумный и практичный, потому что в памятную для меня трагическую последнюю ночь пребывания тети Вали в родном доме, когда она спала, оглушенная снотворным уколом, а я пыталась найти и спасти что-нибудь ценное среди завалов, то в числе прочего нашла разорванное письмо от Киры, датированное еще невнятным для живших в нем, но пугающим для последующих поколений июнем 41-го. Сумела сложить что-то из обрывков и прочитать показательную фразу, примерно такую: «Прекрати ты, наконец, эту порочную практику – дарить детям к праздникам дорогие игрушки! – увещевала она в письме «неразумную» старшую сестру. – Пойми, что началась война, и скоро, может быть, всем нам придется очень тяжело. Деньги

надо вкладывать в продукты, которые можно хранить, а детям покупать вкусную еду и фрукты, чтобы подкормить их заранее...». Согласитесь, в преддверье блокады такой совет не лишен был благоразумия!

Блокаду Кира провела с родителями и сестрами Зоей и Марией в осажденном Ленинграде. В нашу квартиру на 3-й Красноармейской попал со стороны двора осколок снаряда – и застрял в стене, что дало повод кому-то из семьи пошутить в другом письме (тоже найденном в очень фрагментарном виде): «Вот мы и получили боевое крещение». Как семья продержалась всю блокаду – неизвестно, потому что, согласно современной точке зрения, разделяемой практически всеми выжившими, прожить исключительно на выдававшийся паек даже по рабочей карточке было невозможно ни при каких условиях, и уцелели из рядовых ленинградцев лишь работники продуктовых магазинов, госпиталей, иных кормушек – и те, кто имел вещи для обмена. Думаю, что мои родственники относились к последним, потому что и десятилетия спустя после войны в их квартире оставались кое-какие ценности: картины, бронза, приличная мебель – все подобное могло обмениваться на продукты, и, вероятно, так и делалось. Но блокада все равно унесла Кирину жизнь.

Достоверно известно одно: первой блокадной весной в составе какой-то санитарной бригады Кира ломом выбивала изо льда давно и прочно вмерзших в него покойников – и верхним концом тяжелого этого и неловкого орудия ударила себя в грудь, в молочную железу. Удар спровоцировал рак груди, и вместе с Победой в семью пришла тяжелая Кирина болезнь и горе: сначала была ампутирована одна железа, потом рак перекинулся на другую – ее тоже «отняли», и в сорок седьмом году в возрасте тридцати пяти лет Кира скончалась дома, простившись со всеми.

Случайно я знаю, в чем она лежала в гробу: то было замечательное платье голубого крепдешина, которое тетя Валя за несколько дней, что прошли со смерти до похорон, успела сплошь расшить букетиками цветов...

Кира никогда не выходила замуж (если и выходила то ненадолго), детей у нее не было; я не знаю, любила ли она кого-нибудь, каковы были ее пристрастия, вкусы, дружбы, мысли... Ничего... Красивая женщина. Очень. Одним словом, легенда...

Второй ребенок в семье, родившийся в последнем году девятнадцатого века, старшая сестра Мария, кажется, была попросту глупа.

Я помню ее прекрасно, а если еще учесть, что обонятельная память, как доказано, самая сильная из всех (думаю, правда, что она уступает памяти сердца, но это не относится к науке), то можно себе представить, какую именно память оставила у меня по себе тетя Маня. От нее пахло помойкой и общественным туалетом одновременно. Точно так же разило из ее комнаты в дальнем конце коридора и от любого предмета, оттуда вынесенного. Если, случалось, она оставляла эту дверь открытой, то, проскакивая мимо с зажатым носом, можно было увидеть темноту в обрамлении всюду висевших смрадных мышинового цвета тряпок. Сама она была сварливой вонючей старухой, никого не любившей, не признававшей никаких правил, но уверенной в своем превосходстве. Да, это сушая правда! Тетя Маня, ставшая в старости таким пугалом, что, когда мама желала упрекнуть меня в неаккуратности, то говорила: «Ты вся в тетю Маню!» – эта женщина была уверена в своей неотразимости и прелести! Более того, она непоколебимо считала, что единственная цель жизни всех окружающих людей – мешать ей жить из зависти к ее исключительной красоте. Потому что она была никакая не Маня, а – Мэри.

Самое интересное, что свою красоту она не сама придумала. Так ее, по всей видимости, воспитали – и родители, и впоследствии взывшие от ее «прекрасности» сестры. Все мне, маленькой, говорили в один голос: «Наша Маня была красавицей», – а я ровно ничего не могла понять, глядя не столько на чудище, бродившее по черному коридору и хрипло бранящееся на кухне, сколько на ее «молодую» фотографию. Я, конечно, могу быть глубоко неправой, но мне кажется, что все пять сестер Мани были

намного интереснее ее – и внешне, и внутренне. Она была просто умеренно симпатичной, и взгляд наших наследственных крупных серых или серо-зеленых (кому какие выпали) глаз с ее именно лица не отражал ничего, кроме любования собой же. Целью ее жизни были мужчины. Нет, наверное, это неправильно – мужчины были средством. Средством доказать, опять же, самой себе, насколько она привлекательна для них: вот, теряют же голову, совершают безумства, причем рекордные по безумию... Одно такое безумие и меня ставит в тупик.

Приключился как-то с Маней в конце двадцатых аппендицит, и попала она на операционный стол, под нож молодого дежурного хирурга. Дальше началась сказка... *Хирурга угораздило влюбиться в оперируемое тело – настолько прекрасным оно ему показалось!* Дальше он не рассуждал, поинтересоваться, что скрывается в этом теле в смысле души и мозгов, не удосужился – так ослепило беднягу сияние Маниной наготы. Он сделал своей больной предложение, едва она пришла в себя – и получил милостивое согласие. На счастье молодого мужа, жена бросила его через несколько месяцев, отправившись на поиски новых доказательств своей женской состоятельности, а он в жизни преуспел: стал звездой хирургии мировой величины, обессмертил свое имя – и именно им, в очередной раз увидев уже седого льва-профессора по телевизору, всю жизнь попрекали бедную Маню ее сестры: «Вот, смотри, какую ты могла бы иметь жизнь...». Она отмалчивалась или отругивалась, считая, вероятно, что жизнь ее была много интереснее.

В общем-то, конечно. Единственная из всех сестер успевшая до революции окончить увековеченный Чарской Павловский институт благородных девиц, она больше никогда нигде не училась и, кажется, ни дня не работала. Всю жизнь, почти до смерти, ее, что называется, «носило»: домоседкой она не была. На моей памяти, ее комната днем в любую погоду была заперта, а тетя Маня отсутствовала: гуляла. Причем, в одиночестве: подруг у нее не водилось. Где? Ведь многие же часы пропадала, и было ей больше семидесяти лет! Спустя годы мы гадали: может, к церкви на старости лет приохотилась? Никогда не узнали мы про те одинокие старческие прогулки, зато про молодые – сколько угодно: например, любила неотразимая Маня пляж у Петропавловской крепости, считала его своим законным охотничьим угощем... Женщина, убежденная в своей неповторимой красоте, всегда сумеет, будьте уверены, убедить в этом и объект охоты: от желающих свалиться к ногам прекрасной Мэри – так она всегда представлялась – отбоя не было никогда. Сестры, скорей всего, ей действительно поначалу немножко завидовали, пока не выяснилось окончательно, к чему привела их «старшую» завидная внешность. Во всяком случае, если не она сама брала трубку, когда очередной поклонник робко просил «пригласить к телефону Мэри», то ни одна сестра не отказала себе в удовольствии выкрикнуть в глубину квартиры так, чтобы звонивший непременно услышал: «Манька, тебя опять к телефону!».

В восьмидесятых, когда дом наш «вернулся» с капитального ремонта, а сама я значительно подросла, мы уже не жили в старой квартире: ее разделили на две части, а тетя Валя и тетя Маня оказались единственными, пожелавшими и дальше жить в несколько покромсанном родовом гнезде. Валя получила комнату в той части квартиры, что оказалась с черного хода, Маня – в другой, той, что с парадного... Пенсия у нее, как у неработавшей, была минимальной, Валентина, жалея, все время носила ей кастрюльки с обедом, принимаемые без благодарности, как должное – дань все той же красоте, наверное... Бывала у тети Мани несколько раз и я, тоже жалеючи. Даже после капитального ремонта комната быстро заблагоухала все теми же незабвенными ароматами: выходя, я обливалась духами, но, находясь внутри, крепилась со слезящимися глазами – ведь была уже «большая»... Однажды, помню, она учила меня «незаметно» ронять платочек, чтоб молодые люди немедленно толпой бросились, дав друг друга, поднимать его, а потом наперегонки бежали бы за мной, чтоб его торжественно вручить и познакомиться. Увы, такой способ всегда был ко мне категорически неприменим: ни в ту

пору, ни потом носового платка я с собой никогда не носила. В другой раз я забежала к ней, чтобы попросить полиэтиленовый пакетик, потому что в мясном через улицу «выбросили», как тогда говорили, мясо (для тех, кто не помнит и удивлен этой фразой, расскажу мимоходом, что в начале восьмидесятых за мясом следовало хорошенько побегать по городу, чтобы его «достать», а продавали его кусками, едва прикрытыми быстро промокавшей серой бумагой). Пакетик она мне выдала, и мясо я сгоряча купила – только вот дома пришлось его выбросить уже по-настоящему – собакам: оно насквозь пропиталось вышеупомянутым запахом, и можно было подумать, что я принесла в дом кусок тухлой падали...

Бедная, несчастная Мэри! – это я пишу безо всякой иронии. Что могло довести человека до подобного падения? Одиночество? Молодую ее любили дома и за его пределами. Неудовлетворенность жизнью? Но, кажется, она была ею вполне довольна... Просто глупость вкупе с распушенностью? Возможно... Но так хочется, чтобы что-то еще было – тайное, оправдывающее, никогда никем не узнанное... И так жаль, что, скорей всего, этого нет.

Мария умерла в середине восьмидесятых, от той же болезни, что и ее родители, перед этим, по словам тети Вали, затерроризировав морально и обонятельно всю палату, где умирала... Она похоронена на Богословском кладбище, я на похоронах не была, на могилу никогда не приходила. Совесть меня по этому поводу не мучила. На проскомидию за нее подаю и за Псалтирю поминаю. Это все.

Младшим ребенком у своих родителей, последышем, родившимся за два года до Октябрьского переворота, была Зоя. Самое мое яркое воспоминание о ней – это она в гробу, в Никольском соборе, перед иконой Троеручицы. Тетя Зоя умерла восьмидесяти четырех лет, не от рака, а от букета долго мучивших ее недугов, совершенно от них исстрадавшаяся. Но в гробу лежала, как уснувший ангел, молодая женщина со светлым, прекрасным лицом – настолько, что это всем бросилось в глаза. О том, что хоронят не девушку, можно было догадаться только по совершенно белым кудряшкам, выбивавшимся из-под головного шарфика. Откуда, кстати, взялись эти локоны? Не в морге же больницы завили волосы на трупке древней старухи? От природы кудрей Зоя не имела – сколько помню ее, завивалась она сама почти ежедневно, накручивая волосы на многочисленные бумажки – «папильотки», и потом гордо носила пышно взбитую гриву. Вот в гроб уж явно не прихорашивалась – а лежала в нем кудрявая... Эта молодая красивая тетя Зоя в гробу – мое самое приятное о ней воспоминание. А вообще я ее не очень-то любила, а уж не понимала абсолютно, потому что такой женский и человеческий тип моим личным жизненным вкусам не соответствует категорически.

Но, может быть, не все в полной мере от нее зависело. В детстве Зоя перенесла полиомиелит, сделавший ее на всю жизнь хромоножкой (прихрамывала она несильно, но заметно) и, что много хуже, гадким утенком без каких-либо перспектив превращения в белого лебедя. Удачливые и окруженные поклонниками красавицы-сестры жалели бедную Зоеньку, и она, вдобавок, была самой маленькой, обреченной завидовать и слушаться. В результате выработался, вероятно, в порядке защиты, чрезвычайно своеобразный характер – по внешности инфантильный и суетливый, а в глубине, возможно, непритязательный, смиренный и жертвенный.

Почти до тридцати пяти лет прожила Зоя старой девой – не свободной незамужней женщиной, а именно хрестоматийной старой девой – и шансов на семейную жизнь у нее после войны вообще практически не стало. Так бы и умерла она, озлобившись, быть может, под конец жизни, если бы к ней ради ленинградской прописки не присватался уроженец города Владимира Сергей. Зоя с радостью вышла замуж, потому что хотела детей – и в пятидесятом году родила сына, названного Кириллом, вероятно, в честь умершей за три года до этого сестры Киры. Мальчика так и звали дома – Кира. Это с ним я оказалась впоследствии запертой в квартире с тетей Валей в ту памятную ночь ее

безумия, это его она чуть не огрела чугунным утюгом по затылку, что было бы для него гораздо лучше той участи, которой он подверг себя три с половиной года спустя...

С мужем и сыном было Зое трудно. Первый ее не любил. Сергей почти не разговаривал с женой, никакой ласки ей не оказывал, жил своей собственной, весьма скучной, на мой взгляд, жизнью, в которую никого не посвящал, был известным коллекционером значков – и именно на любимую коллекцию, а не любимую женщину бестрепетно тратил большую часть своего заработка. Жене на хозяйство он выделял твердую незначительную сумму, раз и навсегда им определенную и не менявшуюся никогда, ничуть не зависевшую от его все возраставшего заработка. Она не роптала, сделав центром мироздания сына Кирочку – мальчика сложного, талантливого, самолюбивого, но склонного к истерии, никаких ограничений не терпевшего. Мать его избаловала. Ее отношение к сыну оказалось ярчайшей иллюстрацией материнского слепого фанатизма – ибо это чувство любовью не называется. О, Кирочка! Ему не просто разрешалось походя хамить матери, но его за это даже не ругали, потому что у него «хрупкое здоровье» и «слабые нервы». Его эгоизм стал притчей в нашей семье, и даже я, примерно пяти лет отроду, была однажды свидетельницей вопиющей, врезавшейся в память ситуации. Молодой еще Кирилл собирался на свидание и очень нервничал. Желая побаловать сына чайком перед ответственным походом, тетя Зоя поспешала с кипящим чайником из кухни в комнату – и, хроменькая, оступилась в коридоре и упала... Она обварилась. Это было страшно. Все забегали, стали вызывать «скорую»... И тут хлопнула входная дверь. Ее двадцатилетний сын, как ни в чем не бывало, под шумок отбыл на свое неотложное свидание... Женился он раз пять – и всегда неудачно, детей у него тоже родилось несколько, от разных жен, но все они, увы, не наследники нашего рода, а наследники материнских родов. Это справедливо: ведь после развода дитя остается с матерью, и, если отец никакого участия в воспитании ребенка не принимает, то он как бы утрачивает право навязывать ему свой род, а мать, наоборот, это право приобретает. Так и мой сын воспитывается на моих корнях, ровно ничего не зная о предках собственного отца – без какого либо насилия с моей стороны: просто так выходит по справедливости...

Однако нашей семейной историей Кирилл очень интересовался, и справедливости ради следует сказать, что именно он откопал историю Егора Майделя, упорно разыскивая ее подробности в архивах, он собрал и хранил у себя бесценные фотографии, письма и документы, увы, теперь безвозвратно погибшие в чужих руках...

Это был неординарный человек. Помню небольшой его рост, богемную бородку, наш фамильный избыточный нос, увенчанный очками... Сначала, как того требовали общественные приличия и семейные традиции, он закончил биофак Университета, но быстро стал несчастным, занимаясь, как скоро понял, не своим делом. Натура творческая, в том, что касалось лично его – упрямая (что есть похвальная черта: не то превратишься в техническое приспособление для обслуживания моральных и материальных нужд ближних), он, не послушав ничьих увещаний, поступил в Консерваторию на режиссерское отделение – и закончил ее. Для меня это оказалось очень, очень положительным явлением в жизни: с тех пор весь репертуар Консерватории стал мне навеки родным, причем, совершенно бесплатно. Все это время он бесконечно влюблялся, женился, разводился, обустроивался в каких-то новых жилищах, искал работу – а бедная тетя Зоя без всякого возмущения, а только неустанно восхищаясь многогранными Кирочкиными талантами, возила «молодым» обеды в термосах – на другие концы города, где эти любовно нажаренные котлеты и диетические супчики забирали у нее часто на лестнице, не приглашая пройти в дом...

Ничего, она не унывала. Безобидно сплетничала и организовывала столь же незначительные каверзы на кухне, а потом переехала со своим равнодушным мужем в Купчино, и я перестала ее видеть. Любимым литературным героем ее был Буратино. Да, да, это длинноносое чучело – но ведь она так никогда и не стала вполне взрослой, наша тетя Зоя. Игрушечный носатый паренек всегда сидел у нее на кровати в компании других

пучеглазых или ушастых уродцев, которых она совала фотографирующемуся сыну и племянникам – уже отнюдь не мальчишкам. Почему-то ей нравилось шить для Буратино островерхие колпачки, полосатые кофточки и синие штанишки. Может быть, таким образом проявляла себя общая недостача у нее детей, кто знает...

Перед смертью, вернее, после того, как пришла в себя после наркоза и перед тем, как вновь потеряла сознание с тем, чтобы больше на землю не вернуться, она вдруг сказала мужу: «Поцелуй меня». Здесь же присутствовали врачи, поэтому он не смог уклониться. Так она и умерла – поцелованная второй раз в жизни: впервые это с ней произошло на свадьбе, когда крикнули «Горько!», а потом последовал длинный, в пятьдесят лет, промежуток жизни, когда неласковый муж и *неласканная* жена просто жили в двух соседних непересекавшихся мирах (между прочим, дети рождаются не от поцелуев – на случай, если кто не знает)...

Осталось досказать несколько печальных слов о ее сыне Кирилле Введенском, моем двоюродном дяде. Мы встретились после большого перерыва и вполне понимающе общались в 2002 году в связи с болезнью тети Вали, ее смертью и последующими хлопотами по поводу завещания и наследства. Ему исполнилось пятьдесят два, и он разительно переменялся. Работал в «Детском Театре на Неве» завлитом, но иногда и сам играл веселые роли, где надо было петь и танцевать. «Мужику пятьдесят лет, а он зайчиком по сцене скачет!» – возмутился, зайдя в театр, его двоюродный брат Юра, тот, что из Эстонии, и о котором позже расскажу. Но скакать Кириллу нравилось. Нравилось и просиживать ночи напролет за сценариями, нравилось мотаться по гастролям, нравилось делать для театра и себя высокохудожественные фотографии. Он был прихожанином церкви Иконы Божьей Матери «Неупиваемая Чаша», и мне казалось, что с его жизнью все в порядке... Когда все хлопоты закончились, он порой звонил нам, поздравляя с церковными и светскими праздниками – и тем родственное общение вскоре и совсем ограничилось. А однажды позвонила незнакомая женщина: «Вы Введенского Кирилла знали?». От этого прошедшего времени мое сердце дало перебой. Я ответила: «Конечно, это мой дядя». «Он умер», – сообщили мне.

В первый миг я подумала, что «от сердца»: пятьдесят пять, самое время, особенно для мужчины такого склада личности. Но все оказалось настолько плохо, насколько вообще может быть в человеческой жизни и смерти. Женщина, его подруга, рассказала, что Кирилл был подшитым алкоголиком – этого я никогда не знала, даже не подозревала. Так вот откуда «Неупиваемая Чаша»! Последний раз, согласно справке, найденной позже у него дома, он подшился 6 октября 2005 года, в мой тридцать восьмой День рождения, а я, надо сказать, ни в какие совпадения в жизни не верю. В новогоднюю ночь 2006 года, когда мне было не то что не до Кирилла, а и вообще ни до кого в мире, ибо меня на тот момент вот уже четыре месяца, как скрутила последняя любовь, он покончил с собой в квартире своего отца Сергея. Сделал это поистине адским способом: накрутил на шею резиновый бинт (или подтяжки), привязал другой конец к вешалке для одежды в прихожей, лег на подставку для обуви под висящей одеждой – и так *медленно удавился*. Что было непосредственным толчком к такому ужасному деянию, я не узнаю никогда.

А возможно, в глубине души он умирать и не собирался. Даже скорей всего. Думаю и надеюсь, что, артист, он и сам перед собой играл роль самоубийцы в ту ночь, когда за четыреста километров от него я, его племянница, была непростительно счастлива. Дело могло обстоять так. Он, скорей всего, не удержался и пригубил спиртное; мне известно от человека, побывавшего в такой же мучительной ситуации, что за подобным срывом следуют невыносимые физические страдания, сходные чем-то с наркотической ломкой. Кирилл решил прекратить свою жестокую пытку, вышибив «клин клином», и – кто знает – может, потому и придумал себе такой поистине изуверский способ самоубийства: тот, кто действительно твердо хочет умереть, старается сделать это побыстрее и, по возможности, безболезненно. Реши он бесповоротно – и просто повесился бы на крюке от люстры, тем более что престарелый отец его уже давно спал, мирно встретив Новый год. Нет, скорей

всего, Кирилл притворялся перед самим собой, что вот сейчас убьет себя, не вынеся страшных мук, – а на самом деле хотел контролировать медленный процесс и иметь возможность в критический момент прекратить его... Но со Смертью не шутят – это весьма серьезная дама. Зато дьявол – самый главный шутник и хохотун во вселенной, а его падшие ангелы всегда начеку... Кирилл просто не успел прервать свой непоправимый процесс, и петлю затянули те, кого не привлекают к уголовной ответственности...

Каким-то образом подруга Кирилла добилась у митрополита разрешения на отпевание – но мы с мамой не пошли, потому что страшно отпевать самоубийцу. Урну с прахом подхоронили без нас в могилу его матери Зои – и спустя несколько дней ураганный ветер повалил росшую у ограды березу, она рухнула на Зоин крест и сломала его. «Это, конечно, не случайность», – спокойно констатировала та подруга, позвонив мне вскорости, и я, признаться, полностью с ней согласна.

Что теперь рассуждать о не протянутой вовремя руке помощи страдавшему человеку, о том, что было бы, если бы я... – но ему ловко удалось скрыть от всех свое страдание, а разыскивать спрятанное... У нас нет времени. У нас *никогда* нет времени.

Ну что ж, скорбеть – так скорбеть. Итак,

ГЛАВА СЕДЬМАЯ, О ТОМ, КАК АДЬКА СТАЛ ПРЕДАТЕЛЕМ

С дядейлевой и дядей Костей – так именно представились мужчины в комбинезонах ошеломленному мальчугану, чин по чину пожав ему руку, а матери его предложив называть их Львом и Константином, – приключилась большая беда. Это сразу можно было прочитать по их осунувшимся, растерянно-скорбным лицам. Кроме того, они могли считаться, каждый по-своему, красавцами, как в кино. Оба статные, широкоплечие, обладатели заливчатых губ (смоляного и пшеничного), мужественных и грубоватых, словно у памятников революционерам, широких лиц и скупых, но привлекательных улыбок, красные командиры немедленно расположили к себе сердце Адьки – настолько, что он, представляясь, присовокупил к своему имени шепелявое «в», чтоб решили, что Вадька, Вадим, стало быть. Потому что ведь ясно же, что произнести неприличное «Адольф», если спросят вдруг о полном имени, – значит покрыть себя несмываемым позором и утратить такое важное доверие с первых же минут. И мама поняла, не поправила – лишь бы потом не проговорила... Впрочем, ей не до сына стало с той минуты, когда она поняла, что перед ними стоят два человека – оттуда, из-за далекой черты, где еще, оказывается, жива и воюет Красная Армия, сопротивляется врагу несломленная страна.

- Скажите, а Ленинград?! – сразу же бросилась она к ним, как к избавителям. – Ведь его же не отдали, нет? Или... – она молитвенно сложила руки...

- Нет, нет, держится, не волнуйтесь, – стал успокаивать черночубый Лева. – И Москва стоит, оттуда еще зимой немец побежал не хуже Наполеона...

- И от Ленинграда побежал? – закланала Анна.

- Скоро побежит, не сомневайтесь, – густым голосом отозвался пшеничный Костя. – А мы ему здесь – капкан, чтоб и бежать некуда стало.

- Так вы – партизаны? – догадался Адька.

- Значит, немцы под Ленинградом? – не унималась его мать.

Оба командира помрачнели.

- Н-не совсем, – выдавил Лева смущенно.

- Что – не совсем? – одновременно спросили мать с сыном.

- Да собственно, и то и другое не совсем... – мужчины переглянулись, и Костя решил: – Нам ваша помощь нужна, вот что.

- Вы мне про Ленинград сначала! – почти крикнула мать, теряя над собой контроль. – Пожалуйста! У меня муж там остался! На Кировском заводе он, если не в армии!

- Так вы что – не местные?! – почти что взревел вдруг Костя. – Кто же нас к Ведьминой балке проведет?!

- Я проведу, я, я здесь выросла, но вы мне про Ленинград, про Ленинград, умоляю! – забила мать.

- В блокаде ваш Ленинград, – хмуро бросил Лева. – В кольце, значит. Голод там. Люди друг друга едят.

Адька и Анна инстинктивно сдвинулись поближе, не спуская глаз с потемневшего Левиного лица. Адька спохватился – голос его срывался:

- А как же... Ну, запасы... А если на самолетах...

- Сгорели на хрен все запасы, осенью еще. Бадаевские склады разбомбили. А самолеты... Смеешься ты, парень, что ли... Там только немцы летают и город бомбят. Чтоб добить тех, кто пока сам не помер. У меня мать и двух сестренок убило. В сентябре, когда артобстрелы начались, – окаменев лицом, коротко рассказал Костя.

- Господи... – Анна закрыла лицо руками.

- Не все так плохо, – вмешался Лева. – Там же теперь еще Дорога Смерти есть. Это по Ладоге, там кольцо не сомкнули. Все-таки доставляют какие-то продукты. И людей эвакуируют. Зимой по льду машины пускали, а с весны корабли ходят. Может, и ничего...

- Почему же тогда – Смерти? – выдавил Адька.

- Так в Ленинграде говорят. Потому что обстреливают и бомбят дорогу эту. Треть примерно на ней пропадают. Может и больше. А официально – Ледовой называлась зимой...

- А вам к балке – зачем? – вспомнил Адька.

- Много будешь знать – скоро состаришься, – отрезал Лева.

- К партизанам? И здесь появились? – догадалась Анна и сразу умоляюще прижала руки к груди: – Ох, не надо! Пропадем теперь через них!

- Как так – пропадете? – удивились разом оба командира.

- Да так! – отчаянно выкрикнула она. – Так, что под Великими Луками, говорят, за связь с партизанами две деревни сожгли до тла вместе с жителями! А нас здесь не трогают и жить дают нормально, потому что не гадит никто!

- Не га-адит?! – грозно попер на нее Лева.

- Это так вы борьбу с врагом называете? – строго наведалься Костя.

- Вы армия – вы и боритесь, а у нас и оружия нет! Вы воюете, а мы за вас отдуваемся. Жизнью своей платим, детьми! Потому что немцы только там щадят население, где оно покорное! Не надо нам тут никаких партизан – это вам любой скажет! Знаю, как это бывает, слышала: партизаны ночью прибежали, взорвали и убежали – а в деревне наутро десять человек повесили. Нет уж, благодарим покорно, идите, откуда пришли! – такой длинной и страстной речи, на памяти Адьки, его всегда тихая и робкая мама не произносила еще никогда.

- По-онял... – злоеце протянул Лева. – Вот, значит, какие у вас тут комсомольцы-пионеры... Чуть Советская власть отвернулась – и уже, значит, под немца готовы... – чуть запнулся, покосился на Адьку и закончил смачно: – ...лечь!

Адька стоял испуганный и ровно ничего не понимающий. С одной стороны, то, что говорила мать, не укладывалось ни в какие с детства определенные рамки и шло полностью вразрез с тем, что кипело в крови с того дня, когда он осознал себя не просто мальчиком, а – советским, следовательно, не таким, как все другие в мире, чуть-чуть избранным, чуть-чуть особенным... А с другой стороны – да. Слышал он многое из-за ситцевой занавески, за которой ночи напролет, бывало, шептались мама с бабушкой, и – не малыши ведь уже – догадался: с немцем ладить надо, иначе... И вообще... Песни –

песнями, да и отпели их уже, а кто победит в этой войне, неизвестно... Поэтому счел он за благо помалкивать и во взрослый разговор с неуместным своим пионерством не вмешиваться... Ждал, что мать решит. Она повернулась к сыну:

- Адик, сынок... Домой пора, бабушка заждалась, – и, взяв его за руку, сделала один единственный шаг прочь.

Двое мужчин мгновенно, словно по воздуху из-за ее спины перенесясь, вмиг оказались прямо на тропе перед ними.

- Никуда не пойдете, – спокойно, без вызова и приказа в голосе сказал Костя.

Он не угрожал и не велел – просто констатировал. Его рука не расстегнула кобуру, а лишь ее коснулась. Так, слегка, кончиками пальцев.

- Пойду, – вдруг проявила никогда не свойственную ей храбрость и наглость Адькина мама. – Хотите – стреляйте. В спину женщине и ребенку. Давайте. Защитнички.

Она глянула презрительно, по-крысиному – и, опять же, такого взгляда у нее Адька не помнил; взяв сына за руку, Анна преспокойно повернулась спиной к разом утратившим грозный вид Красным командирам и почти вальяжно, по-ленинградски, тронулась прочь. Адька даже не испугался: откуда-то знал, что не выстрелят. Сзади раздалось – другое, просительное:

- Анна, послушайте. Мы в безвыходном положении.

Она обернулась, помягчала лицом. Лева и Костя приблизились. Один из них указал на солидную поваленную березу:

- Сядем, поговорим по-человечески...

...С ними действительно приключилось несчастье. Ночью с самолета их выпрыгнуло в заданном квадрате трое: еще был главный, Петька, хороший парень... Но... Что уж там случилось – никто не знает, только у Петьки этого парашют не раскрылся. Кто теперь разберет – небрежность или вредительство. При Петьке находилась карта со всеми подробностями. А задание у них было – найти остатки регулярных частей Красной Армии, вернее, просто несколько кучек рядовых и сержантов из разных частей, которые застряли здесь еще с прошлого года, со времени окружения, и сбились в отряд – а в командиры сами кого-то выбрали... Почти без оружия... Эдакие Робин Гуды... Но где-то на немцев напали, оружия немного добыли, рацию отняли, и какой-то умелец из них, радиолобитель, сумел на связь выйти... Вот и решено было направить к ним Петьку командиром, Костю его замом, а Левку замполитом, а то ведь одичали они в лесу, наверно. Еду по деревьям воруют... Их так или иначе, организовать надо, то есть создать новый партизанский отряд. Такое вот задание. Только парашют Петьку подвел, а тело его они сегодня все утро проискали – безрезультатно. Так и сгинул вместе с картой – такие вот дела. Здесь задерживаться опасно. Только и знают, что название, где будущие эти партизаны находиться должны: Ведьмина балка. А как туда добираться? К местным обратиться? А если немцев приведут? Думали, счастье, что Анна им встретилась, а она теперь помочь не хочет... Ну, вот они сейчас пообещают, что в районе озера никогда немцам солить не будут – только пусть она их, ради Бога к балке этой самой выведет!

- Часов восемь-десять нам пути туда. До темноты не успеем. В лесу ночевать придется. Что прыгнули-то так далеко? – устало спросила смирившаяся Анна; запал ее уже сгорел, да и люди-то свои, советские, как не помочь...

- Думали сначала, что хорошо бы костры они жгли ночью – в аккурат бы и свалились прямо к ним. Но начальство не одобрило: говорят, там немцы летают туда-сюда, не ровен час, заметят, да и скинут пяток бомб на всякий случай... А уж куда летчик нас сбросил – так он свой приказ выполнял. Может, ошибся, кто его знает... Ночь все-таки, и летели без штурмана... В общем, выручай, Анна, нам больше надеяться не на кого...

Она кивнула и обернулась к Адьке:

- Аденька, сынок, беги домой. Расскажешь бабушке, что я...

Мужчины снова переглянулись. Костя произнес глухо, не поднимая головы:

- Аня, ты не горячись, а правильно нас пойми. Ну, не могу я вот так отпустить Вадика твоего «к бабушке», да еще и чтоб он рассказал там что-то... А ну, как просочится известие к немцам! Это ж считай, целый партизанский отряд накроют почем зря!

Анна взглянула дико; у нее даже губы посерели:

- Это... как же... вы нас, что же... совсем не отпустите?

- Отпустим, отпустим... – торопливо захлопал ее по плечу Лева. – Вы нас только доведите, а там идите на все четыре стороны. Сейчас нам важно, чтоб пацан твой один не бегал, а ты же человек взрослый! – он усмехнулся: – Если только сама партизанить не захочешь. А может, и ты, Вадик? А? Ружье дадут, будешь в немцев стрелять. Годится?

Вроде и сказал он дело, этот дядя Лева чернявый, а только так сказал, что гадко сделалось Адьке. И из взавравадного ружья пострелять ему ох, как мечталось, и немца бы укокошить розового, и овчарку его поганую, нерусскую, – все это хорошо бы, а как-то не так. Зябко стало Адьке, и, будто маленький, он прижался к матери:

- Я ничего... Я, как мама... – обиженно пробасил он; она молчала, видимо, потрясенная.

- Значит, решено, – хлопая себя по коленям, поднялся Костя. – Рассиживаться нечего. Пожевать у нас есть, поделимся. Ну, Вадька, давай, веди, не дрейфь. Ты ведь пионер?

Он убито кивнул, хотел добавить, что дороги не знает, но почувствовал вдруг, что слезы закипели где-то предательски близко, даже переносицу от них заломило – и смолчал.

- Ладно, не трогайте ребенка. Пошли уж, – поднялась, в свою очередь, и Анна. – Навязались на нашу голову...

Шли долго и тяжело. Чем дальше углублялись в лес, тем чаще приходилось то продирались сквозь сухостой и густой подлесок, то прыгать по кочкам небольших высохших болот, то чавкать сапогами по вязкому топкому мху в туманных низинах. Комары одолевали – и это было мукой пуще усталости, пуще мокрой насквозь липкой рубашки, пуще даже сбившегося сухого дыхания. Они тикировали и сверху, и снизу и с флангов, издевательски звенели у самого лица, целились в глаза, горячие от слез... Щеки распухли, горели и нестерпимо чесались, и почти нельзя уже было крепиться и не звать на помощь маму – маму, которая тоже ничего не могла сделать. Она шла молча, только все время оглядывалась на Адьку, и он никак не мог расшифровать пугающего выражения ее опухших глаз – а на самом деле ему очень не хотелось догадаться, о чем она думает... Ее, вернее, бабушкина, бурая юбка цеплялась за бесконечные ветки, была уже в нескольких местах порвана, руки мать давно раскровенила себе непрерывным чесанием – но никакого сочувствия или, хотя бы, слов дружеского ободрения со стороны Красных командиров слышно не было. Они шли, намеренно слегка поотстав, без признаков усталости, как машины – два здоровых тренированных мужика, распределявших, вдобавок, паек и воду.

Флягу, к которой страстно припал Адька на привале, когда ему уже казалось, что он вот-вот упадет замертво от жары и боли во всем теле, у него одним движением вырвал из рук дядя Лева, едва мальчик успел сделать пару хороших глотков.

- Воду беречь надо, – скупо уронил он и сам присосался к горлышку; ритмично заходил похожий на облезлого ежа кадык.

Матери тоже едва дали увлажнить рот, потому и хлеб, не слишком щедро отломленный, не полез обоим в горло. Хотелось только пить и лежать. И еще чтоб комары все на свете сдохли. Адька распластался на влажном мишанике и разом провалился бы в нирвану, если б проклятые кровососы зудящей тучей не кинулись к его,

казалось, паром исходившему лицу. Но вдруг он услышал у своего уха материнский даже не шепот, а шелест:

- Адик, не открывай глаза... Слушай... Так, хорошо... Ты дорогу домой отсюда найдешь? Не торопись, подумай... Если да, то пожми мне руку... – и он тотчас почувствовал под своими пальцами раскрытую материнскую ладонь.

Адька торопливо прикинул. Они пока еще не совсем безнадежно удалились от тех мест, где прошлым и позапрошлым летом он собирал грибы с деревенскими ребятами, шая, убежал с ними в запретную чащу и, в конце концов, вдоль и поперек ее излазил. Пожалуй, он сейчас дорогу туда нашел бы... Мальчик чуть шевельнул рукой.

- Хорошо, сынок... Слушай... Когда пойдем, я отвлеку их чем-нибудь... А ты беги, как отвернутая... Беги, я не дам им стрелять, да они и сами испугаются... Придешь к бабушке, скажи ей...

- Ты о чем это там со своим выб...ком шепчешься?! – вдруг грянул зычный рык. – Смотри, они сговариваются там о чем-то, гниды!

- Ничего подобного! – подскочила застигнутая Анна с таким выражением лица, что на нем ее ложь читалась так же легко, как детский букварь.

- Левка, бери пацана и глаз с него не спускай: она, кажется, ему сбежать велит, – тоном, совершенно не похожим на тот доверительный и почти жалобный, которым раньше рассказывал про свои злоключения, распорядился Костя и подошел вплотную к вскочившей Анне: – А ты запомни и на своем хитром носу заруби: придумаешь что – пеняй на себя. Мальчишке же хуже будет, если что. Мы здесь не в игры играем, а воюем с фашистом, понятно? А предателей и дезертиров расстреливают по закону военного времени. Ясно выражаюсь?

Он сказал это – тихо, хамовато – и отошел. Анна не посмела возражать. Поход вскоре продолжился. Теперь мать и сын шли под конвоем, и Адька вдруг очень ясно понял, что оба они – пленники. И, строго говоря, неизвестно чьи, потому что о конвоирах своих знают только то, что те сами рассказали. Думать о том, что случится дальше, Адька физически не мог, потому что в глубине души уже додумался до неизбежного: никуда их, разумеется, не отпустят, потому что ничто не помешает, например, ему, Адьке, рассказать о местонахождении партизан по возвращении. От этой мысли тошнило. Тошнило, как тогда, в первый день «под немцами»...

«Они потащат нас за собой к партизанам... Это уж конечно... Что же, не так уж плохо... Уж лучше, чем сидеть и трястись в своей деревне... А вдруг, действительно оружие дадут? Не сейчас, конечно, а когда докажу, что не струшу... Может и хорошо... Может, даже и лучше...». С такими примерно мыслями Адька заснул вечером на ягодной поляне, после того, как ему в очередной раз и на четверть не позволили утолить жажду... Жажда. Это слово теперь не обозначало простое человеческое желание, а стало как бы названием дикого зверя, чудовища, терзающего людей железными зубами... Ни озверевшие к ночи комары, ни выворачивающая боль в костях, ни истерзанное лицо матери – ничто не имело значения перед мордой страшилища с жутким, жадным и жабым именем... Сон рухнул на Адьку, как оползень, а что разбудило его – этого он до конца жизни не понял, потому что не могли полумертвого человека разбудить два тихих чужих голоса, бормотавших в ночи над злоеце тлеющими углями погасшего костерка...

- Я бабу, а ты пацана. Обоих разом, и чтоб без звука.

- А ты уверен, что дальше сами дойдем?

- Отсюда – да. Она же объяснила все, ты слышал. Незачем их тащить теперь. Давай прямо сейчас, пока спят. И не почувствуют ничего.

- Слушай, я как-то – это... Может, с собой все-таки возьмем? Анька молодая еще, да и пацаненок... Жалко...

- Жалко знаешь у пчелки где? Знаешь? Вот и мы там будем оба, если они сбегут. А они сбегут, там не доглядишь. На цепь их в лесу не посадишь. Все равно изловчатся...

- Ты так уверен, что немцам расскажут?

- Нет, не уверен. Не уверен. Но хочу знать наверняка. Поэтому приготовься. Выхода нет, понимаешь...

- Ну, не могу я мальчишку. Сам таким был...

- Ладно, тогда ты – бабу. Ей, кстати, все равно бы не выжить среди тех мужиков. Они же год баб не видали. В первый же день всей толпой оприходуют, и не остановишь...

- Слушай, я не знаю даже... Похоже, придется... Только...

Дальше Адька не слышал. Его подбросила неведомая темная сила, и он (нет, конечно, это был не он, потому что ничего подобного тринадцатилетний мальчик Адик сделать не мог по определению) молча рванулся в колючую темноту и мчался в ней, трещащей и завывающей, какое-то время – а потом она вдруг беззвучно накрыла его собой.

Когда он пришел в себя, стоял день. Следующий день. В котором не было его матери – нигде не было. Адька не знал этого, но ощущал неведомой частью себя самого: очевидно, что-то сильно меняется вокруг человека и в нем самом, когда из мира исчезает его мать...

До деревни он добрался поздно ночью, причем путь этот выпал из памяти навсегда. Потом были то сужающиеся, то пропадающие вовсе стены их избы, отчего-то очень горячая постель, мелькающее над ней лицо бабы Зины, его собственный бесконечный крик, в котором мешалось «мама», «партизаны» и «Ведьмина балка», и, наконец, незнакомая тень в красивой черной форме, совавшая бабушке в лицо какую-то пеструю бумагу с настойчивым: «Ведьмин балка? Здесь? Здесь? Гут... Карашо...» – и все смешалось.

Адька еще только оправлялся от своей изнурительной болезни, превратившей крупного резвого мальчика в тихий скелетик, обтянутый серой шершавой кожей, когда после несложной карательной операции в лесу несостоявшихся партизан шустро расстреляли у края ржаного поля на виду у специально согнанных на увеселительное мероприятие жителей нескольких деревень. Жители хмуро молчали. Партизаны выкрикивали что-то оскорбительное в адрес палачей – и свидетелей. Трупы – около полусотни – свалили на грузовики и увезли под аккомпанемент того же гнетущего молчания. Это было все, что удалось Адьке в течение еще одного года оккупации скупыми порциями вытянуть из бабушки Зины, которая с тех пор говорить перестала почти совсем.

А потом кончилась война.

Теперь нам предстоит встретиться уже только с взрослым Адькой, да уже и не Адькой вовсе, потому что вместе с войной заканчивается и эта грустная глава. Настает очередь следующей, которая называется коротко:

ГЛАВА ВОСЬМАЯ, О МОЕМ ПАПЕ

Человек, трех лет отроду оставшийся без отца и матери, в любом, даже самом благоприятном случае, непоправимо отличается от всех остальных людей – даже тех, кто имел кого-то одного из родителей. Худшее, что могло случиться – детский дом, да еще в варианте тридцатых-сороковых – моего папу миновало, и он вырос в большой, даже более или менее дружной семье, все в той же квартире на 3-й Роте, отскакав свое на игрушечном коньке в яблоках по темному и узкому, как тоннель подземки, коридору. Сказать, что любовью он уж совсем в детстве был обделен, было бы несправедливостью, потому что его бабушка и дедушка, потерявшие свою такую отличавшуюся от всех других дочку молодой, тридцатилетней, от всей души любили, жалели и баловали ее сына-сироту. Но все же, эта была, на мой взгляд, далеко не такая любовь, какая требуется человеку в

детстве и отрочестве. Как единственный эгоистичный ребенок, я уверена: любовь взрослых лучше ни с кем особенно не делить, в ней нужно купаться, чтобы вырасти уверенным в себе. Николай же со своей Прасковьей были людьми, отягощенными многочисленными любовями к своим собственным детям, и несколько уже от этого уставшими. Они, конечно, ласково обращались с маленьким Алесиком, как сразу прозвали малыша в семье, но их любовь больше смахивала на усталую жалость. Испечь сладкий пирог и лучший кусок первому дать своему несчастному внуку – это да – и смотреть при этом, умильно подпершись кулаком, как он «за обе щеки уплетает» лакомство с молоком, пачкая толстые щеки в повидле; прижать к мягкому животу, приголубить: «Сиротиночка моя, глазки-то совсем мамины!». Такой любви от бабушки, я уверена, Алесику перепало немало; кроме того, это именно она, Прасковья, в конце душных тридцатых, уже похоронив некрещеным другого своего внука, Бореньку, не убоилась пригласить батюшку на дом и Алесика тайком окрестить, никого не спросив или, возможно, даже выиграв маленькую домашнюю баталию со своей непреклонно-коммунистической Евгенией...

Дедушка водил внука в музей, зоосад, на неторопливые прогулки в соседнюю «Олимпию» или Польский садик, степенно учил чему-то – но был он все-таки дедом, не отцом... У молодых тетя и своих женских проблем хватало, так что ласка от них перепала разве что на ходу, а официальная мачеха с номинальным отчимом, то есть, тетя Женя со своим мужем, контролировали воспитательный процесс. Что под этим подразумевалось, остается только гадать. Требовалось вести себя тихо, не путаться под ногами, не приставать ко взрослым с глупыми вопросами («Спроси у бабушки»), позже – учиться в рамках приличий, с улицы возвращаться не позднее указанного времени, есть, не кобенясь, что дают... да, в общем-то, и все.

Душевный мир мальчика и подростка, как я теперь понимаю, не интересовал абсолютно никого; воспитанию в строгом смысле этого слова моего папу не подвергали, разве только скоропроходящими периодами, под настроение – но и он, я уверена, особых хлопот и неприятностей никому не доставлял. Это был один из тех редких детей, которые умеют занять себя сами полезным делом и ни к кому не лезут с глупостями типа «Поиграй со мной». Чтение отрока и юноши никто не регулировал, книжные шкафы находились в его бесконтрольном распоряжении – и в результате книги, как это ни банально звучит, стали его лучшими друзьями. Кто однажды сумел завести себе таких требовательных и продвинутых друзей, рискует уже никогда не обзавестись друзьями из плоти и крови, разве что откопает где-то себе подобный раритет, на книгах же помешанный – причем, на тех же самых. В папином случае это было нереальным – уж слишком специфические книги подвернулись под руку юному мыслителю, едва-едва заглядывавшему в жизнь поверх очков (сильнейшая близорукость начала отступать от папиных глаз только под конец шестого десятка; эти его *последние* очки, отданные мне медсестрой в больнице... нет, не могу).

Он читал Соловьева – даже Соловьевых! – Лосского, Бердяева, Челпанова, Лодыженского, помешан был на Мережковском, лучшим поэтом-женщиной считал Гиппиус, из мужчин – Блока. С детства хорошо знал Библию, читал, вероятно, и классическое богословие в лице бл. Августина, а также разрозненное «Добротолюбие». Но обсудить прочитанное ученику советской средней школы конца сороковых годов было категорически не с кем – и в молодом человеке зрел жестокий внутренний конфликт. Кстати, вызрел этот конфликт интуитивно правильно, потому что старшеклассник однажды поставил свою мачеху перед фактом: «Я поступаю в Духовную семинарию». Что произошло дальше, представить себе нетрудно: ведь опекуней его была тетя Женя, а несчастный Алесик еще не достиг совершеннолетия... Он уступил ей. Может быть, в этом сыграло не последнюю роль Ладожское озеро.

Легенда об этом событии такова. Ленинград находился в блокаде уже три месяца, когда тетя Женя через связи своего мужа, военного врача, получила разрешение выехать

из осажденного города вдвоем с пасынком. Им организовали места в грузовике, по счастью, у самого борта. Машина отправилась в свой последний путь по Дороге Смерти – в Ленинграде ледовую дорогу называли, по свидетельству Д. Лихачева, именно так, а сентиментальная «Дорога Жизни» была придумана гораздо позднее, после войны, когда из блокады, по его же более чем меткому выражению, сделали «одесский сюсюк». Потому она и называлась так страшно, что переезд через Ладогу был делом чрезвычайно опасным, погибшие считались на десятки тысяч, люди не знали, что опаснее – остаться в родном городе, где все-таки был шанс отвертеться от смерти, или сыграть ва-банк, отправившись на Большую Землю, до которой добирались только примерно две из трех машин... Шанс погибнуть один к трем, согласитесь, неразумно высок... Но тетя Женя рискнула, потому что ждал ее сытый Свердловск и в нем сестра Валя, удачно устроившаяся при муже, замдиректора эвакуированного пивзавода им. Степана Разина. Машину разбомбили. Евгению и маленького Алесика, в панике уцепившихся друг за друга, выбросило в снег целыми и невредимыми – и они пошли пешком через зимнюю, насквозь простреливаемую Ладогу... Они – это просто констатация количественного факта. На самом-то деле до полусмерти испуганная и оледеневшая тридцативосьмилетняя женщина волокла за собой очумевшего от страха и мороза шестилетнего ребенка, плюс какие-то уцелевшие вещи, потому что до Свердловска еще было ехать и ехать... Возможно, когда речь зашла о Духовной семинарии, она напомнила об этом мальчику, повзрослевшему на десять лет и пожелавшему первым независимым поступком в жизни разрушить ее заботливо и качественно выстроенную карьеру...

Куда было деваться юноше в такой патовой ситуации? Был вариант: философский факультет Университета. Но у Алесика хватило ума додуматься, что там ему будет только хуже: единственно «доказанно правильной» в те годы считалась философия марксистско-ленинская, а мировоззрение обязано было быть сугубо материалистическим... На философском факультете ему бы несдобровать. И свершилась одна из незаметных человеческих трагедий, с молодости почти под корень подрубающих жизнь, кастрирующих ее на десятилетия вперед, априори обрекающих индивидуума быть несчастным, при всех прочих благоприятных обстоятельствах. Потом можно убедить себя в чем угодно – и нужно убеждать, иначе легче не жить совсем. Вот и папа мой убедил себя, что профессия финансиста – еще не катастрофа, катастрофа, это когда гонят на лесоповал; все вообще нормально, потому что цифры, по крайней мере, не огрызаются, не учат тебя, как ты должен жить и думать, не митингуют и не ораторствуют, как это порой случается с буквами, а значит, с ними можно и подружиться... «Начфином» на фабриках «Маяк», «Рассвет», «Ленингрушка» – вот кем он работал в период моего детства, и последнее название отзывается для меня воспоминаниями о маленьких радостях – разнообразных куклах, например, хотя я в игрушки никогда не играла, любимых у меня не было.

Душевная жизнь моего папы была исключительно сложной – я хочу подчеркнуть именно это слово – в первую очередь сложной, а потом уже трудной. Ее трудность вытекала из сложности, а сложность явилась, очевидно, через гены – причем с той, мне неведомой стороны его отца, моего канувшего в неизвестность деда, четверть крови которого я беспрестанно в себе ощущаю и мучаюсь оттого, что определить ее никак не могу. Гены со стороны папиной матери, Клавдии, наоборот, несли в себе кристальную ясность и простоту восприятия всего окружающего, не то что не принимавшую, а даже отвергавшую сложность Божьего мира. Кроме того, сложность привнесло раннее сиротство, повлекшее за собой самовоспитание и самообразование, чтение слишком серьезных книг в слишком молодом возрасте, а отсюда – неизбежное искажение восприятия сущего... Именно с этой *сложностью* и юному, и взрослому, и зрелому Александру Веселову оказалось невероятно *трудно* существовать. Советчиков у него не было, опыта тоже, поэтому ему самому пришлось выработать ряд идей и мнений, весьма

выстраданных, и, будучи еще и упрямым до какой-то предпоследней крайности, он с этими идеями очень тяжело расставался, а мнения менял мучительно болезненно.

Я была его единственным ребенком, удачно унаследовавшим склад ума от него же, а характер от его матери и теток вместе взятых – и вот представьте себе творческий ум, склонный к философствованию и созерцательности, да помноженный на упорство и даже непреклонность в достижении желанной цели (причем, цели могли быть абсолютно какие угодно, так что иногда можно было искренне желать посадить меня на цепь), вкупе с определенной стервозностью, властностью и гипернезависимостью. Так что еще неизвестно, кому из нас с кем было труднее. Будь папа менее упрямым, он мог бы сладить со мною еще в моем детстве и приобрести в моем лице весьма неплохого друга, но, увы, «идеи» у него всегда перевешивали, пластичности в натуре не было ни на грош, а воспитательную задачу относительно меня он поставил себе заведомо невыполнимую. Совместить несовместимое – вот чего он желал. Во мне одной он хотел видеть две абсолютно различные, взаимоисключающие личности, причем такие, которые, в жизни столкнувшись в виде двоих разных людей, неизбежно испытали бы друг к другу неприязнь, если еще не ненависть.

Одна из них предполагалась степенной, во всех отношениях положительной замужней дамой. Замужней – при условии, что папе удалось бы подобрать ей мужа, состоящего из одних только достоинств в том виде, каком именно папа их понимал, а если бы такового Бог не послал на облаке, то вполне счастливой старой девой, живущей исключительно папиными интересами и тиражирующей его изречения с эпитетом «гениальные». Она могла и должна была пописывать стихи в тетрадку и обсуждать их, опять же, с папой, а потом, выправленные им, читать за семейными застольями. Подруг она бы на стороне не имела, потому что считала бы их «примитивными», а проводила бы вечера дома с родителями, перед телевизором или за чаем, беспрестанно спрашивая у них совета относительно каждого своего шага. Работать она должна была в тихом женском коллективе, чтоб не подвернулся, не приведи Господь, какой-нибудь хищник в брюках и не покалечил бы ей жизнь своими самцовыми закидонами. Пусть зарплата была бы скромная – зато стабильная и регулярная, а больше всего такая дама ценила бы поговорку о синице в руке...

Второй предстояло стать бурно талантливой личностью, великой поэтессой, мыслительницей, чуть ли не трибуном. Она должна была иметь на все свое оригинальное мнение, ночи напролет припадать к радиоприемнику, слушая запретное «Би-Би-Си», возможно, вести какую-нибудь подпольную антисоветскую работу и, уж конечно, стать в ней лидером – неоспоримым для соратников и неуловимым для КГБ. В литературе Гиппиус и Ахматову, перед которыми он благоговел, его дочери следовало, определенно, переплюнуть, а еще, желательно, и писать философские трактаты не хуже, а лучше Соловьева. В промежутках она гениально рисовала бы картины, чтобы обессмертить свое имя уже прочно и наверняка. Мужчины всех видов и оттенков обязаны были в судорогах восторга дни и ночи ползать у ее ног и с удовольствием получать постоянные пинки и зуботычины...

Поэтому, прочитав написанный мною в восемнадцатилетнем возрасте какой-нибудь там «Трактат о неизбежности крушения атеизма» или стихотворение об отнюдь не девичьей любви, созданное еще раньше, папа загорался естественной гордостью за свое чадо и начинал с удовольствием пестовать во мне им же посаженные и уже бурно разросшиеся сорняки тщеславия – а потом вдруг спохватывался и, охваченный закономерным родительским страхом, начинал твердить, что подобные воззрения и писания приведут меня прямоком в тюрьму или могилу, и что моя главная задача – не высовываться, а лучше выйти замуж за Антошу Б., сына друзей семьи, безгласного и безвидного молодого человека с вполне предсказуемым будущим...

Одиночество моего папы было поистине катастрофическим, я даже удивляюсь, как он мог выносить его так долго и не свихнуться, не спиться. Под конец жизни оно все же

привело его к бутылке, но это было интеллигентское пьянство – без запоев, без буйных сцен и скандалов. Тихим он тоже при этом не был – а лезла наружу его язвительная неудовлетворенность жизнью, и он цеплялся к маме и ко мне с упреками глобального характера, смысл которых, при всем их разнообразии, заключался в одном: как же мне среди вас одиноко! Ибо я была сначала слишком мала, а потом молода – папе же нужен был равный собеседник-единомышленник. Какая женщина могла бы стать его идеальной женой, мне лично понятно, но таковых, увы, единицы. Как истинный русский интеллигент, папа тяготел к бесконечным философствованиям за бутылкой вина на кухне – ни к чему не приводящим и, в принципе, бессмысленным, хотя при этом люди и жонглируют невероятно умными фразами и даже ценными понятиями. Но это наша русско-интеллигентская релаксация, и комфортное существование без нее для нас невыносимо. Если два таких интеллектуала с горячими сердцами поженятся, то подобное ежевечернее общение может стать для них настоящим цементом брака (а вовсе не дети, которые цементируют не брак в лучшем смысле этого слова, а проживание под одной крышей и ведение общего хозяйства). Брак может скреплять только гармоничный секс и душевность, там, где люди не доросли до духовности, причем содержание разговоров и сущность философий утром может полностью стираться из памяти, зато в ней закрепляется одно: имевшее место взаимопроникновение и единомыслие. При этом общение, желательно, должно идти за бутылочкой хорошего спиртного, ибо оно имеет гениальное свойство развязывать языки и души... Папе нужно было обязательно *постоянно выговариваться в сочувствующего собеседника* – это был его хлеб и воздух душевный. Жена ему досталась – идеальная создательница и хранительница очага, строительница, умягчительница и украсительница гнезда, насытительница клювов – он ценил и любил ее за это, но ему нужен был, в первую очередь, партнер-философ, а именно этого моя мама ему и не предлагала...

Тем не менее, понятие «семья» папа, до тридцати одного года живший у других «под ногами», боготворил: ведь наконец-то он обрел ее – *собственную*. Забавно было слышать из его уст о нас троих: «Мы всей семьей поехали...», «Вся наша семья решила...», «Всю нашу семью пригласили в гости...».

Кстати, если нас кто и приглашал в гости – то только тетя Валя с папиной стороны, а с маминной – ее друзья. Своих у папы не имелось. Вообще. Ни одного. Настолько, что его гроб нес двоюродный брат Кирилл и мои друзья... Дружить с папой означало все время его слушать, то есть, воспринимать нечто непривычное и подчас опасное – потому что на бытовые темы папа говорил редко и без интереса, любой разговор сводя к политике или философии, абсолютно не заботясь о поле, возрасте и положении человека, попавшегося ему в мимолетные собеседники...

Антисоветчиком папа был подкованным, последовательным и непримиримым. Я выросла в атмосфере бесконечного обличения коммунистических идей, мне, едва ли не пятилетней, ежедневно приходилось слышать, что я живу в империи зла, в стране, где господствует тирания. Десятилетняя, я уже знала правду о красном терроре и коллективизации – с красочными подробностями, бестрепетно приводимыми папой хорошим, эмоциональным русским языком. Я также знала, что Бог, несомненно, есть, и что в школе мне лгут на всех уроках, кроме, разве, обучающих точным наукам, в которых я все равно ничего не понимала. Папа нисколько не заботился о том, как же предстоит мне расти, с детства усвоив, что главной составляющей моей дальнейшей взрослой жизни предстоит стать лжи во всех ее проявлениях. Он хотел, чтобы, живя во лжи, я, хотя бы, *знала* правду, сумела опознать ее в случае необходимости – и именно за то, что он как бы интуитивно наперед поверил в меня, в мою способность справиться с этой недетской ношей, я больше всего ему благодарна.

Должна сказать, что в падение ненавистной власти он верил безоговорочно и непоколебимо, предвидел ее скорый конец и всем об этом говорил. Уже после папиной смерти я нашла в его записях, датированных концом семидесятых, четкое пророчество:

«Тирания падет в 2000 году, плюс-минус 10 лет». Тогда над ним смеялись: «Да ты что – с ума сошел, это же гигантский механизм, все отлажено и неостановимо! Армия, КГБ, контрразведка! Мы и пикнуть не можем, а ты думаешь, что кто-то решится пойти против и победит! Неужели ты веришь в «обратную» революцию?! Если это и будет, то лет через пятьсот! А нашим детям и внукам, в любом случае жить при этом строе!». Папа отвечал: «Я не верю в революцию, она невозможна и вредна. Но я верю в историческую эволюцию – а это неминуемо приведет большевиков к краху!». От папы отмахивались; моя первая свекровь каждую неделю спрашивала у своего сына: «Ну, как там Александр Александрович? Все еще злобствует?».

В политике папа был сторонником конституционной монархии и вообще, разделяя мнение большинства тогдашних диссидентов, был, конечно, антисоветчиком «западного» образца, вместе с ними он заблуждался, допуская наличие демократии в мире – но в том ему во многом помогли вражеские голоса, вещавшие в нашей кухне по полночи из небольшого серебристого приемника...

Его мнение начало меняться только в последний год перед смертью. Уже отбушевали две очередные кровавые русские революции в 91-м и 93-м, новая власть, укрепив позиции, начала ощериваться своей настоящей улыбкой, я, папина дочь, пересмотрела свои молодые взгляды и издала две книги – роман «Пятая власть» и «Некоторые размышления по еврейскому вопросу» – нечто вроде трактата, дань памяти молодости...

Надо сказать, что мои литературные экзерсисы с тех пор, как я повзрослела и прекратила прибегать к папе с восторженным: «Вот, смотри, я опять написала!», папа категорически перестал поддерживать. К тому времени он и сам стал достаточно взрослым, чтобы понять, что образцовой «просто счастливой женщиной» мне быть заказано, зато очутиться горемычной обладательницей полностью и без возврата загубленной жизни светит в полную силу. Нырок в литературу – было именно то, что могло мне это быстро и просто обеспечить, потому что насчет зверской жестокости и лукавства литературного мира папа никаких иллюзий не питал, прекрасно понимая, что там может поджидать честного человека – да еще и женского пола. Книжки мои взял читать недоверчиво – и с ними пролеживал дни напролет (уже тогда серьезно болея, не работая) в своей комнате. У него была неудобная манера читать, лежа на животе и опираясь на локти. По мере чтения моих книг, он исписал своим характерным (ни у кого не видала никогда ничего похожего) почерком несколько листов с вопросами по тексту ко мне – впервые не как к обучаемой дочке, которая «должна раскрытым клювом ловить каждое слово отца» (его выражение), а к равной, имеющей право на свободное мнение, не совпадающее с его... Я ответила на все, как могла, исчерпывающе. «Что ж, принимаю...» – нехарактерно скупой отозвался папа и вновь ушел с моими книгами к себе в спальню. Он обдумывал. Обдумывал незрелые выкладки и неуклюжие попытки беллетристики двадцатилетней девушки – так же серьезно, как творения великих философов и писателей. «Пятая власть» была посвящена ему напрямую: *этот роман я посвящаю моему отцу* – так я написала, потому что именно папа научил меня *думать*, даже в ущерб всему остальному...

Его родительское благословение на писательский труд я получила дня за три до того, как папу увезли в его последнюю больницу. Помню, была глухая ночь, и я на кухне, по обычаю, *думала*, когда неожиданно пришел ко мне папа. Он к тому времени давно меня ничему не учил, а как бы ко мне присматривался – какой оставляет?

Папа сел за стол напротив меня и, без всякой связи с зашедшим было разговором о его мучительном лечении, вдруг после небольшой паузы спросил: «Так что, думаешь, все-таки – Третий Рим?». «Думаю, что так, папа». «И что – Православие, Самодержавие, Народность?». «Похоже на то». «А сейчас, выходит, совсем не то, чего мы ждали?». «Боюсь, что да, папа». Он поднялся: «Может быть... Очень может быть... И еще... Вот в твоём романе героиня перед смертью пишет своей дочери: да пребудет с тобой мое

родительское благословение... Видит Бог – я сделал все, чтобы ты писателем не стала. Но, видимо, у Него насчет тебя планы, отличные от моих, потому что ты все-таки уже писатель... Так вот, насчет благословения... *И мое, родительское – да с тобой пребудет*». Не знаю, как я в ту минуту не заплакала.

Смерть папы в возрасте шестидесяти лет была к нему Божьей милостью в том смысле, что, уважая взгляды и чаяния Своего творения, видя, как глубока была любовь раба Божьего Александра к Родине, при всех его заблуждениях и метаниях, Бог дал ему возможность увидеть то, о чем он всю жизнь мечтал, чем буквально бредил – падение ненавистного режима. Но не попустил стать свидетелем захвата власти еще большими врагами Отечества, чем те, кого он так ненавидел... Папу могло постигнуть разочарование в главной идее всей прожитой жизни, и Господь избавил его от этой земной непереносимой скорби.

В религиозном отношении папа воцерковленным христианином стать не успел, но вышел на прямую дорогу к Церкви, а Господь, как мы знаем, «и намерение целует». Папа был классическим богоискателем (исключительно в рамках христианства), его невоцерковленность как раз и происходила от избытка знаний и желания поиска по всем обнаруженным дорогам сразу – ну, или, хотя бы, по очереди. Даже в процессе своего богоискательства Православную Церковь он воспринимал как нечто само собой разумеющееся, находящееся как бы всегда к его услугам, как что-то, что может его подождать, пока он еще повертит головой по сторонам – так, на всякий случай. Помню его очаровательное, характерное высказывание (папа, при маленьком росте, был обладателем чудного баритона): «Посмотришь на католического падре – плюнуть хочется: мельтешит лысый импотент и блеет голосом кастрата: *Orem us Damien, Orem us Damien...* Тьфу. Другое дело – наш русский дьякон или батюшка – борода окладистая, брюшко... Да ка-ак грянет: Господу помо-олимся! Так сразу и ясно, кто есть кто...». Лежа в больницах, папа беспрестанно читал Евангелие и даже имел благочестивый обычай оставлять его после себя на тумбочке для тех, кто, может быть, заинтересуется... Я поддержала это начинание, оставив больным в папиной палате его последнее Евангелие, найденное мной на тумбочке, когда я собирала скромное имущество усопшего...

Папу отпевали на Светлой Седмице, в четверг. На ней скорбных песнопений не положено – над новопреставленными, имеющими перед собой ничем не заслоненную в эти дни дорогу в рай, поют радостный пасхальный тропарь: «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». В гробу он лежал вполне на себя похожий, а последними словами, произнесенными при жизни, в реанимации, перед тем, как уйти насовсем, по свидетельству врача были: «Верните мне мой крест» (его снимали, ставя капельницу в подключичную артерию). Крест надели, и он успокоился. Была Великая Суббота. «Он умер, ну это, как его... – пытался рассказывать врач о том, чего не понимал. – По-христиански, наверное... Воспринял христианскую кончину – так, кажется, говорят...». Нижнюю рубашку, в которой папа умирал, мне в больнице вернули вместе со всем прочим. На ней виднелось пятно артериальной крови – яркой, ничуть не потемневшей. «Без пролития крови не бывает прощения», – не помню, кто это написал...

Каким он был в жизни? Вообще-то, забавным иногда. Любил классическую музыку, оперу, но мне сумел привить привязанность только к последней, потому что там есть, чему сопереживать. Классике же он меня пытался приобщать в добровольно-принудительном порядке – то есть, покупая бесконечные абонементы то в Филармонию, то в Капеллу – совершенно естественно, что с тех пор ни одного концерта в этих заведениях я по своей воле не посетила и уже, вероятно, не посетю. С оперой получилось легче. По папиной же инициативе, мы («всей семьей», разумеется) непременно каждый год ходили в оперу вечером перед новогодней ночью, а потом, примчавшись домой чуть ли не последним автобусом, начинали праздновать, поэтому слово «опера», благодаря

папе, всегда имеет для меня оттенок торжественного ожидания праздника с подарками, и с тех пор само действие принимается мною благосклонно...

Папа считал себя тем, чем был: человеком, резко отличающимся от всех прочих, и вел себя соответственно, без всякого стеснения и комплексов, по-западному, отчего шарахалась зажатая советская публика, а мама делала ему нескончаемые замечания – то в общественной «едальне» (трудно теперь назвать иначе общедоступный советский ресторан), то в театре, то на выставке Глазунова... Как все это портило мне тогда кровь – и насколько сейчас не имеет значения...

Еще папа был поначалу антисемитом, что единственное не укладывалось в образ типичного русского интеллигента, обычно юдофильствующего. Разновидность антисемитизма, которая досталась папе, была самая что ни на есть генетическая. Он терпеть не мог евреев как таковых, «жидовского духа» не выносил напрочь, его по-настоящему трясло при виде семитов, и он еще придирчиво выискивал их черты в окружающих – и горе было тому, кого он заподозрил в носительстве хоть капли соответствующей крови: тот подвергался остракизму не на жизнь, а на смерть. Если среди моих друзей встречались черноволосые и кареглазые, то им приходилось, зайдя ко мне в гости, прошмыгивать в мою комнату под *очень* пристальным взглядом папы из-за очков – и больше носа в коридор не высовывать! «Жида – не люди, а вши на теле человечества», – это, кажется, цитата из Геббельса, но я ее с детства слышала, по меньшей мере, раз в неделю – и приняла к сведению настолько, что, едва достигнув более или менее взрослого возраста, принялась сознательно изучать иудейскую религию, чтобы составить свое собственное мнение по этому вопросу – и только тогда, наконец, ее вместе со мной изучил и папа. До смерти он, слава Богу, успел перековаться из «антисемита обыкновенного», у которого ненависть к евреям передалась через кровь, в продвинутого антиталмудиста и антисиониста, знающего и исповедующего, что «во Христе нет ни эллина, ни иудея», но никогда не выпускающего из головы народную мудрость: «Жид крещеный – что вор прощенный».

Отдельного упоминания заслуживает отношение папы, сугубо городского жителя, – к лесу. Это был его фанатик, способный пропадать в лесной чаще с утра до темноты. Формальным предлогом служил традиционный сбор грибов, но, скорей всего, лес и папа попросту нежно любили друг друга, и наедине с таким большим и надежным другом он себя одиноким, определенно, не чувствовал. Иногда, уже после пятидесяти, когда папа и его отпуск перестали требоваться для догляда на даче за маленькой мной или, позже, моим сыном, он уезжал с середины августа по середину сентября в какие-нибудь грибные места и жил там в одиночестве, собирая, суша, засаливая и просто бесконечно готовя себе грибы в разных вариантах.

Шанс оставить маму молодой вдовицей, а меня горькой сиротинкой лес папе, правда, однажды предоставил. Это случилось где-то в Ладожских лесах, когда он отправился на свои очередные заготовки – в те времена для семьи не роскошь, а необходимость. У моих родителей я была, в ту пору, кажется, трехгодовалая; мама, естественно, не работала, ибо возможность яслей даже не рассматривалась, поэтому жили на одну папину зарплату, то есть, плавленный сырок растягивая на два дня и потребляя неизбежную треску в супе и втором. Грибы и клюква, доставляемые и присылаемые папой по почте (приходили хрустящие холщовые мешки, украшенные сургучными нашлепками, набитые сушеными грибами и остро пахнущие лесом), являлись для семьи настоящим подспорьем, давая маме возможность варить бесконечные супы и готовить к картофелю вкусную мучнистую грибную подливку (папа терпеть не мог это слово, всегда требовал, чтобы мы говорили «соус»).

Тот день, по его воспоминаниям, стоял красно-золотым и жарким. Утрудившись и умаявшись, с полной корзиной опят, выбрался папа к стремительному холодному ручью и встал перед ним на колени – умыть разгоряченное лицо, протереть запотевшие очки, напиток от души... Он как раз наслаждался ледяной водой, когда прямо напротив

раздались странные хлюпающие и чавкающие звуки; подняв глаза, папа увидел перед собой мирного мишку – тоже утоляющего жажду. А надо сказать, что у папы всю жизнь была странная привычка: если перед ним оказывалось животное, которое надо было прогнать – дикая собака или навязчивая кошка – он наклонялся и, вытянув руки вперед, начинал быстро-быстро хлопать в ладоши, что звучало как серия маленьких взрывов. Ни одна собака на него после этого не напала! Благой инстинкт сработал сам собой: не успев испугаться, папа привычно захлопал на нежелательное животное через ручеек. Медведь, вместо того, чтобы махнуть лапой и снести обидчику голову, сдрейфил и ломанулся прочь – только кусты затрещали. Лишь когда все звуки стихли вдаль, наконец, до полуобморока испугался и папа...

Заблудиться в лесу в зрелом возрасте было для него невозможно (хотя в молодом небольшие блуждания периодически случались); после сорока это стало попросту нереальным – и он мог преспокойно, ничуть не задумываясь о направлении, кружить и петлять по какой-нибудь девственной тропке – и в любой момент безошибочно указать ближайший путь к дому. Это передалось и мне, причем, специально папа на тему леса ничего не втолковывал («Запомни это... Не делай того...») – он просто брал меня, маленькую и большую, с собой, и я, знатная соня, как миленькая вскакивала в четыре часа утра, чтобы идти или ехать с папой в лес – и там не знала ни сонливости, ни усталости, ни неуверенности – как он. Этот папин дар у меня сохранился и поныне, и в любом, даже впервые увиденном лесу я чувствую себя точно так же комфортно, как идя по родному Невскому... Брал папа с собой и внука – и я бестрепетно отпускала пяти-шестилетнего малыша с бабушкой на целый день в неизвестность – но однажды они вдруг вернулись через три часа. «Дедушкин лес сгорел», – объявил Рома. Оказалось, дед и внук приехали к «своему» лесу на электричке и обнаружили вместо него черное пепелище без признаков жизни. Нового леса папе найти не пришлось: очень скоро после этого случая последняя болезнь не оставила ему на это ни времени, ни сил...

С горечью пишу теперь мне понятное: будь папа менее упрямым, чуть легче пересматривай свои сложившиеся и устоявшиеся мнения – и жил бы себе даже и сейчас, тринадцать лет спустя... Но врачам папа однозначно не верил, считая, что «залечат до смерти», к любым их советам относился подозрительно и скептически, переубеждать себя не давал – потому что не имел опыта болезней: заболел он только примерно за полтора-два года до смерти. Астматический обструктивный бронхит развивался постепенно, не позволяя жертве поначалу и думать о том, что плавно и ненавязчиво ведет ее в могилу. Папа не раз и не два лежал в разных больницах, его мучительно обследовали, назначали симптоматическое полужелание, приносившее временное улучшение, и советовали, советовали, советовали одно: гормоны. Обещали, что он будет принимать по одной маленькой чудодейственной таблеточке в день – и вовсе забудет про жуткие приступы удушья, изматывающий нескончаемый кашель, вечное «полупридушенное состояние», как он сам его называл... По одной таблеточке... Но он два года отказывался их принимать – потому что и здесь имел «теорию»: а вдруг он «подсядет» на гормоны, без них его жизнь станет невозможной – а они исчезнут из аптек, как у нас все периодически исчезает? Вдруг он невероятно располнеет, как всегда это происходит, например, с женщинами, принимающими противозачаточные гормональные таблетки? А вдруг перестанет от них быть мужчиной? Ведь гормоны – это очень серьезно! Даже у женщин при таком лечении растут усы! Нет, нет, надо подождать, пусть это останется на крайний случай, если ничто другое не поможет... Просить, умолять, разговаривать было бесполезно, я только на коленях перед ним не стояла. А между тем, уже переставали действовать дорогие пульверизаторы – и он во время приступов швырял их через всю комнату – все увеличивались дозы лекарств и все хуже помогали бесконечные негормональные препараты... И однажды черным ноябрем папу увезли в реанимацию, где едва вытащили с того света – теми же гормонами, только уже в капельнице. Навестив его в больницу, я взмолилась: «Теперь ты видишь?! Неужели не ясно, что пора?!» – и папа заколебался:

«Подумаю». Но две недели спустя из больницы вышел веселый – ему пообещали выздоровление! Его будут лечить с помощью трав! Он посетил, как оказалось, прямо там окопавшийся частный кабинет доктора Б-ева, и тот выразил оптимизм: «Я вас вылечу. Я это умею. Травами, исключительно травами. Только вот за лечение могу приняться не раньше, чем через полгода, потому что вас в реанимации напичкали гормонами, и надо, чтобы организм от них освободился!» – за яйца бы его подвесить, дать полгода повисеть, а потом лечить травами. Папа твердо пообещал мне: «Пусть это будет последняя попытка. Через полгода пройду курс лечения у Б-ева. Верю, что поможет: это великая врачебная династия... Ну, а если нет – так и быть, послушаюсь тебя, перейду на гормоны – и будь, что будет!».

Через полгода спасти его было уже нельзя: за это время легкие, как показало вскрытие, успели почти полностью разрушиться.

...Была Страстная Пятница 1995 года. Соблюдавшая тогда свой первый Великий Пост и оттого чересчур усердная, я пришла в Церковь Владимирской Иконы Божьей Матери приложиться к Плащанице, а потом принялась писать записки на проскомидию. Папа накануне был положен в больницу, где я видела его на земле в последний раз, увозимого от меня в кресле в реанимацию по длинному светлому коридору, – и вечернее апрельское солнце било в окна слева; его спина в голубой нижней рубашке, быстро удаляющаяся навсегда, никогда из моей памяти не исчезнет... Но наутро папе стало лучше, из реанимации его перевели в палату, и мама с внуком отправились вечером его навестить – а я пошла молиться в церковь. Человек я не рассеянный, памятью Бог не обидел – а вот, поди ж ты, рука вдруг вывела в шапке: «О упокоении» – и ниже: Александра. Жестоко обругав себя, я скомкала бумажку и написала на новой: «О здравии». Напрасно. В половине десятого утра, во время проскомидии в Великую Субботу папа отошел ко Господу.

Нам из больницы сообщить о его смерти не позаботились, и поэтому я узнала о ней только на Пасху, когда пришла к папе в палату с крашеными яичками, куличом и пасхой в сумке. Мне так прямо на доверчивую голову и обрушили будничное для них известие, безо всякой подготовки, и потом я еще должна была сказать об этом семилетнему сыну, ждавшему в гардеробе, пока я приду за ним и отведу его к дедушке («дедулюшке»), – и матери, в пятьдесят четыре года оставшейся вдовой... Не помню, что стало тогда с пасхальным угощением, но вечером в пятницу с ним случилось следующее: пасха на огне свернулась, кулич сгорел до угольков, а яйца полопались и вытекли в кипятки все до одного – и пришлось мне в ночи носиться по каким-то магазинам, чтобы купить все это в готовом виде и успеть освятить – что и было сделано. И вот, ничего не потребовалось...

Папа был сладкоежкой. В Страстной Вторник, за два дня до больницы и за четыре до смерти, я сопровождала его по делу на другой конец города – одного уже старалась на улицу не отпускать. Он получил тогда свою инвалидную пенсию и, проходя со мной мимо кондитерского магазина, вдруг остановился и вынул деньги: «Наташа, пойдешь, купи себе тортик», – самому-то ему трудно было взбираться по ступенькам, а тортик, понятно, предназначался не мне единолично, а «всей семье» к вечернему чаепитию... Жестокость некоторых новоначальных христиан предела, поистине, не знает – я возмутилась: «Папа! Ведь Страстная Седмица! Как можно! Пять дней подождем – и будем есть сколько угодно тортиков!». «Ах, да, конечно, я и забыл...» – с нехарактерной для него кротостью, снизошедшей только в последние дни дома, согласился он... Так и не поел сладкого. Больше никогда. Все пытал меня в тот день: «Счастлива ли ты?». Что стоило ответить: «Да, конечно, за меня не волнуйся!». Так ведь нет, томно тянула, кокетничая: «Да как тебе сказать...». Дура.

Когда умер, так хотелось, чтоб хоть привиделся, сказал, что не мучается больше, но явился он только двум живым существам – нашему сиамскому коту Цезарю и своему двоюродному брату Юре («Юкке», как звал его папа, дразня эстонским местожительством).

Цезарь сумел покорить папино сердце исключительной красотой, ласковостью и умом – и папа, убежденный собачник, заявлявший всегда: «К твоему коту я равнодушен, а верен памяти Кресточки» (речь шла о нашей незабвенной черной пуделице), привязался к нему, хотя из самолюбия скрывал свое чувство почти по-детски. Например, уютно взяв кота на колени, он рассеянно-нежно гладил его, сидя в кресле перед телевизором – и тотчас прятал руки за спину, стоило кому-то войти в комнату; если Цезаря долго было не видно, то громче всех раздавался тревожный папин баритон в квартире: «Где кот?! Где кот?!». Так вот, этот самый кот, спокойный и очень независимый, к внезапным истерикам не склонный, на третий день после папиной кончины мирно лежавший на диване, – вдруг подскочил без видимой причины, взвился и заметался по комнате, в которой сидела, горя, вся оставшаяся семья. Мы с мамой поняли разом и закричали: папа здесь! – кот чувствует его! – и к папе: «Мы тебя любим! Прости нас! Мы любим тебя!». Сам Цезарь пережил папу почти на пять лет, исполнив предсказание хозяина: «Этот кот меня переживет», – и, похоронив его, мучительно умершего от страшной кошачьей болезни, мы возвращались с повзрослевшим сыном домой. «Где теперь Цезарь?» – спросил меня уже двенадцатилетний заплаканный Рома. «Бежит по солнечной дороге навстречу бабушке», – не задумываясь, ответила я...

История с Юрой оказалась много поучительней. Юрий Сергеевич Зуев, сын самого старшего ребенка Николая и Параскевы, жил в Эстонии, в городе Таллинне (собственно, он и сейчас там живет в своем очень преклонном возрасте), и служил в контрразведке. Да-да, он всю жизнь был связным между Центром и нашей западной резидентурой, возя туда и обратно материалы и донесения, которые невозможно было доверить дипломатической почте. Редко можно увидеть людей, настолько противоположных друг другу внутренне и внешне, как были эти двоюродные братья. Юкка, громадный объемный мужчина, хохотун, говорун, едок, убежденный холостяк и бабник, просвещенный атеист, насмерть преданный Советской власти, приезжал в Ленинград несколько раз в год, являлся к нам в дом с бутылкой коньяка и традиционно общался с братом, вкусно выпивая под классический мамин «Оливье». Не имея своих детей, меня он попросту игнорировал, а нашу собаку называл «сука́» – именно так, с ударением на последнем слоге. Для папы он в какой-то степени, вероятно, олицетворял пресловутый «образ врага». Хорошенько побаловавшись, в свою очередь, французским коньячком, папа использовал возможность безнаказанно высказать в лицо работнику «органов» и партийцу все претензии к советскому режиму, что накапливались у него от приезда до приезда Юкки. Выпив, в выражениях он не стеснялся, а кузен его отмахивался: «Алеська, если б ты не был моим братом, то давно бы уже сидел!». У них приключилась в семидесятых или восьмидесятых какая-то смутная история с Библией. Достать ее в те годы – новую, не дореволюционную – было все равно, что луну с неба. Юра, имевший связи, обещал добыть и не выполнил обещания – или увез уже имевшуюся, точно не помню. Папа множество раз напоминал, просил – тщетно: в голове его братец держал только то, что ему самому требовалось...

И вот этот-то человек, которого меньше, чем кого-либо другого на свете, можно заподозрить в мистических склонностях или галлюцинациях, летом 95-го рано утром предстал перед моей заспанной матерью на пороге нашей квартиры в Петербурге без предварительного звонка. Жаль, меня там не было, я жила с ребенком на даче... Особым комплексам веселый Юкка подвержен не был, поэтому мама услышала приветствие дословно такое: «Тебе привет от Алесика». Она спросонок не поняла: «Юра, ты что, на могиле был?». «Да нет, это я в прямом смысле!» – ответил неунывающий деверь и достал из сумки Библию...

Случилось вот что. Накануне утром Юра проснулся в своей таллиннской квартире оттого, что почувствовал чье-то присутствие в комнате. Протрав глаза, он увидел своего двоюродного брата, смиренно стоявшего в углу в ожидании его пробуждения. «Алесик, ты же умер», – удивился Юра. Это гость никак не прокомментировал – как очевидную глупость, наверное, – и прямо приступил к делу: «Ты обещал Библию, помнишь?». Юра

отлично помнил – но он был атеистом и в загробный мир не верил, потому без колебаний вступил в большевистские пререкания с пришельцем с того света: «Знать ничего не знаю, где она – понятия не имею, может, и была когда, да я забыл». «Как же, она у тебя вон на той нижней полке, во втором ряду», – было ему указано.

Только тогда контрразведчик додумался, что разговаривает с тем, что в народе называется «привидением», – и его все-таки охватил ужас; под пристальным взглядом призрака несчастный партиец в одних подштанниках пополз по ковру к указанной полке – и действительно обнаружил там искомое. «Теперь отвези ее моим, как обещал», – последовал приказ, и видение исчезло именно так, как это всегда бывает: просто растаяло. Тут уже славный Юрка понял, что лучше не упорствовать, и помчался за билетами, чтоб не навлечь на себя что пострашнее. Мама, потрясенная этим рассказом из уст дремучего, непробиваемого атеиста, спросила его только об одном – по-моему, вопрос был странный: «А во что он был одет?». Зато ответ последовал такой, что придумать его попросту невозможно. Юра мялся и тужился некоторое время, силясь определить неопределяемое и совершенно для него неопишное, а потом выдал: «Он был одет... одет... В свет».

«Осенний лист пах коньяком»... Эта фраза – единственная, сохранившаяся в моей памяти из папиного полностью утраченного при неизвестных обстоятельствах романа «Золотая печать Гитлера», романа о диссиденте Василии Николаевиче, который был во время Великой Отечественной сапером и разминировал бункер Гитлера. На память он хитростью выманил себе его золотую печать, притворившись, что долгое время считал, будто это мина – и впоследствии, сумев удачно ее продать на Запад, на вырученные деньги организовал подпольную антисоветскую организацию в Советском Союзе – и был убит в осеннем лесу своим же товарищем, оказавшимся провокатором. Лист пах коньяком, когда Василий Николаевич умирал...

«Дарю тебе этот образ», – говорил, бывало, папа...

Повествование о родственниках с папиной стороны на этом заканчивается – потому что кончились родственники. Пора переходить к таковым по маминой линии – московской, и начинать здесь опять придется по справедливости – на этот раз снизу вверх. Единственными мне близко знакомыми, ныне покойными родственниками мамы были мои дедушка и бабушка, а все их предки, хоть и смотрят на меня просветленно со страниц семейного альбома, умерли до моего рождения – или в моем раннем детстве, так что я с ними лично не общалась и своего мнения ни о ком из них составить мне не пришлось. Об их судьбах – весьма примечательных порой, потому что пришлось, в основном, на шалопутный двадцатый век, я знаю только из смутных рассказов старших. Тем, кто там помнит меня, надлежит дань отдать поскорее, а всем другим – последовательно, по восходящей...

Вырос и мой Адька – он теперь проживает в конце пятидесятих годов, и тоже появится во второй части книги, для которой пришел уже свой черед.

Часть вторая

ГЛАВА ПЕРВАЯ, О МОЕЙ ДЕТСКОЙ МОСКВЕ И ЕЕ ОБИТАТЕЛЯХ

Москва началась для меня, когда мне не исполнилось еще и года. Родившаяся от отца-петербуржца и матери-москвички, я уже с утробы носила в себе некий неизбежный внутренний конфликт, отражающий постоянное трехсотлетнее соперничество двух великих городов – русского и полувосточного. Спорить, который из них дороже сердцу, не приходится: в Петербурге я мужала телесно и душевно, здесь начались и благополучно продолжаются мои духовные и творческие метания и поиски, Невой омывалась первая любовь, ею же вспоена последняя, и, верю, найдется в черте бесценного этого города

небольшой клочок земли, который примет мое отмучившееся тело, когда придет ему час лишиться бессмертной души. Но, знаю, и за Летою душа не забудет Петербурга.

Москва – другое дело. В отличие от традиционного москвича, активно «Питер» недолголюбивающего за его заносчивую красоту и явно превосходящий культурный уровень коренных жителей, традиционный петербуржец к Москве относится вполне терпимо – как младший высокоодаренный брат к старшей простоватой, но милой и умненькой сестрице...

Выйдя замуж в тогда еще Ленинград, мама долго не могла оторваться душой от родительского гнезда, и три лета подряд возила меня в Москву к своим родителям, будто на дачу. Их жилище гениально сочетало в себе удобства добротного дома «сталинского» образца и все прелести привольной загородной жизни, потому что лесопарк Покровское-Стрешнево начинался прямо через дорогу. Он жив и сейчас, этот чудный полулес-полупарк, плавно переходящий в столь же значительный зеленый массив Покровское-Глебово. Я не знаю, чего там не было из того, что можно пожелать: белки, спускавшиеся прямо к людям на ладони, уютные аллейки, бежавшие сквозь, казалось, нетронутый грибной лес, удобно и симпатично оборудованные не только для детей, но и для родителей площадки; чуть глубже существовали малинники, в которых разве что медведей не водилось, и целебный родник, до сих пор признаваемый единственным чистым из всех московских источников, пруды с желто-зелеными пляжами, где я научилась плавать, – и даже безобидные смешные эксгибиционисты, которых мамы с колясками знали в лицо и давно не боялись... Москва для меня – это очень солнечный город, потому что, повзрослевшую, лет десяти-двенадцати, меня отправляли «к бабушке с дедушкой» либо летом, на месяц, либо на весенних, мартовски-ярких каникулах.

Воспитавшие мою маму в почти пуританской строгости, значительно смягчившие ее по отношению к своему младшему ребенку, ко мне они никаких воспитательных мер применять почти не пытались – зато избежали экстремальных проявлений моего неуправляемого нрава. Жилось мне в Москве спокойно и мирно, у меня имелась своя комната с высоким потолком, балконом, где одуряюще пахли бабушкины белые цветы табака, дверью, матовое стекло которой напоминало по вечерам лунный камень, и книжным шкафом, полностью занятым знаменитой «бэвээлкой», то есть, полной Библиотекой Всемирной Литературы, на которой я благополучно воспитывала сама себя, точно так же, как делал это в свое время папа...

Я застала бабушку и дедушку уже пенсионерами – интеллигентной пожилой парой, людьми, прожившими вместе долгую, трудную и наполненную жизнь, но не ставшими посторонними под одной крышей, а сросшимися наподобие двух старых деревьев.

Дмитрий Павлов и Тамара Коршунова познакомились на работе незадолго до войны. Судя по молодым их фотографиям, люди были породистые и интересные. Согласно моим личным наблюдениям, несомненными показателями высокой или низкой человеческой породы являются, прежде всего, руки, а во вторую очередь – носы. У высокопородных руки обязаны быть длиннопалыми, причем у женщин – маленькими и тонкими, а у мужчин сильными и крупными; носы же у представителей обоего пола мною признаются только решительно выдающиеся, любой благородной формы, но ни в коем случае не семито-хамитского очерка и не размыто-картофельного.

Фотография моей молоденькой бабушки году так в тридцать пятом, в кампании подружек, не оставляет никаких сомнений в ее вполне достойном происхождении: вроде бы и стрижка «скобкой», и простенькое платьице, и девичья непосредственная полуулыбочка – а не ошибешься: «белогвардейка». Когда Тамара наивно пришла поступать в институт, в приемной комиссии ее... отхлестали ее же метрикой по лицу! Тогда такое еще было возможно – в порыве революционной бдительности. Ситуацию спас ее отец Сергей, человек авантюрного и бесстрашного склада: увидев зарезанное лицо дочери, он попросту залил метрику подсолнечным маслом и расплывшиеся фиолетовые

буквы, дававшие возможность разобрать только размытое «...ян», спокойно переправил на «из крестьян» – а что там на лбу написано, то никого не касается...

Дедушка, кажется, не считался, а именно был красавцем. На берлинской фотографии сорок пятого победного года форма советского майора на нем воспринимается исключительно кителем Царской армии, потому что таких утонченных лиц у красных командиров не могло быть по определению – да к тому же, не отвечивая на черно-белых фотографиях, его лицо украшала пара редких ярко-голубых, почти ультрамариновых глаз. Такую статью он сохранил до старости. Так и помню его в конце семидесятых справа от себя на диване, перед телевизором, ко мне в профиль: прямая спина, плотно сомкнутые колени, чеканный профиль под маленькой фетровой шапочкой, которую он имел обыкновение в прохладные дни надевать дома... Колени были сомкнуты не просто так – а стянуты армейским ремнем, чтобы не разъезжались и не мешали царственному восседанию сиамского кота Кузи, несказанно скрашивавшего своим существованием осенние годы Дмитрия и Тамары.

Я не знаю, как они познакомились, но одна жуткая история поры их жениховства с юности врезалась мне в память. В конце тридцатых, будучи молодым инженером, дедушка однажды допустил очень серьезную ошибку в расчетах, вычерчивая одну из главных деталей какого-то орудия – и ошибки этой никто не заметил. По неверному чертежу выпустили чуть ли не целую партию готовых изделий, на нужное место, естественно, не поместившихся... Шел тридцать девятый год. Обвинение и фабриковать не нужно было, потому что вредительство даже в самом проектно-институте мало у кого вызывало сомнение.

Очень легко на этом могла бы закончиться личная дедушкина история, и вовсе не начаться истории, по крайней мере, четырех человек: двоих его детей, на ту пору не родившихся, моя и моего сына. Но Бог судил иначе, и дедушке выпал исключительный, почти невозможный в ту суровую эпоху случай: на его сторону встал сам директор (впоследствии репрессированный по другому поводу). На собрании, куда согнали весь коллектив, чтобы заклеить позором, единогласно проголосовать и передать в справедливые руки НКВД разоблаченного вредителя, директор выступил с горячей речью от чистого партийного сердца – и сумел убедить подчиненных, что ошибиться все-таки может каждый, и вовсе не обязательно ошибка должна влечь за собой смертную казнь. Тамара запомнила на всю жизнь, что жених ее стоял уже не бледный, а просто белый, как простыня – но все счастливо обошлось строгим выговором с предупреждением: так всем нам подарили жизнь.

До начала войны – а именно за месяц до нее – супруги Павловы успели родить своего первого ребенка, мою будущую маму, а в конце июня лейтенант-артиллерист поцеловал молодую жену и новорожденную дочь и простился с ними на пять лет, потому что демобилизоваться и вернуться в Москву ему позволили только в только в сорок шестом. Что такое лейтенант у артиллерийского орудия во время Великой Отечественной войны, никто уже не расскажет, потому что мало кто из них войну эту пережил, а уцелевшие вскоре умерли от ран. Исключение составляли единицы – с моим дедушкой среди них. Его жена Тамара была верующей, и в Москве, вернувшись после эвакуационных мытарств, *ежедневно всю войну* ходила в розовую, как пряник (в моем детстве), церковь у Сокола, молилась о здравии воина Димитрия, и, кроме того, еще при прощании надела ему на шею и запретила снимать ладанку с зашитым девяностым псалмом. Действие не замедлило сказаться: по рассказам дедушки, большую часть войны проведенного у орудия, то есть, прослужившего мишенью для всего стреляющего, что имелось у противника, после самых тяжелых боев он оставался невредимым иногда *один* из взвода, роты, полка – и так далее. Иногда он даже желал, чтобы его ранило, потому что такого «заговоренного» могли посчитать и трусом – нельзя же уж совсем так, чтоб из пекла, да без царапины... Когда наша Армия перешла западную границу страны, моего дедушку – интеллигента, имевшего представительную внешность, безупречную

репутацию и свободно говорившего по-английски и по-французски, забрали адъютантом в штаб дивизии, и, уже непосредственно жизнью не рискуя, он дошел до вождельного Берлина, а после окончания войны вынужден был еще год прослужить в уже почти мирной Германии.

Никаких военных трофеев майор Павлов в Россию не привез. В то время как доблестные красные командиры вагонами вывозили из Германии приглянувшееся барахло всех мастей, а их жены щеголяли по театрам в иноземных кружевных пеньюарах, считая их вечерними платьями, дедушка вернулся в офицерской форме и при чемодане, причем, первую еще несколько лет донашивал, не имея возможности сразу справиться себе солидный гражданский костюм... Когда я, маленькая, просила его рассказать «про войну», желая «киношных» подробностей, то добиться никаких красочных рассказов не сумела: «Что про нее рассказывать», – всякий раз сухо отвечал он.

Бабушке война продемонстрировала, прежде всего, ужасы эвакуации – и тем ужаснее они оказались для нее, что на руках Тамара имела двух-трехмесячного ребенка, и плюс к тому, на ее шее висела всегда более или менее бестолковая мать.

После достаточно длительных мыканий, переходов, обстрелов, обманов и прочих беженских издержек семья оказалась близ городишка Кинель-Черкассы – невероятно «удачного» места для эвакуации: в городке находился активный военный завод, ежедневно подвергавшийся бомбежке. Завод защищали зенитки, да так хорошо, что особо близко к цели бомбардировщики подлетать боялись – и предназначенные заводу бомбы мстительно сбрасывали на окраины Кинель-Черкассов, то есть, на головы мирным жителям – и приблудившимся к ним эвакуированным. Не обошлось, конечно и без лихой летчицкой забавы, когда на бреющем полете самолеты проносились над дорогой, по которой спешили толпой люди, надеясь укрыться в роще или в камыше на озере, – и тогда немцы лениво постреливали в бегущих женщин и детей... Не раз приходилось бабушке уже глубокой осенью, почти зимой, в темноте не час и не два стоять по пояс в ледяной воде среди враждебных камышей, – и высоко держать, укачивая, запеленатого грудного ребенка. Однажды после очередного стояния Тамара увидела ночью сон: будто стоит она по пояс в грязи с ребенком на руках, а кругом в грязи этой тонут отчаявшиеся люди; но вдруг появляется прямо перед ней седой старичок с охалкой жердочек под мышкой и начинает эти жердочки перед ней по грязи прокладывать, молча приглашая ее идти; и она пошла, пошла по ненадежным жердинкам, прижимая к себе дочь – а старичок все горбился впереди, все выкладывал ей путь сквозь топь и отчаяние – и, выведя на зеленый берег, исчез... Во сне она не узнала его в лицо, а проснувшись, тотчас вспомнила: Николай Угодник. С этой ночи бабушка уже твердо знала, что сумеет пережить войну и сохранить ребенка живым.

Квартировали они в доме знахарки, причем не простой травницы, а настоящей ведьмы – как только не тасуются в войну люди! Ведьмовство простиралось до такой степени, что старая колдунья в определенные лунные фазы поутру выводила желающих на росу и прямо на этой росе, сотворив соответствующие камлания, показывала того, кого ждали с войны – что он в этот момент делал. Бабушка была тому свидетелем, но справедливости ради надо сказать, для себя ни разу не воспользовалась такой возможностью, боясь нарушить молитвенную связь с любимым мужем, невзначай прогневить Господа и навлечь отмщение. Но знахарка все-таки раз сумела спасти ей жизнь в случае, когда не помогла бы никакая медицина. Однажды безжалостные мошенники продали Тамаре на рынке хлеб из «протравленной» пшеницы – в каких-то целях посадочные, не для хлебопечения, зерна обрабатывали синильной кислотой. Эта буханка не предназначалась для семьи – бабушка шла отдавать кому-то хлебный долг. Но она не удержалась, по дороге отломил немного и быстренько закинула теплую корочку в свой вечно подведенный от голода живот. У людей, получивших хлеб, ночью умерла древняя старуха-хозяйка на печке, а сами они его отведают промыслительно не успели. А у моей бабушки посинели ногти, из ушей, носа и рта начала хлестать кровавая пена...

Собственно, это был конец – но знахарка каким-то образом «отходила» Тамару, прибегнув, разумеется, к своим подручным темным силам... Не за это ли потом всю жизнь расплачивалась бабушка, тяжело и длительно болея то тем, то другим до самой смерти, не имея возможности даже положить в рот полноценный вкусный кусок, и вынужденная придерживаться вечной диеты, еще более строгой, чем любой церковный пост?

После войны они стали гармоничной и удивительной парой. Удивительной – для меня, выросшей в других понятиях о любви и радостях брака. Даже по тому, как они относились друг к другу в старости, была очевидна абсолютная целомудренность и естественная строгость их брачных отношений в молодости. Считалось, что таковыми тогда были «правила», но это все то же заблуждение, на котором воспитывают каждое последующее поколение – по принципу «мы такими не были» – а на самом деле во все века половое поведение зависело от внутреннего устройства человека, и прочные пары подбирались согласно нему же. Тетю Валю, например, родившуюся на шесть лет раньше бабушки, представить себе гладко причесанной и в скромном платье с воротничком точно так же невозможно, как и бабушку Тамару с обесцвеченными перекисью волосами и в легкомысленной шляпке... Кроме того, своя, отдельная комната появилась у бабушки и дедушки только в начале семидесятых годов, а всю молодую и зрелую жизнь, когда как раз и происходит утрата целомудрия, они поначалу делили комнату в коммуналке с родителями Тамары и двумя детьми. Спустя годы, когда дети подросли, а дедушка стал занимать ответственный пост в институте Курчатова, ему выделили двухкомнатную квартиру на семью из пяти человек – и это считалось пределом осуществившейся мечты трудящегося интеллигента, едва ли не роскошью...

Строгость бытия проявлялась во всем: явление женщины в халате за завтраком (даже если этой женщиной была десятилетняя я) считалось верхом неприличия, оскорблением тонких эстетических чувств окружающих. Любые парфюмерные средства объявлены были дурным тоном, и мне ненавязчиво указывалось, что от девушки должно пахнуть чистотой и свежестью, а аромат духов может ассоциироваться только с девицей легкого поведения. Стриженные, крашенные волосы, макияж – это презиралось спокойно, без всякой демонстрации. Я помню бабушку совершенно седой, с аккуратными плойками волос или косой, уложенной вокруг головы, а вся косметика, употреблявшаяся ею, состояла из розовой помады и бархатной тряпочки, на которой растиралась та же помада – и слегка наносилась на щеки, когда они были особенно бледны. Бижутерии для нее не существовало, а украшения из драгоценных металлов и натуральных камней в ее доме имела право надевать только замужняя дама – но даже мне, вышедшей замуж и приехавшей показать бабушке правнука, строго указывалось на недопустимость более одного кольца на руке...

Она была человеком с принципами, моя бабушка. Когда за мной и грудным сыном приехал мой муж из Ленинграда, и я беспечно крикнула ему из ванной: «Принеси полотенце, оно на диване валяется!» – то по выходе была наказана двухчасовым бойкотом со стороны матриарха рода. Видя ее строгий профиль с поджатыми губами и не зная, чем заслужила немилость, я кружила вокруг и так и эдак, пока не добилась кроткого упрека: «Какой стыд». Выяснилось, что предстать перед мужем обнаженной – значит продемонстрировать распущенность и склонность к разврату. При попытке напомнить, что у нас с мужем есть десятимесячный ребенок и, стало быть, несколько поздно заботиться о моей стыдливости, последовал непреклонный ответ: «Это не имеет никакого значения. Муж и жена никогда не должны утрачивать чистоту отношений». Можно сколько угодно не понимать такого патриархального, едва ли не святоотеческого образа мыслей, но невозможно не уважать людей, его сохранивших.

Эти воспоминания касаются времени моей молодости, когда бабушка не могла утерпеть и периодически проявляла свое негативное отношение к чему-нибудь уж слишком, по ее мнению, вопиющему в поведении «девицы» или «молодой дамы», а в

своем детстве я помню только одно ее активное вмешательство в мою жизнь – забавно аукнувшееся, правда, десятилетие спустя. Однажды бабушка вдруг заметила мое патологическое увлечение Всемирной Литературой – и подошла поинтересоваться, чем так занята внучка, перешедшая в пятый класс. Заглянула в книгу – и ахнула: едва ли ею самой прочитанный (судя по моему представлению, бабушка должна была, прочитав две-три новеллы, брезгливо отложить книгу и больше никогда к ней не прикасаться), но, наверняка, не раз прослышанный «Декамерон»! Она вспыхнула: «Этого тебе читать нельзя... Направление не то, – и, желая смягчить впечатление: – Сейчас я найду тебе интересную книгу – сама ею в детстве зачитывалась!». «Декамерон» был немедленно отобран, упрятан в родную суперобложку и водворен на место, а взамен она сразу же выдала мне «Витязя в тигровой шкуре».

Ах, Руставели, Руставели! «Что отдал, то твое!» – как же я, одиннадцати лет, запросто отдала тебя, даже не читая! Ни на минуту не задумавшись, я мгновенно поменяла местами суперобложки: «Витязя», одетого в новую шкуру, затолкала обратно в шкаф, а его, тигровую, благополучно напялила на «Декамерон» и сразу же углубилась в любимое чтение.

Бабушка наблюдала за мной с умилением: вот какой удачный педагогический подход она сразу нашла к девочке – а еще говорили, трудновоспитуемая! Своим прямым, честным и бесхитростным сердцем она не могла почуять бездны коварства в пухленькой беленькой отроковице, и даже в голову ей не пришло проверить – а та ли книга, любовно ею подобранная, ночует на подушке у спутанной головки внучки!

Мое коварство было отмщено спустя лет десять, когда я уже училась в Университете. Дело в том, что «Витязя в тигровой шкуре» я в жизни так и не осилила – никогда, до сего дня. И читаю, вероятно, только если он окажется единственной книгой в какой-нибудь одиночной камере или на необитаемом острове. Не раньше. И тогда, возможно, влюблюсь насмерть. Но на экзамене по литературе народов СССР из билета улыбнулся мне именно он, Руставели – и пришлось просить переменить билет...

Под Иерусалимом, в монастыре Святого Креста, я встретила с ним еще раз. Он стоял маленький-маленький, росточком едва ли до колена огромным апостолам Петру и Павлу – на церковной фреске собственноручной работы его же, великого сына Грузии, с которым так и не смогла познакомить меня бабушка Тамара.

Последний раз я видела бабушку живой за четыре года до ее смерти, в 1993 году, приехав в Москву зарегистрировать очередное издательство. Тогда она, уже десять лет как овдовевшая, почти силком потащила меня в Донской монастырь, где проводила рядом с церковью и могилой мужа большую часть времени. Там только открыли мощи святителя Тихона (Патриарха) и выставили их для поклонения – не в главном храме, а где-то в боковой часовенке. Я была в джинсах и кожаной куртке, не привезя с собой юбки, чтоб идти в церковь и, кроме того, у меня просто раскалывалась в то утро от боли голова. Не знаю, как бабушка меня убедила поехать, но помню, что чугунной, пульсирующей на все лады головой приложилась к мощам – и отвлеклась на служительницу, которая, глянув на меня осуждающе, сразу кинулась усердно вытирать тряпкой со стекла раки воображаемый след моих порочных губ. Когда я закончила бессловесно возмущаться ее демонстративным поступком, то заметила, что голова моя больше не болит, а только легкость и ясность в ней...

Есть не раз и не два подтверждавшееся народное поверье, что тот, кого однажды сочли мертвым, имеет все шансы на долгую жизнь. Такое приключение у моей бабушки тоже было – в досознательном возрасте. В горьком и черном девятнадцатом году – году голода, разбоя и неизбежно сопутствующего тифа – попала мать бабушки, Капитолина, с двумя детьми в одну многожды уплотненную квартиру – с семьей сестры известного всем Саввы Морозова. Там-то и укусила малышку тифозная вошь – со всеми вытекающими последствиями. Имея мать более или менее бестолковую, да еще и обремененную старшим сыном, трехлетняя Тома была, скорей всего, обречена на смерть. Но

боголюбивые Морозовы пожалели маленькую страдалицу, забрали ее лечить в свою комнату – и это несмотря на то, что в комнате той находились их собственные, здоровые дети!.. Чем было лечить в девятнадцатом году?! На третий день Тома, как показалось Морозовым, умерла: девочка вся похолодела, и не слышно было сердцебиения. Тогда, согласно благочестивому обряду, ее обмыли и положили на стол под иконами, скрестили ей руки на груди, зажгли свечи... На знаю, начали ли уже читать Псалтирь, как вдруг покойная младеница очнулась: смерть оказалась лишь острым кризисом, в последний момент все-таки перевалившим...

Умерла бабушка от старости, не болея более обычного, и в следующий раз я видела ее уже в гробу, в часовне того же Донского монастыря. Как и при жизни, она не была раскрашена, а лежала мраморно-бледная и абсолютно прекрасная. Преставилась праведница строгой аскетической жизни – и это сквозило во всех ее благородно застывших чертах.

Самая удачная сохранившаяся у нас в доме фотография бабушки Тамары – та, где она стоит со своим любимцем – сиамским котом Кузей на руках. Я отлично помню этого великолепного, своенравного, себе на уме зверя, прожившего около двадцати лет на отборной рыбе и овсяной каше, которой бабушка неизменно кормила его с ложки два раза в неделю во избежание запоров. Он очень был привязан к ней и дедушке, только их слушался (когда считал нужным), шел на руки и позволял с собой играть. Помню, бабушка чистила ему уши с помощью деревянной палочки и ваты: «Кузя, иди ушки чистить!» – и тогда он прибежал, вспрыгивал на стол, ложился на бок и, слегка свесив за край голову, подставлял ухо. «Кузя, а теперь другое ушко!» – и он тотчас переворачивался, предоставляя ей таким же манером второе ухо. Так же, как и его хозяева, он верен был единственной любви в жизни – кошке Сиамке, с которой каждый год они имели котят. Но однажды Сиамку не принесли в положенное время: она, как оказалось, упала во сне со шкафа, сломала спину и умерла. Кузя звал ее, крича дурным голосом – и тогда ему стали предлагать других кошек, простых и сиамских – но он прогонял всех и, ни одной не приняв, постепенно смирился с утратой и еще лет десять прожил в полном целомудрии... Что тут скажешь!

О дедушке у меня меньше воспоминаний. Я помню его интеллигентно-сдержанным, никогда не повышавшим голос, хотя на маминой памяти ему случалось приходиться в праведную ярость – не думаю, чтоб эти вспышки были хоть сколько-нибудь опасными. Он проводил дни за чтением английских книг или водил меня гулять в Покровско-Глебовский лесопарк – подальше, где были малинники и озера. Он терпеливо ждал, пока я неутомимо плавала или «паслась» в малиннике – и что-то неторопливо, обстоятельно рассказывал – но не слишком интересное, не то я запомнила бы. Сохранилось: «Вот приедет Оля – Оля все рассудит», – его невозмутимо-иронический ответ в неразрешимых воспитательных ситуациях (Оля – моя мама).

Мне известна грустная история середины пятидесятых, связанная с его несчастной докторской диссертацией. Она была «зарублена» с применением всяких уничижительных эпитетов вроде «вторичная», «несостоятельная» и пр. – а Дмитрий Владимирович Павлов был человеком гордым, и унижаться не стал, пережил молча. Обиднее оказалось то, что диссертация его – уже под другим названием и с мелкими переделками – была защищена спустя года четыре еврейской дамой и эпитеты на сей раз оказались прямо противоположными – например, «гениальная», «переворотная»... Но диссертацию с собой на тот свет все равно не возьмешь, как и деньги...

Денег дедушка тоже не пожелал. Когда скончалась его мать (до нее мы доберемся в свой черед), оставшееся после нее немалое наследство предстояло разделить троим ее детям – кроме Дмитрия, у нее были еще Роман и Мария. О размере наследства можно судить только по одной Богородичной иконе, имевшей, говорят, оклад из натурального жемчуга и венец из камней. «Маратья не хочу», – сказал дедушка и в дележе участия принципиально не принял, зато его брат и сестра в конце пятидесятых приобрели себе по

машине, кооперативной квартире и еще чему-то существенному... Щепетилен очень был человек в вопросах чести, не думал, что – в материальном плане – он оставит своим двоим детям, хотел лишь, чтобы они выросли порядочными нестяжательными людьми...

Умер в 1983 году, от лимфогранулематоза, проболев им лет двенадцать, очень мужественно. Последние слова его были: «Эх вы, теоретики...» – это когда невестка-врач и жена пообещали, что сейчас ему сделают укольчик, и станет лучше... Надеюсь, что стало. Только уже не здесь.

Воспоминания о предках пока лучше прервать – для читателя же, чтобы не соскучился, и вернуться к надолго что-то заброшенной беллетристике, в грустную повесть, где незаметно, без нашего участия, прошло уже четырнадцать лет, и потому написать:

ГЛАВА ВТОРАЯ, О ТОМ, КАК АДЬКА ЖЕНИЛСЯ

- Ну, что, Вадим, сдали сопромат – можем жениться?

Это шутка такая была у них в Военмехе, потому что сопромат отчего-то представлялся самым сложным предметом, и считалось, что, сдав его, из института уже не вылетишь. А вот и неправда: для него, Вадика, это было что тыквенную семечку целкнуть – очень уж его умная голова оказалась расположенной к точным наукам, поэтому после техникума, законченного с отличием, в Военмех его взяли сразу на второй курс: нечему оказалось на первом учиться, сам салаг поучить мог. А насчет жениться... Это ж вагоны по ночам еще два года разгружать придется, ведь не на стипендию же молодой семье существовать! Но с другой стороны... После смерти тетки, разбаловавшей уцелевшего в пекле войны единственного сироту-племянника, жить одному совсем нелегко стало – уже в непривычном к студенческому нездоровому питанию животе ощущались по утрам подозрительные колики... Интересно, хорошо ли Надя умеет готовить – как бы это разузнать, а? Проще всего, конечно, пригласить домой и поставить перед ней конкретную задачу – наварить борща, например, а потом, отведав его, уже и думать о дальнейшей с ней жизни – или не думать. Но пригласить девушку в холостяцкую свою комнату Вадик не решался: вдруг неправильно поймет – девушка-то порядочная, не потрепушка...

Рассуждая так, он незаметно свернул с 1-й Красноармейской на Измайловский проспект и не спеша направился в сторону Варшавского вокзала, имея и нестужа заветную цель; утром еще сам себе пообещал Вадик одну поблажку: если сдаст сопромат на отлично, как надеется, то дойти пешком до недавно открытого гастронома «Стрела» и побаловать себя полукилограммом отличных молочных сосисок, о которых мечталось с самой стипендии. Этот деликатес он редко позволял себе, потому что знал, что, увидев соблазнительный серый сверток с шестью розовыми, как девичий румянец, стройными и ладными сосисками, он не сможет растянуть удовольствие на три дня, как требует того здравый смысл, а сварит их все сразу и немедленно съест с хлебом – да еще и мало покажется... А потом черный хлеб, кефир и чай снова станут его судьбой до следующей стипендии.

Впрочем, столовая их института для особо голодных одиноких студентов суровой жизни милосердно предоставляла замечательную возможность ни при каких обстоятельствах не умереть с голоду – даже когда с Большой Подъяческой на занятия приходилось уже ходить пешком, и денег не было совсем нисколько. Какой-то неизвестный благодетель завел гуманный порядок: в столовой недалеко от раздачи стояли огромные блестящие чаны, полные горячего чая с сахаром, и пить его можно было от пуза, заедая даровым черным хлебом, в изобилии наваленным на четырех больших подносах, стоявших у кассы. А еще имелась неизменная квашеная капуста с пунцовыми бусинками клюквы – в чуть помятом алюминиевом тазу, прямо рядом с хлебными подносами – и ее тоже разрешалось брать сколько угодно, не платя ни

копейки. Так что Вадик бесплатно наедался этой пищей утром и днем, поэтому голодом мучился не совсем уж фатально, и в голове у него не шумело, как это случалось порой с его соседом по квартире Толькой, студентом-медиком, у которого в институте даже кусочек черняшечки – и тот стоил денег. Отчаявшись, Толька нанялся санитаром в морг при родной институтской клинике – и вскоре с учебы полетел за пьянку и рок-н-ролл, которым его обучили в морге же, а потом и вовсе превратился в презренного стилиста, ходить стал в клетчатом пиджаке с огромными ватными плечами и смешных брюках-«дудочках», да вдобавок начесывал себе упадочный «кок», что делало его похожим на глупого циркового пуделя. Старательный студент Вадик с ним не водился, и соседи по маленькой коммунальной квартире друг друга демонстративно презирали...

С комнатой этой Вадику повезло. Она перешла в его безраздельное пользование после недавней смерти тети Кати, у которой после печального возвращения в Ленинград в сорок четвертом, пришлось ему жить и воспитываться.

...Когда закончилась необременительная оккупация, Вадик рвался в Ленинград к отцу, истово веря, что тот цел и невредим – но бабушка не допустила самовольного путешествия внука – еще раз, по старой памяти, пройдясь ему по спине и ногам собачьей цепью и пригрозив на эту самую цепь посадить, коли дурь не выскочит.

- Если жив отец – сам за тобой приедет, – скупо пояснила она. – А нет, так пропадешь один, и следов не найдут.

Но отец так никогда и не приехал, зато однажды, вернувшись с озерного купанья, Вадик (впрочем, носивший тогда еще свое первое, постыдное имя) обнаружил в горнице незнакомую застенчивую женщину в легкомысленном платье с прямыми плечиками и волосами, явно ненатурально вившимися надо лбом.

«Отец бы такую вертихвостку в дом не пустил», – хмуро заметил про себя Вадик, – но тут же выяснилось, что это именно сестра отца – младшая, им вроде как проклятая и от семьи отлученная. Что-то неверно замаячило в памяти у Вадика, будто слышанное и почти незамеченное – похоже, отец незадолго до последних предвоенных каникул вечером рассказывал матери у круглого стола, за шкафом:

- Я ей так и сказал: на порог не показывайся, память родителей не позорь.

- Может, отец, уж очень строго и не надо было? Все-таки родная кровь... – робко возразила мама.

- Родная, не родная – а раз ублюдка принесла, то с глаз долой.

- Так ведь умерла ее девочка-то... Тяжело Кате сейчас, одиноко... Кроме нас, никого нет – тоже понять можно. А ты гонишь...

- Раньше должна была думать. И не я ее гоню, а сама она себя прогнала. Говорить, мать, не о чем. Пойди, лучше, чайник подогрей.

Так вот, стало быть, о ком шла речь тогда у отца с матерью! Теперь уж Вадик не ребенком был, что к чему понимать научился: гуляющая, значит, эта тетя Катя, оттого отец ее в дом и не пускал – чтоб ни мать, ни его, маленького, не запачкала. А она сама прискакала – чего ей от него, Вадима, надо? Раз отец ее знать не хочет, то и ему ни к чему... И только когда схлынули острые эти мысли, вдруг в одну секунду тошно стало на сердце и холодно: ведь если не Сам приехал, а эта... Значит... Шагнул к ней твердо, спросил самым мужским из своих в последнее время размножившихся голосов:

- Вас Сам прислал?

- Кто? – не поняла она.

- Отец мой вас прислать не мог, – с достоинством пояснил Вадик.

- Конечно, я сама по себе приехала... – опустила глаза тетя Катя. – За тобой...

- Вот и собирайся теперь в свой Ленинград, – подала голос баба Зина. – В школу тебе нужно, совсем одичал...

- С этой? – как мог, презрительно скривил губы Вадик. – Отец против будет.

- Аденька, мальчик... – совсем не обидевшись, почти прошептала тетя Катя. – Нет больше папы...

В первую секунду он даже не понял о ком речь – настолько это телячье слово «папа» не ассоциировалось у него с его отцом – Самим, почти великим человеком – а потом неожиданно что-то оборвалось внутри, и невесть отчего в груди стало вдруг жарко-жарко.

В блокаду его отец, крупный мускулистый мужчина, остро нуждавшийся в большом количестве полноценной белковой пищи, слег очень быстро, и к январю сорок второго уже перестал вставать. Катя разыскала брата в надежде, что вдвоем будет легче выжить – но оказалось, что спасти его уже нельзя, можно только продлить его страшные мучения. Он завишел настолько, что волосы и одежда шевелились от паразитов, но ни переодеться, ни побриться не пожелал: все, кроме еды, утратило для него смысл и цену. Катя даже не понимала точно – узнавал ли несчастный сестру, потому что, стоило ей появиться в комнате, как он выпрастывал костистую руку с длинными коричневыми ногтями из-под своего зловонного тряпья и голосом, нисколько не похожим на всегдашний спокойный и уверенный голос Катиного старшего брата, завывал: «Дава-ай! Дава-ай!» – а если случайно дать было нечего, то начинал ругаться чудовищными словами – причем настолько страшными, что те, которые пишут на заборах, казались Кате гулением грудничка. Она работала медсестрой в госпитале, поэтому смерть ей грозила в осажденном городе любая – но не голодная: скудный паек полагался на всех раненых без исключения, даже на тех, кто утром умер или уже неделю лежал без сознания, а поскольку в госпитале таких всегда было предостаточно, то лишние пайки по справедливости делил между собой медперсонал... Катя рада была хоть чем-то помочь дошедшему до предела брату, она и думать забыла о его проклятии, помнила только, как в детстве ходила с ним купаться у Сфинксов, и он однажды вытащил ее из быстрой невской волны, когда девочка незаметно отплыла дальше положенного. Но однажды, вернувшись к брату после ночного дежурства, она увидела... Вернее, не увидела дома. В него случилось прямое попадание как минимум тонной бомбы, так что не осталось даже стен и толковых развалин – дом как будто превратился в гору мелкого щебня и пыли...

В Ленинграде тетя Катя привела ошеломленного Вадика к себе домой, в маленькую квартирку на Большой Подъяческой, где, кроме ее комнаты, была еще только одна, занятая невесть как выжившей старушенцией, похоронившей в блокаду всех, кроме внука Толика, Вадика ровесника. Когда пришла неизбежная пора записывать племянника в школу, тетя первая предложила ему узаконить давно уж самовольно приставленную к его имени букву «В» и записала, как звала по его просьбе, – Вадиком, впоследствии доросшим до вполне благозвучного Вадима, – а документов в послевоенном городе у детей не спрашивали, довольствовались устным свидетельством взрослых...

Так, Вадиком, он и закончил девятилетку – на четыре года позже, чем следовало, и машиностроительный техникум – где неожиданно блеснул незаурядными способностями. Скорей всего, рассуждала тетя Катя, это произошло оттого, что Вадик оказался на целых три года старше своих сокурсников, многие из которых учебу в школе даже в блокаду не прерывали, – а, следовательно, и мозги его были взрослее и восприимчивее...

Его как раз приняли в Военмех, когда тетя Катя заболела неизвестной изнурительной болезнью: у нее «пекло где-то внутри», и все труднее ей было вставать по утрам и ходить даже просто по комнате. Анализы показывали, что тетя Катя – злостная симулянтка, и она поэтому стыдилась жаловаться племяннику на прозрачную болезнь, при которой даже бюллетеня не давали... Вадик не беспокоился: эта непонятная и чужая ему женщина мать заменить не смогла: ласка ее всегда была неуклюжей, о чем говорить с племянником, она не знала, часто приходила с работы гораздо позже, чем должна была – и Вадик брезгливо догадывался, что кто-то, должно быть «есть» у тети Кати, а значит, отец гнушался ею не зря...

Однажды утром она не разбудила племянника, как обычно, приглашая завтракать на уютную маленькую кухню: он, проснувшись самостоятельно, обнаружил, что безбожно проспал, и обозлился на тетку, беспечно дрыхнувшую за ширмой, что через нее влетит ему теперь от сурового препода по диаметру. Всклопоченный и злой, в майке и трусах, отодвинул Вадик ширму одним раздраженным движением, и увидел, что тетя Катя лежит поперек своей узенькой кушетки, свесив запрокинутую голову, а глаза ее тускло смотрят на корявую картину, косо висевшую на стене...

После этого жизнь Вадика драматически усложнилась. До тех пор он невозмутимо питался на Катины медсестринские деньги, ею же приготовленной пищей, ничуть не беспокоясь о том, трудно ли ей содержать двоих: инстинктивно он отчасти перенял отцовское к ней пренебрежение, как к падшей, и подсознательно считал, что братнино недовольство она должна теперь как бы заглаживать, искупать, заботясь о нем, его сыне. Она тоже так, наверное, думала, во всяком случае, никаких упреков Вадик от нее не слышал и был тем доволен. Теперь ему пришлось туго; он узнал, каково это – провожать в столовой взглядом сытого благополучного однокурсника, нагло несущего перед собой к столику поднос с виногретом, рассольником, биточками с картошкой и двумя порциями компота; что значит – довольствоваться на ночь одним стаканом кефира, закусывая его все тем же хлебом, запашиво утянутым днем из столовой, а просыпаться со слипшимися кишками и тоскливым знанием, что расклеить их он сможет не раньше, чем после первой двухчасовой лекции... Он понял теперь, каким лакомством могут оказаться простые сосиски, когда ешь их не чаще раза в месяц, да и то, если удастся сэкономить на чем-нибудь менее насыщенном...

Погруженный в эти невеселые мысли, Вадик и не заметил, как добрался до возжеленного гастронома. Пьянящий запах вкусной еды ударил ему в ноздри, наполнил рот сладкой слюной – и молодой человек устремился к колбасно-сосисочному прилавку, мысленно поедая без ненавистного хлеба все эти красно-розовые вкусности, дразнившие его своей заведомой недостижимостью... Он как раз протягивал продавщице чек, почти дрожа от нетерпения, когда прямо рядом с ним прозвенел знакомый радостный девичий голосок:

- Вадик! Вот здорово! А я вот тоже зашла ветчины купить!

Еще не оборачиваясь, он знал, что это одногруппница Надя, которой он, скорее всего, и обрадовался бы – но в другой раз, а сейчас она помешает его личному маленькому празднику – да еще и не пришлось бы как-нибудь с ней поделиться!

С большой неохотой Вадик повернулся к девушке – и оторопел. На какую-то сумасшедшую долю секунды ему почудилось вдруг, что перед ним его живая мать: тот же овал нежного застенчивого лица, так же скромно, без всяких «финтифлюшек» подобранные волосы, а главное – платье... Мгновением позже он сообразил, что платье – просто сшито из точно такой же довоенной материи – скромного ситчика, неопределенно темного, в светлую крапинку, из какого было платье его матери в тот зелено-желтый ветреный день, когда они ехали на грузовичке в ее последний отпуск, откуда ей так и не пришлось вернуться... Сразу вспомнил и второе ее платье того лета – посветлее, с каким-то ландышевым рисунком, и – неизбежно – домотканую бурую юбку, перед его взглядом цепляющуюся за ветви и коряги, уже довольно рваную – в день, который, казалось, прочно был позабыт...

Много, много лет уговаривал себя Вадик, убеждал изо всех сил, что в гибели партизан не его была вина, тринадцатилетнего перепуганного пацаненка, в полубреду пробормотавшего несколько роковых слов. Это баба Зина тогда, насмерть перепуганная за последнюю свою дочь, кинулась за подмогой к немцам – считала, глупая, что они добудут ее живой... А если поглубже душу копнуть, то там даже гнездились что-то вроде удовлетворения справедливым возмездием тем двоим, разночубым, чьи имена даже вспоминать не хотелось, потому что кровь его матери обагрила их безжалостные руки... За годы научился Вадик не думать, в безбрежном море души не обкатывать

острые камни детских воспоминаний; если являлись они вдруг непрошенными – то гнал немедленно, когда только начинало что-то нехорошее брезжить вдалеке, как в тоннеле – но все равно не избегал мгновенных ожогов прошлого: то мелькнет вдруг в толпе будто знакомый смоляной чуб, то старушка с ландышами у хлебного магазина встанет некстати, то у преподавателя не голос, а интонация мелькнет ну, прямо отцовская – хоть плачь... А теперь вот платье это Надькино... Она смотрела на него чуть странно, будто не понимая – круглыми своими, словно раз и навсегда чем-то испуганными светло-зелеными в пятнышках глазами. Он буркнул:

- Привет, – и повисла недоуменная пауза, за время которой Вадик все-таки успел схватить пакет со своими сосисками, уже какими-то не такими важными, как минуту назад.

- Презанимался ты что ли, Вадик? – обиженно спросила девушка, и ему показалось, что она проглотила первую букву его имени, так что резануло по ушам и сердцу.

- Сосиски вот покупаю, – зачем-то стал оправдываться он, исподлобья косясь на Надю.

Она вдруг рассмеялась:

- Слушай, да ты сегодня совсем не такой какой-то! Сопромат-то сдал?

- Да, на отлично... А ты? – выдавил Вадик.

- Провали-ила... – ничуть, вроде, и не расстроившись, протянула она. – И не пересдать мне, кажется... Неспособная я к наукам. Уйду, наверное. Лаборанткой работать хочу, у нас же, в институте. А там видно будет... Да и то сказать – сколько можно у мамы на шее сидеть. Здоровья у ней после блокады не много осталось, а папу нашего подо Мгой в сорок первом еще убило. Хватит маме на полторы ставки работать, я сама себя прокормить смогу...

Слушая ее беззаботную болтовню, Вадик немного воспрянул духом, и даже вдруг пробежала опасливой мышкой поперек сознания шальная мысль: может, и не придется вагоны разгружать, если жена работать станет – продержатся: она молодая, здоровьем вон, так и пышет, может и полторы ставки взять, а то и две; а он доучится спокойно, сыт будет, обихожен...

- Ва-адька, ну, ты точно перетрудился... И питаешься, похоже, плохо? Конечно, один ведь живешь, какое там питание... – она призадумалась на секунду и вдруг выпалила: – А хочешь, я тебе борщ сварю?

...Следующие три года жизни оказались у Вадика лучшими – это он даже через двадцать лет признавал и, когда остро хотелось, бывало, вспомнить о чем-то хорошем, почти безоблачном, то поворачивал мысленно во вторую половину пятидесятых – и всегда на сердце легчало, как бы ни каменело оно с годами, как бы ни сжималось...

Надя оказалась человеком трудолюбивым и благодарным: не ожидала, что так быстро судьба ее переменится на уважаемо-замужнюю, да еще и окажется она вдруг ни с того ни с сего хозяйкой почти что собственной жилплощади. Любила порассуждать за вечерним чаем с бубликами:

- За кого ни выйди – все равно бы пришлось в одной комнате со старшими жить: либо с моей матерью, либо, еще хуже, со свекровью и свекром... А какая это жизнь, когда каждый твой шаг на виду? Такого жениха, чтоб со своей комнатой – да разве ж сыщешь теперь, когда немец полгорода разбомбил, проклятый? Вот как повезло мне, Вадик, с тобой, суженый ты мой, ряженный! – и она лезла ни с того ни с сего обниматься, все норовя носом о щеку потереться или даже облюнявить невзначай.

Вадик увертывался:

- Отстань. Не люблю этого, ты же знаешь, – изо всех сил пытаюсь сделать голос уверенным и непререкаемым, как у отца, урезонивал он молодую жену.

Проявление телячьих нежностей – это единственное, чего терпеть не мог Вадик, потому что представить себе отца с матерью «лижущимися» казалось ему немислимим и гадким, и высокий идеал семейной жизни он, во что бы то ни стало, хотел сохранить незамутненным никакими вольностями. Но Надя как будто и не настаивала – тотчас руки с шеи его снимала и начинала, как ни в чем не бывало, грызть мягкий сладкий бублик, никакой ласки не требуя: боялась мужа прогневить – да и вообще место свое знала. Это место он ей с первого дня определил: за той же ширмой, на той же кушетке, где так некрасиво скончалась тетка – а когда жена было заупрямилась, говоря, что ее родители в одной кровати спали, он даже вздрогнул от отвращения: только представил на секунду теплое пахучее тело, сопящее рядом – и чуть не вытошнило. Отец такого не допускал, между кроватями тумбочку держали...

За ширму эту он, правда, иногда наведывался – особенно, когда сосиски и тушенка на столе стали обычным блюдом, а вместе с ними прибыла и докучливая мужская потребность. Когда одолевало его, случалось, ночью на диване томное, ноющее беспокойство, а перед закрытыми глазами начинало вертеться непотребное, то он замирал и ждал нетерпеливо, когда в темноте раздастся Надино ровное сонное дыхание – и тогда, сам себя презирая, на цыпочках перебежал к ней на кровать, воровато забирался под одеяло, каждый раз минуточку медлил, собираясь с духом, а потом быстро разворачивал спящую к себе, приспускал кальсоны и наваливался, не обращая внимания на ее протестующее мычание. Дело свое он старался справить поскорее, потому что каждый раз казалось ему, что совершает он нечто постыдное и даже мерзкое, чего при свете делать невозможно, потому что после такого и в глаза человеку не взглянешь... Завершив свое ночное скользкое деяние, он скатывался с жены и, чувствуя к ней что-то сродни брезгливости, на носках возвращался в свою постель – а если Надя вдруг тревожно окликала, то не отзывался, притворяясь, что сражен мгновенным сном – впрочем, сон в такие ночи действительно приходил непроглядный – словно специально для того, чтобы утром казалось, что вчера это был не он, Вадим, уважавший себя и ценивший, а кто-то другой, маленький, грязный и презренный.

Поначалу Надя пыталась лезть к мужу по вечерам с бабьими разговорами за жизнь, что-то рассказывать о своем детстве, какой-то рыжей подружке, пропавшей по пути в эвакуацию, о детском своем ужасе перед артобстрелами... Но Вадик таких разговоров не поддерживал, потому что инстинктивно знал, что позволить он увлечь себя в волну воспоминаний – и не выдержит, вывалит ей все свое сомнительное подполье – и Адьку, и немцев, и Леву с Костей, и пятьдесят расстрелянных партизан... Иногда хотелось, чтоб душа живая разделила с ним его глубоко загнанную муку, пожалела, человеческими словами сказала, что не виноват он, зря казнится и сомневается... Но не шли слова с языка, и, со временем научившись почти точно копировать отцовский веский тон, Вадик обрезал Надины несмелые излияния:

- Хватит языком чесать. Делом бы занялась каким.

Его радовало, что она не обижается, а ценит свое замужнее состояние, не рискует им, вступая с мужем в бесполезные пререкания, а если и говорит, то на темы простые, нейтральные, что душу не бередят и мысли тяжелые не нагоняют – совсем, как мать общалась с отцом. Надя ровно и неизменно доброжелательно расспрашивала его о делах в институте, о бывших своих однокурсниках, преподавателях, интересовалась, вкусно ли ему было за обедом, и что приготовить на завтрак, проверяла, не отлетела ли пуговица на рубашке, достаточно ли блестят ботинки и целы ли стрелки на брюках. Если он делал ей замечание или она сама замечала досадный непорядок в хозяйстве – тотчас же с пчелиным усердием исправляла его до идеальности. Иногда все-таки пыталась навязать мужу что-то из своих дневных впечатлений или суетных общих мыслей – но этого Вадик не выносил, всегда пресекая родительским: «Не умничай. Не люблю», – и она замолкала, прекрасно осознавая его, мужнино, превосходство. Подсознательно Вадик не хотел душевного сближения, чуя, что заинтересуется он

случайно Надиной душой или покажи ей краешек собственной – и уже как бы утратит право жить только своей строгой и правильной жизнью, учебой, наукой – и станет жене чем-то обязан. Не хотелось. Да и Сам бы не одобрил – это всегда в голове держал Вадик.

Одно время совсем уж ему показалось, что отец как бы заново родился в нем, своим сыне – такими родными, будто и не заимствованными, стали слова, жесты, повадка Вадика – не хватало только сына теперь, чтоб звал отцом, а не слюнявым папой, чтоб уважал и восхищался им вместе с матерью.

Все слагалось одно к одному, словно по заказу: не прошло и месяца, с тех пор, как получил Вадик свой красный диплом, а вместе с ним и инженерское место в секретном военном КБ, а Надя вдруг, краснея, объявила ему за бубликами, что ждет ребенка.

«Сын!» – трепыхнулось в нем. Ему еще не исполнилось и тридцати, а жизнь, поначалу так немилостиво с мальчишкой обошедшаяся, теперь, похоже, молодому мужчине собиралась дать полный реванш, исполнив все тайно и явно им задуманное...

Во время беременности Вадик жену не баловал и никаких потачек ее прихотям не позволял: дело это женское, обыкновенное, пусть не привыкает думать, что совершает что-то из ряда вон выходящее, а на здоровье жалуется врачам, не мужу – и ей пользы большие, и ему спокойнее. Перед концом беременности Надя, правда, зарываться стала и, удила закусив, заявила вдруг на ровном месте, что намерена перед декретным отпуском уже на две ставки не работать, а на одной досидеть – мол, тяжело ей. Пришлось строго на вид поставить:

- В деревне, во время оккупации, на сенокосе видел: косила одна, косила, да вдруг под куст ушла куда-то с подругой. А через четверть часа уже ребенок запищал: родила. Завернула она его в платок, положила под тот же куст, в рот что-то, чтоб сосал, сунула, юбку подоткнула – и опять косить. И получаса не пропустила. А ты, я вижу, велика барыня стала: отпуск дают декретный, оплаченный – а тебе мало. Ты мне эти барские замашки брось, поняла? Тяжело ей... Чтоб не слышал больше.

Одумалась, к счастью, перечить не стала, а то бы четверть семейного бюджета враз долой – да перед рождением сына! В роддом Надю увезли, когда Вадик был на работе, сосед сказал – Толик с «коком» – он же и номер роддома записал. Но Вадик справляться о роженице не торопился: надо с гарантией позвонить, когда уже точно родит, чтоб там в справочном не подумали, что очередной сумасшедший папаша звонками одолевает... Но они позвонили сами.

Сначала он вообще не сообразил, о какой Надежде Степановне идет речь и при чем здесь какая-то здоровая девочка странно маленького роста, всего пятьдесят один сантиметр – карлица, что ли; что значит странное слово «декомпенсация» и какой может быть у сердца «порог». Они еще сбивчиво лепетали нечто невнятное про чье-то тело, которое предстоит забрать из морга – и Вадика даже почудилось на секунду, что это звонят беспутному Толику с места работы...

Наверное, в противовес родительской фамилии, не получают у меня произведения, служащие к развлечению почтеннейшей публики – все норовлю скатиться в трагедию, чтобы читатель опечалился и потом долго ругал меня за свое испорченное настроение. Поэтому кажется мне, что в этой книге я избрала все-таки самый разумный способ чередования относительно мирных рассказов о давно умерших людях – с главами о моем новом герое, все больше принимающем очертания законченной сволочи. А чего же хотеть от человека, на которого пала кровь такого количества народу, пусть и не виноват был в этом непутевый мой Адька... Но чтобы читателя совсем уж вконец не расстроить, я перейду снова к своим альбомным фотографиям, и начну не с черно-белых, а с одной чуть коричневатой, как делали в старину фотографы для придания карточке особого благородства – и потому

ГЛАВА ТРЕТЬЯ, О ПЕРСОНАЖАХ С РАЗНЫХ ФОТОГРАФИЙ И ТЕХ,

О КОМ НЕЛЬЗЯ НЕ УПОМЯНУТЬ В СВЯЗИ С НИМИ

Никто еще не знал, что эта пока невнятная война со временем станет называться Первой мировой. Пока на фронтах не братались с неприятелем, а надеялись победить его за несколько месяцев – да и сам неприятель еще не определился как следует. А многие простые люди вообще не понимали, почему за смерть никому не известного наследника никому не нужного в России престола, которого убили в каком-то сарае, должны заплатить жизнью миллионы русских – в этой войне и той кровавой бане, которая за ней последовала. Полные патриотизма интеллигенты надевали поручичьи погоны, а если таковых по рангу не полагалось – то форму вольноопределяющегося, фотографировались на память с семьей и весело отбывали воевать.

Точно такая семья, снявшаяся на память перед проводами главы на германскую войну, смотрит на меня каждый день с низкого шифоньера, с фотографии в чудной старинной рамке темного дерева. «1914г., город Зарайск», – гласит надпись на обратной стороне. Год теперь известен всему миру, а вот город – очень немногим. Теперешнее поколение не знает вовсе, а мое – едва помнит имя Евпраксия. Оно настолько забыто, что даже мой компьютер, напечатав, подчеркнул его красной чертой – как ошибку или несуществующее слово. Но такая женщина, княгиня, жила в начале тринадцатого века именно там, в городке, неизвестно как в ту пору называвшемся, что стоит на реке с вкусным именем Осетр. Она была женой одного из сыновей великого князя Рязанского, именем Федор, и имела от него годовалого ребенка – Юрия, если мне не изменяет память. Когда Батый осадил их город, то, обманом выманив князя Федора на переговоры, пообещал города не грабить и народ не убивать – с одним лишь маленьким условием: привести к нему на ночь княгиню Евпраксию, об удивительной красоте которой шла слава по всей округе. Я до сих пор не понимаю, почему князь отказался: в те дикие времена женщина никакой ценностью не обладала, являясь попросту человеческой самкой, которую всегда можно было без особого ущерба заменить на другую. Скорей всего, князь был человеком гордым и не мог снести подобного унижения от узкоглазого и вонючего нехристя – и потому мужественно нахамил ему, не позаботившись даже о собственной жизни, которую немедленно после своей гордой отповеди потерял – как и вся его храбрая, но очень немногочисленная дружина. Город стал после этого легкой добычей варваров, а Батый ворвался в терем княгини, надо полагать, на ходу развязывая шаровары. Она оказалась не менее гордой, чем муж (а может, просто догадалась, что одним Батыем дело не ограничится), и бросилась вниз из окна терема (по другой версии – с церковной колокольни), держа на руках годовалого сынишку, – и «заразился» до смерти. Город, сожженный Батыем до тла, через несколько лет отстроили и переименовали по этому поводу в Зарайск. Поэтическую историю Евпраксии я обойти в своем творчестве не смогла и, предусмотрительно переименовав главных героев и подарив им ряд друзей и родственников, запустила всю эту историю в виде лирического отступления в свой одиннадцатилетней давности роман «Дерево на крыше». Зарайск именовался там Любославлем, но я мысленно не связывала ни то, ни другое название с городом на реке Осетре, откуда родом мои предки.

На фотографии стоит у кресла стройная темноволосая дама с несколько шальными глазами, в корсете и светлом летнем платье, а в кресле расположился бравый поручик, не снявший почему-то фуражку, – в форме и великолепных высоких хромовых сапогах. Рядом с ними – мальчик лет четырех в традиционной матроске, введенной в моду Царской Семьей, но на Наследника совсем не похожий. Это родители и старший брат моей бабушки Тамары, но ее самой на снимке нет по той причине, что родиться ей предстояло только через два года.

Брата звали Валентин, и он не умер в детстве, пережил потрясения революции, репрессии, Отечественную войну – и далее след его теряется по причине некоторых словесных предрассудков младшенькой сестренки Тамары. Она сочла, будучи взрослой,

что недопустимо Валентину было жениться на простой девушке, и принимала их демонстративно неохотно, а потом и вовсе прекратила всякие отношения с семьей брата, увидев, что, женившись на простолюдинке, непозволительно «опростился» и он сам, а потому якобы утратил способность поддерживать общий «высокий штиль» внутрисемейных отношений. А между тем, любовь-то у Валентина была особенная, редкая, в наше скорбное время невозможная. Накануне свадьбы его невеста попала под трамвай – такая вот трагедия – и ей отрезало обе ноги. Подумайте только – обеих ног лишилась молодая красивая девушка. Но свадьба все равно состоялась через год, хотя невеста ковыляла уже на двух протезах. Валентин, по всей видимости, любил по-настоящему – и пара, нажив в согласии и благополучии двоих детей, так никогда в жизни и не рассталась... Желая проверить современные нравы, я нескольким испытуемым рассказала трогательную историю Валентина и его теперь безымянной жены. Проверку на вшивость не прошел никто: общее мнение, выраженное по-разному в зависимости от интеллектуального уровня слушателей, оказалось трагикомично тождественным: «Что он, дурак, что ли, совсем – на безногой жениться?» – к этому свелась реакция моих современников обоего пола. Дураком-то он уж точно не был...

Его и Тамарину мать, мою прабабку, звали красивым именем Капитолина (его тоже не оказалось в плоской памяти моего навороченного компьютера). Темные волосы и шальной взгляд были у нее генетическими, ибо родилась она от русской матери и отца-цыгана. У оседлого цыгана Алексея, коннозаводчика, и его жены Анны было несколько дочерей, причудливо унаследовавших цветность от родителей: среди них были темные шатенки со светлыми глазами и пепельные блондинки с глазами цвета спелых маслин – моя прабабушка оказалась в первой группе. Алексею уже пожилым человеком «посчастливилось» дожить до революции, которая, одну половину его лошадей перестреляв, а другую отправив в войско Буденного, самого «купчину-эксплуататора» сочла своим долгом медленно замучить до смерти. Его арестовали без всякой вины, просто как представителя обширного класса побежденных – и продержали в холодном сыром тюремном подвале несколько месяцев. Жена его, Анна, сумела выкупить мужа у тюремщиков – тут на сцене у нас появляется некая первая «наволочка с драгоценностями», потому что впоследствии всплывет еще и вторая. Горемыку выпустили умирать домой, что он вскоре и сделал: по выходе из тюрьмы каждая его нога, как рассказывала бабушка Тамара, была от отеков толще туловища...

Жена Алексея, Анна, как я считаю, на небесах предстоит Господу молитвенницей (такого слова тоже компьютер не знает) за наш многогрешный род. Женщина небедная, имевшая возможность позволить себе самые разные увеселительные путешествия, она предпочла совершить всего два – пешком. В Святую Землю со странниками. Что собой представляло в те медленные годы такое путешествие, я даже представить не берусь. Отлично помню два комфортных «Боинга», доставивших меня в Израиль и обратно, четырехзвездочные отели в Иерусалиме и Назарете, автобус с кондиционером и затемненными стеклами, возивший умаявшихся от впечатлений православных паломников от святыни до святыни – да еще при этом мы роптали, что в ресторане кормят не так изысканно, как хотелось бы, а на гору Фавор гонят пешком, да еще в ночи... Анна своими ногами прошла путь от Зарайска до Иерусалима – туда и обратно, да еще ей показалось мало, и она этот путь время спустя повторила. Больше я ничего об Анне не знаю, но и того знания, что у меня есть, по-моему, более чем достаточно.

Из тех троих, что на фотографии, я помню живой (как сквозь белый дым) Капитолину, то есть бабу Капу, в моем московском раннем детстве – она умерла, когда мне было лет пять-шесть. Не все пожилые люди имеют такие обильные морщины, какие были у бабы Капы – например, у тети Вали в девяносто два года их почти совсем не было. Лицо Каптолины стало просто как шкурка престарелого шарпея – что меня, маленькую, даже пугало и отталкивало. Держалась она на этом свете крепко. Даже когда мозг совсем отказал и угасли почти все функции несокрушимого тела, сердце неумолимо

отстукивало свой ритм, как неумный советский будильник – и врач, приехавший констатировать смерть, часа три вынужден был провести у смертного ложа, считая никак не желавший стихнуть пульс уже едва ли не ледяного трупа...

В молодости она невинно покурлесила. В отсутствие что-то завоевавшегося мужа, любила, сбросив детей на няньку, на извозчике гонять по Зарайску с родными душе и крови цыганами и кутить в ресторанах – ее осуждало общество, пока не пришла революция и рестораны не позакрывались, а цыгане не откочевали в более благополучные веси. Яркой личностью Капитолине стать не пришлось, образования особого она не получила и интеллектом не блистала, в зрелом возрасте став обузой своей умной дочери Тамаре – особенно во время эвакуационных скитаний.

Единственная ее достоверная фраза весьма показательна: «Как Сергей мой помрет – в пляс пуцусь», – это о своем муже, поручике с фотографии.

У него там, что называется, «хорошее лицо» – человека честного и много думающего – и действительно, мысли его частенько выписывали уж чересчур крутые виражи, а честность однажды дошла до смертельно опасного предела.

Из Царской армии Сергей Коршунов закономерно перекочевал в Белую Добровольческую – и был бы, вероятно, либо убит в боях с красными, либо поплыл на каком-нибудь последнем, отстреливаемомся баркасе по Черному – или Японскому – морю в безвозвратную заморскую даль. Как бы не так. Он активно *думал*, мой прадед, и возможностей ему для этого было дано предостаточно. Сначала, когда попал в плен к красным, и они, поленившись расстрелять сразу или пожелав допросить с утра, на свежую голову, посадили его попросту в яму, за неимением подходящего сооружения для содержания пленных под арестом. Вокруг ямы ходил алчный часовой с винтовкой. Этот его порок спас жизнь несчастному, уже приготовившемуся к смерти арестанту: красноармеец прельстился большим нательным крестом на шее сидельца – «барским» распятием червонного золота и с рубинами. Под покровом ночи состоялась взаимовыгодная сделка: прадедуска успел хорошенько подумать и прийти к выводу, что если выживет, то крест в будущем ему сгодится и оловянный, а если наутро расстреляют – то не потребуется никакой. Крест он благоразумно отдал и взамен был выпущен на волю – а как часовой потом оправдывался перед начальством, в истории не сохранилось, потому что Сергей к тому времени оказался уже в дальнем селе, тоже стонавшем под красными. Какая-то добросердечная бабуля пожалела несчастного белого офицера и спрятала у себя в подполе – надолго, с кормежкой, так что времени поразмышлять у добровольно заключенного вновь оказалось вдоволь. Он вышел оттуда с ревматизмом (впоследствии излеченным), открывшимся процессом в легких (тоже успешно закрытым медициной) – и парадоксальным решением в голове: вступить в РСДРП(б). Задуманное он скоро выполнил – и от всего честного сердца принялся служить новой партии, быстро переименовавшейся, облизнувшейся и – раскрывшей всеядную клыкастую пасть...

Этого мой прадедуска Сергей не снес. Он опять принялся думать – и думал лет восемнадцать, как раз до тридцать седьмого года, когда прозорливость победившего в отдельно взятой стране социализма стала очевидна – как и его людоедская сущность. В России победил социализм, а в Сергее – честность и большевистская принципиальность: его заявление, поданное в партийную ячейку по месту работы, гласило нечто абсолютно невероятное: «Прошу исключить меня из членов ВКП(б) в связи с несогласием с ее генеральной линией». При этом нелишне упомянуть, что указанная ячейка находилась непосредственно в отделении милиции, начальником которого Сергей в то время и служил... Я горжусь поручиком с фотографии, на ней еще не знающим, какие пятнадцать слов ему придется в жизни написать. Через Вечность – спасибо, что ты написал их, прадедуска: ты оказался, наверное, единственным, совершившим в Советской России подвиг *такой* честности.

Думаете, на следующий день Сергея слизало с лица планеты? Ничего подобного: его заявление в партбюро уважили, а «органы», занятые более важными делами и недостатка

в клиентах не ощущавшие, вообще проигнорировали эту странную эскападу. Сергей пережил Великую Отечественную без особых приключений и умер своей смертью в Москве, в конце пятидесятых, ничуть горя от ума своего не хлебнув...

Вот такими корнями тянула соки из родной земли моя бабушка Тамара, и, поверьте мне, ничуть не менее интересные люди произвели на свет ее любимого мужа, моего дедушку Дмитрия.

С той стороны тоже сохранился богатый по тем временам фотоархив, и фотографии в нем настолько отчетливы, что я даже однажды установила по одной из них одинаковость очерка руки шестилетнего Димы и своего новорожденного тогда сына.

Может показаться совпадением (которых на самом деле не бывает) что лица этих предков сохранились для меня тоже на фотографиях одного лета Первой мировой. Пачка дачных фотографий – люди проводят лето в своем имении, деревне Людиново, – с детьми, няней, огромной черно-белой собакой, и приходится долго разбирать, кто есть кто. Явно опознаваем мой прадед Владимир, отец дедушки Дмитрия – потому что одет в форму вольноопределяющегося, смотрит очень браво, и усы нафабрены. Жить ему остается лет двадцать – так что детей своих он еще успеет увидеть взрослыми и налюбоваться на победивший социализм – тоже. Его арестуют в начале тридцатых, когда для того, чтобы получить реально большой срок, нужно было все-таки в чем-нибудь призрачном провиниться – Владимира же просто сошлют, как вредный элемент, а местом ссылки назначат Оптину Пустынь... Правда, к тому времени монастыри там уже разграбят, а все святые Оптинские старцы – кто умрет, а кто отправится еще дальше... Кроме этих фотографий, от прадеда останется только справка о реабилитации, выданная в 1956 году, где с традиционной формулировкой «...за отсутствием события преступления...» он будет полностью реабилитирован – посмертно, потому что благодатным воздухом Оптиной успеет подышать только один год, и в ее же святой земле упокоится... Его характер и привычки, любви и трагедии – все это навсегда останется для меня за черно-белыми кадрами – и я смогу лишь гадать и домысливать о его жизни по разным мелким черточкам чужих воспоминаний.

Например, я предполагаю, что революция самым грубым и отвратительным образом вторглась в его личную жизнь и сделала из нее жестокую карикатуру...

На летних карточках лихого вольноопределяющегося в имении окружает цветник дам – все в белых блузках и темных юбках, прямо по-чеховски. Это и есть четыре родных сестры – его законная жена Ольга, мать троих детей, и три незамужние девушки (Анна, Варвара и Евстолия), что-то подозрительно тесно лепящиеся к зятю... Одна из них (Анна?) страдала какими-то чудовищными, никакому лечению не поддававшимися головными болями – такими, что во время приступов распускала волосы и билась головой о стенку: вроде бы, эта напасть приключилась с ней после известия о гибели жениха на той, на германской... Ее ждет голодное безумие и смерть – и об этом придется вспомнить позже подробнее. Зато вторая, по имени Варвара, собой недурная и, как будто, неглупая, останется старой девой по непонятной причине – и еще двадцать лет будет портить кровь родной сестре Ольге не хуже самой госпожи Революции – и как будто бы с ней заодно.

Революция, само собой, все отнимет, имение в Людиново сравняет с землей, а барскую московскую квартиру в Москве уплотнит до неузнаваемости. Семье Павловых – Владимиру, его жене Ольге и их троем детям от щедрот выделяют *только одну комнату*. Но как могло случиться, что Ольгина сестра, имея другую фамилию, оказалась прописанной в ней же, этой единственной комнате, – и всю жизнь, до самой ссылки Владимира, имела возможность не только быть добровольной нянькой сестриним детям – но и постоянной свидетельницей (и, скорей всего, вынужденной подслушивательницей) чужой семейной и супружеской жизни? Неужели совсем не было у нее возможности поселиться отдельно – и не служить орудием постоянного морального издевательства над сестрой и ее мужем?

А уж ему-то какво приходилось, бедному, могу себе представить! Вернее – не могу: как можно было видеть влюбленную в себя стареющую девушку, принципиально не стремящуюся замуж и провожающую предмет обожания странным туманным взглядом – в одной комнате с собой и женой круглые сутки – годами, десятилетиями – и эту женщину не убить или не впасть с ней в грех. А что испытывала постоянно жившая в таком нечеловеческом напряжении Ольга – ежедневно и еженощно раздираемая сомнениями, подозрениями, соблазнами?! В такое дикое, противоестественное положение могла поставить людей только революция, показав таким образом не только хищную харю с капающей с клыков кровью, но и глумливое похотное рыло, со срамной усмешкой на сальных губах!

Еще одна сестра Ольги с редчайшим именем Евстолия, которое, помню, в детстве поражало меня своим неземным звучанием – но лицо ее на одной из карточек почти засвечено. В московской квартире сохранился набор столового серебра с причудливым вензелем на черенках, где витиевато переплетаются буквы «Е» и «В»: по мужу, купцу какой-то гильдии, владельцу ювелирного магазина, она была Ворониной. Судьба ее мне неизвестна совсем: вот так проживешь жизнь – и останутся от тебя серебряные ложки; если имя необычное, то его кто-то, возможно, припомнит, с удовольствием обкатывая на языке, и удивится: какие имена в прежнее время давали!

В ссылку Ольга, не поколебавшись ни секунды, отправилась вслед за мужем: дети к тому времени выросли, а Варвара как жила за своей ширмой – так там и осталась: не было у нее права последовать за всю жизнь безнадежно любимым человеком (или тайным любовником – этого не узнать), и последний акт трагедии разыгрался без ее бдительного участия: очень надеюсь, что, оставшись, наконец, одни в какой-нибудь убогой комнатенке в Оптиной Пустыни, супруги успели объясниться перед земным расставанием – с тем, чтобы ничто потом не омрачило вечной встречи...

По молодым фотографиям Ольги – поздних у меня нет – уже прекрасно и безошибочно можно определить, что это был за человек. Она имела одно из таких лиц, на которых написан характер, и даже особого навыка не требуется, чтобы прочесть его, как школьную карту.

В годы Первой мировой мы видим строгую даму – несомненно, справедливую и благородную. Это, конечно, Личность: тут и особая посадка головы, и властный, чуть надменный взгляд, от которого, скорей всего, хотелось съезжиться, и стальная, негибкая воля в самой позе – совершенно естественной, не нарочитой. Темные волосы и пронзительные (голубые? – наверное, да – ведь сын ее Дмитрий от кого-то же их унаследовал) умные глаза. Даже в униженном, ущемленном-уплотненном положении она невозмутимо сохранила повадки и манеры старой московской барыни – ничем не поступилась, даже не собиралась. Она относилась к теперь уже полностью вымершей породе господ, которые были требовательны к себе и собственным детям – но исключительно благожелательны, добры и милосердны к прислуге и прочему простому трудовому люду. Это подтверждается тем фактом, что Ольгина горничная и после кровавого передела не оставила свою госпожу – и, получив ордер на комнату в ее же квартире как полноправная жилища, она до смерти добровольно прислуживала своей доброй барыне – уже почти бесплатно. С ней жил и муж, нанявшийся в жилконтору дворником, но тоже неизменно преданный развенчанным господам и по-прежнему исправно выполнявший для них тяжелую работу по топке печи, натирке паркета и прочему, требовавшему приложения умелых мастеровых рук. Ольга сохранила львиную долю фамильных драгоценностей – и тут, наконец, туманное явление второй драгоценной наволочки. Будто бы Ольга с Варварой сразу после революции набили ее наименее ценными, но тяжелыми предметами и добровольно отнесли в ГПУ, якобы как свой взнос в справедливое рабочее дело. После этого они, вроде бы, ухитрились вырвать у комиссаров бумагу о своей благонадежности – что оградило в дальнейшем семью от большевистских грабежей, носивших гордое и непонятное имя «экспроприация». Моя мама из

собственного детства, когда приходила гостить к «бабе Оле», в честь которой и была названа, запомнила, прежде всего, хрупкие благородные сервизы – уникальные, сделанные на заказ на Кузнецовской фарфоровой фабрике – и фарфор был так непредставимо тонок, что, разглядывая любую чашку на свет, невозможно было увидеть ее доньшко... Закономерно вытекают из этого и чаепития. Ольга, истинная москвичка, чай могла пить, естественно, только из самовара – разумеется, настоящего, дедовского, и воспринимала этот напиток не иначе, как кипящее-горячим. Она обязательно пила его булькающим, только-только налитым, и, вдобавок, предварительно многократно ошпаривала кипятком чашку, иначе чай ей казался «ледяным». За эту привычку она поплатилась кошмарной смертью – но, мнится мне, не только за привычку.

Когда началась Отечественная война, прабабушке Ольге удалось как-то удачно эвакуироваться – в то время как дети ее воевали, а незамужние сестры, ни дня в своей жизни не работавшие «лишенки», оставались в Москве, без продуктовых карточек и надежд на какой-либо благоприятный исход. Драгоценности находились у сестер и могли бы стать спасением, ибо, несомненно, их вполне реально было неограниченно обменивать на еду. Но своевольничать сестры не посмели – отослали Ольге письмо с описанием своих бедствий и мольбой разрешить менять золото на продукты. Последовал категорический, непреклонный отказ. Какова же была воля у несгибаемой Ольги, каков авторитет! Какой страх Божий должны были испытывать перед ней сестры, что, даже умирая с голоду в прямом смысле, не посмели ослушаться, нарушить запрет *младшей* сестры! А Ольга – она почему так поступила? Не поверила им, решила, что они драматизируют, преувеличивая свой голод и военные несчастья, не пожелала потакать легкомысленным «капризам», разбазаривая святое – из поколения в поколение передававшееся наследство? Была патологически жадной и жестокой женщиной, ничтоже сумняшися оценившей жизни людей дешевле, чем сундук с добром? Бог вещь, конечно, но не похоже: будучи религиозной, Ольга добро от зла отличать, как будто, умела... Странно. А может быть, она подсознательно отомстила таким образом Варваре, всю жизнь норовившей втиснуться между ней и мужем, или даже достоверной его любовнице? Не узнать никогда, даже за гробом. Последствия ее поступка оказались поистине катастрофическими: не Варвара, а вторая сестра, Анна, уже двадцать пять лет хворавшая «головой», от голода и вовсе лишилась рассудка и вскоре скончалась, а Варвара выжила, но заработала себе какую-то мучительную болезнь на всю оставшуюся жизнь.

Расплата настигла Ольгу лишь через восемнадцать лет. В 1959 году она заболела ужасной, почти неоперабельной и теперь, а тогда вовсе безнадежной болезнью: раком пищевода. Он стремительно сузился до такого состояния, что очень скоро несчастная лишилась возможности принимать какую-либо пищу, даже жидкую, а потом по нему перестала проходить и вода. Страдания ее можно сравнить с адскими. Зная, что пришел конец и, возможно, поняв, почему участь ей предназначена Богом именно такая, Ольга смиренно приняла все, что ей было уготовано. Около полугода мучилась она, превратившись постепенно в живой скелет – такой, что, по воспоминаниям моей мамы, на ее предплечьях было четко видно разделение локтевой и лучевой костей, а между ними просвечивала прозрачная сухая кожа... Она не произнесла ни одной жалобы, ни разу не посетовала на судьбу, не дала повода себя пожалеть. Болела и умирала дома, по-прежнему все в той же комнате с сестрой и семьей кого-то из детей – и все эти люди ежедневно три-четыре раза в день принимали пищу в том же помещении, у нее на глазах – а куда им было деваться в коммунальной квартире... Что Ольга чувствовала физически и морально знает только она, но такого не пожелаешь и лютейшему врагу. Испытание она вынесла и грех свой полностью искупила: скончалась в день своего Ангела, Святой Равноапостольной княгини Ольги, 24 июля, перед смертью успев сделать распоряжение о том, чтобы гроб ее три дня до похорон находился в церкви – что и было неукоснительно выполнено... Сегодня (может ли быть случайностью?!), когда в Псковской деревне пишу в летнем

кабинете эти строки, – вновь день Ольгиных именин – и сорок девятая година со дня ее смерти...

А что же знаменитые драгоценности, за которые так боролась она, еще полная сил и будущего не предвидевшая? У меня есть колечко с изумрудом и двумя бриллиантками, подаренное мамой по случаю рождения моего ребенка, а себе мама оставила ожерелье из натуральных кораллов. Это все. Остальное, словно в насмешку над бывшей владелицей, разошлось по чужим рукам немедленно же после ее искупительной болезни и смерти. Старший сын Дмитрий, как мы помним, побрезговал участвовать в дележке наследства покойной матери (когда-то она была ему «маман»), и в детстве ежевечерне он почтительно подходил к ее ручке); все разделили ее младшие дети Роман и Мария (по-домашнему Мура). Они уже стали полностью гражданами двадцатого века и счастьем обладания несколькими блестящими и дорогими, но бесполезными вещицами предпочли вполне реальные земные блага, которые можно было приобрести на вырученные деньги: новомодную «Победу», кооперативную квартиру, загородный дом... Да и вообще, сколько можно было жить в одной комнате целой толпе разномастных людей – тоже вполне понятен их выбор... Словом, все свершилось по справедливости.

А на тех фотокарточках – по-прежнему безмятежное детское лето, и два бритых мальчишки-погодка в шортах и сандалиях и девочка с волнистыми волосами и короткой юбочке, еще не ведая грядущего, азартно носятся по речным берегам и малиновым зарослям в кампании деревенских ребятишек – барчуки наравне с простолюдинами: так было принято в передовых интеллигентных семьях. От детей прислуги и крестьян на фотографиях их отличают только неизменные матроски – это в будущем, как считали взрослые, они должны были превратиться в барышень – и крестьянок, в студентов – и рыбаков, а пока следовало ребятам приобщаться к народу, чтобы никогда потом не посметь погнушаться им... Не их вина, этих мальчишек и девчонок, что их всех вскоре бросят в бурлящий котел и безжалостно размешают там, половину передавив... А пока вот они – Дима, Рома, Мура... И солнце, солнце на всех карточках...

О жизни Романа я знаю только одну пикантную подробность – кроме удачно купленной им в шестидесятом «Победы», разумеется. Мне несколько раз рассказывали о его странной небрежливости: он почему-то никогда не срезал корки с круглого сыра – и ел его прямо так, уверяя, что это едва ли не самое вкусное. Это продолжалось до одного изумительного дня, когда в гастрономе он стал свидетелем незабываемой сцены: грузчик, несший сразу несколько головок сыра из грузовика на склад, проходя через торговый зал магазина, одну из них – уронил. Что было делать? Поднять невозможно: нагнешься – остальные покатаются, а если оставить в надежде подобрать позже, то стопроцентно потерю украдут заинтересованно наблюдающие коллизию покупатели. Грузчик принял единственно верное решение: он продолжил свой путь, пиная круглую голову сыра перед собой наподобие футбольного мяча... Романа стошнило. С тех пор он всегда срезал упомянутые корки.

О жизни Муры знаю лишь то, что ее единственная бездетная дочь Татьяна и теперь здравствует в Москве, а смерть эту дедушкину сестру постигла той разновидности, которой подспудно больше всего боишься для близких, когда мобильный «недоступен», а все сроки возвращения домой кого-то из своих давно прошли. Впрочем, тогда, в начале восьмидесятых, сотовых еще не существовало. Мне, старшекласснице, случилось как раз гостить в Москве, когда я услышала вечером, как взрослые обсуждают в коридоре что-то страшное, в голове не укладывающееся. Оказалось – Мура ушла из дома и не вернулась, а была она не дряхлой старушкой в маразме, а крепкой еще семидесятилетней женщиной... Ее искали и нашли тогда же, при мне. Мертвую. Сердечный приступ. Перед моим мысленным взором фотография счастливой девочки на солнечной террасе в яркий дачный день – ее длинные вьющиеся волосы, обязательный бант... Все кончилось.

Основное о предках моих завершено – есть еще в запасе несколько не совсем достоверных легенд и личных домыслов, но, в общем, почившие, о которых есть хоть

сколько-нибудь правдивые представления, исчерпаны мной – какая же я счастливица по сравнению со многими.

Двадцатый век выкорчевал целые роды, повалил и перепутал миллионы генеалогических древ; кочевали нации в полном составе, и порой моему ровеснику уже практически ничего неизвестно о поколении, предшествовавшем родительскому. Как часто слышишь: «Бабушку, кажется, звали...», «По-моему, дед отсидел...», «Возможно, предки жили в Подмосковье...» Горе это, когда знание собственного рода исчерпывается такими догадками или, в лучшем случае, несколькими сомнительными анекдотами... Мне «повезло» больше – что за дурацкое слово. Просто, может быть, наш род не так прогневил Господа, как некоторые другие, потому и осталась о нем хотя бы память в сердце одного из последних потомков...

Пришла пора и художественной литературы – в угоду извечной грусти, из которой все никак не выберусь, вынужденно описывая одних только покойников – а именно

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ, О ТОМ, КАК АДЬКА ДОЧКУ РАСТИЛ

Спасла Лидия Валериановна, соседка, беспутного Тольки бессмертная бабушка. Вадим все как-то стеснялся выговаривать ее отчество, каждый раз спотыкался мысленно и отгонял от себя некрасивый вопрос: неужели ее отца звали Валерьяном? Это что же выходит – в честь валерьянки, что ли? Уж и называли при старом режиме баре своих детей – обхохочешься. Но именно она в те страшные дни, когда Вадим сначала оцепенел от ужаса на целые сутки, а потом впервые в жизни ушел в настоящий запой, помирившись ради такого случая с соседом, взяла в свои неожиданно крепкие руки бразды правления всем, происходившим в квартире. А Вадим не отвечал на постоянные звонки из роддома – даже слышать их не хотел – и как только черный кирпич телефона вдруг оживал противоестественным громом, кидался опрометью в свою комнату и зарывался головой в подушку, а если к телефону его все-таки пытались вытащить, то начинал вдруг истошно кричать без слов, зажмурив глаза... Соседи думали, что Вадим помешался от горя: еще бы – молодую и симпатичную жену, такую работающую, ласковую и вежливую со всеми – да потерять в одночасье на ровном месте: кто же мог знать про порок сердца, проявившийся только во время трудных родов...

На самом деле про Надю Вадим даже не вспоминал, зато день и ночь стояло перед его глазами то треклятое утро в незнакомом лесу, когда он пришел в себя после достопамятного глубокого обморока и сразу понял всей шкурой, что теперь он в мире один. Но тогда не было рядом услужливого раннего алкоголика-соседа, всегда готового помочь забыться – а потом грамотно, по-научному, лечить от пытки похмелья – потому и слег тогда еще Адька в горячке. Теперь он переживал катастрофу другого порядка – катастрофу обманутого доверия. Как же это?! Он ведь так поверил, он так поверил им! Кто были эти предательские предатели «они», Вадим не задумывался, он лишь чувствовал, что какие-то силы, управляющие его жизнью, вдруг взяли и насмехнулись над ним, оскорбили лучшие чувства. Будто кто-то пообещал ему: вот, милый Вадик, мы за тобой в твоём детстве как-то недоглядели, и свалилось на тебя слишком много нехорошего, но зато теперь-то уж воздадим за все страдания в полной мере, так что готовь большую миску – отныне одним медом кормить тебя будем... Сказали так, по голове погладили – и улетели, а мед давай сверху литься – только успевай миску подставлять... Подставлял-подставлял – а в нее вдруг ка-ак хлынет дерьмо! И регочет кто-то: что, дурак, поверил?.. На диамате такому не учили – но не сам же он себе такое «счастье» выковал – значит, есть виноватые! И он стучал кулаком по столу в пьяной злобе: «У-у, сволочи, какую свинью мне подложили!!!».

Мертвую Надю и безымянную девочку из больницы забрала Надина мать. Сквозь тяжёлый хмельной сон слышал Вадим, как объясняется с кем-то по телефону Лидия Валериановна, устраивает что-то, бесконечно договаривается своим возмутительно

молодым голосом – но вникать не желал принципиально: хотелось, чтобы все это наваждение – такое несправедливое и им уж точно не заслуженное – скорее схлынуло и забылось, чтоб вынырнуть откуда-то из темноты, как тогда, в тринадцать лет, – и начать жить заново, перечеркнув все и затоптав в душе.

Добрая старушенция незаметно подкармливала его и обстирывала, с сочувствием не навязываясь и с глупыми советами не лезла; на работе вошли в положение, предоставили отпуск за свой счет – а как же, такое несчастье постигло их молодого многообещающего специалиста; ничего, оправится – наверстает... И он действительно постепенно стал приходить в себя – и даже мысли в голове начали суетиться совсем другого направления. Вадим вновь научился забытому блаженству нежиться по утрам в постели после вполне трезво проведенной ночи, убаюкивая себя знанием, что еще десять утр может не вскакивать, как ошпаренный, и никуда не мчаться, задрав хвост трубой... Такими же светлыми, как после горячки, утрами он привык неторопливо размышлять о том, что, собственно, ничего особенно ужасного в его жизни не случилось. Пришло понимание, что психанул он сгоряча, больше от неожиданности – просто из-за того, что очень уж неоправданно большую ставку сделал в жизни на эту самую Надю. Ну, ладно, помогла она ему институт спокойно закончить, без голодной нервоотрепки и неустроенности – а ведь сына-то родить не смогла! Хорошо, девочку мать Надина забрала – а то и подумать страшно, как бы он с ней тут один управлялся... Может, и ничего, может и переменится все еще в его жизни к лучшему – и жениться теперь, когда время придет, нужно будет неторопливей и осмотрительней – за него теперь пойдет не то что лаборантка мелкая, а и докторша, и учительница. Не студент ведь голодный и чуть ли не завшиевший, а инженер с хорошими перспективами – так все говорят... Понемногу стала ослабевать невидимая лапа, сжимавшая горло, расправлялось что-то внутри у Вадима, забрезжили новые надежды... «Новые Нади» – так он их называл, и сам стал радоваться своему остроумию.

И Толька, и Лидия Валериановна заметили, что Вадим оживает, и однажды старушка все-таки прицепилась к нему – не хотите ли, мол, могилку супруги навестить, а то ведь неудобно-де, без вас хоронили... Он поднял на соседку такой тяжелейший взгляд, что она отшатнулась и пробормотала: «Ну, нет – так нет... Если не готовы еще, то и не стоит, а то вдруг опять разболеетесь...». «Надо будет – схожу», – процедил Вадим, на том дело и кончилось.

Он полюбил теперь тихие одинокие вечера у настольной лампы, когда не требовалось уже готовиться к бесконечным экзаменам и зачетам, писать нудные курсовые, отгрызая время у такого необходимого сна, – а можно было не торопясь, в свое удовольствие, читать что-то привычное и интересное по специальности, неспешно попивая чай все с теми же бубликами, быстро утратившими все ассоциации с Надеей.

...Еще, казалось, недавно и от телефонного рыка прятавшийся едва ли не под кровать, Вадим этого дверного звонка ничуть не испугался: кто к нему вдруг среди ночи заявится – это, небось, к Тольке его морговские дружки лмятся... Ничего, сейчас Валерьяновна их окоротит: надо же, одуванчик Божий, а как глянет – ледяная струйка по хребту бежит, и любой хроник трезвеет – умеют же люди! Он действительно услышал вскоре, как у входной двери соседка с кем-то громко, но неразборчиво разговаривает, и голос у гостя вроде женский – не иначе, девиц Толькиных выпроваживает... Это все так, мимоходом, замечал про себя Вадим, а сам знай себе чай с лимоном прихлебывал, да в книгу поглядывал: не жизнь налаживалась, а просто рай какой-то. Выходит, все-таки, не обманули эти «они», зря он их сволочами ругал... В дверь постучали, пришлось открыть: с некоторых пор он отношения с Валерьяновной считал необходимым поддерживать вежливые: невредная оказалась бабуля, даром, что из интеллигенции, а полезная. В коридоре и правда стояла соседка, держа прямо перед собой какой-то темный продолговатый узел – в темноте не разобрать было, что это она так к себе прижимает.

- Вадим! – ее голос сорвался. – Такое несчастье! Это соседка мамочки Наденькиной приходила! Умерла она сегодня скоропостижно, от сердечного приступа: не вынесла тоски по дочери. Горе-то какое, Вадим... Вот, принесла соседка девочку, дочку вашу... Говорит, не в детский же дом ее сдавать, раз живой отец есть. И вещички ее... Там, в прихожей, два баула стоят... Берите, Вадим... Теперь вы не будете так одиноки.

Каким-то немислимым образом узел, оказавшийся довольно тяжеленьким, оказался на неловких руках Вадима. Он еще ничего не смог вымолвить, но в голове успело пронестись: «Ничего, не трагедия, на шестидневку отдам в круглосуточные ясли, а на воскресенье найму кого-нибудь приглядеть, хоть ту же Валерьяновну...».

- Берите-берите, не бойтесь... Она уже у вас большеенькая, не раздавите... – и, поймав его смутно-дикий взгляд, соседка быстро добавила: – Да не беспокойтесь так – вырастим... Толя у меня беспутный, правнуков, чувствую, не скоро мне подарит – если доживу вообще. А тут вот Бог послал правнученьку – уж понянчусь, не волнуйтесь. И ясли никакие не понадобятся, я троих вырастила... – лицо ее на мгновение потемнело. – Не переживайте, Вадим, денег не возьму с вас, мне же в удовольствие...

...Жизнь в коммунальной квартире незаметно превратилась в семейную, едва ли не родственную: Лидия Валериановна с первого же дня забрала девочку в свою просторную комнату, обставленную остатками дореволюционной резной мебели, которую в блокаду не взял топор. Толик давно жил и блудил в довольно вместительном чулане, переоборудованном под холостяцкую комнату без окон, что устраивало всех без исключения, – и вообще стал все реже и реже бывать дома.

В первый же день любопытство все-таки разобрало Вадима, и он стеснительно постучался к Валерьяновне, чтобы рассмотреть загадочное существо под странным названием «дочь». Соседка как раз закончила менять малышке пеленки, и она лежала, тихо и довольно попискивая, в ожидании бутылочки с молочной смесью. Вадим заинтересованно наклонился над дочерью – и вдруг сердце подпрыгнуло: на него смотрела словно бы маленькая копия его матери: те же круглые крапчатые глаза, тот же носик «уточкой», такой же изгиб тонких, почти незаметных губ...

- А... А как зовут ее? Вы спросили? – внезапно вспомнил он, и где-то в душе его кольнула тоненькая иголочка стыда за то, что его ребенку уже почти полгода, а он имени не знает...

- Анечкой ее зовут, – улыбнулась старушка, – вот и метрика есть. Надо же, и мою мать-покойницу так звали.

- И мою! – в порыве неизвестных чувств поделился Вадим, правда, сразу спохватился и подкорректировал былое: – Ее... немцы... во время оккупации убили... А лицо – то же самое, даже не верится...

- Ну, и хорошо! – обрадовалась соседка. – Значит, вырастим ее такой же хорошей и доброй, как ваша мама. Только никаких немцев больше не будет, и никто никогда нашу Анечку не убьет.

Со временем Вадиму отцом быть даже понравилось: уж очень необременительным оказалось непрошено свалившееся отцовство. Утром, на работу убегая, он Анечку не видел: девочка была от природы благодетельствована хорошим крепким сном, и просыпалась не раньше девяти часов утра, давая заодно выспаться и своей добровольной няне – бабе Лиде, как она ее стала называть, научившись сносно болтать в два с половиной года. Возвращаясь вечером, он встречался в прихожей с нарядной веселой девочкой, специально приведенной бабой Лидой, чтобы приветствовать отца, пришедшего с работы. «Здравствуй, папочка!» – всякий раз произносила она явно вдолбленную ей Валерьяновной фразу, и после этого старушка сразу вводила ее в недра квартиры, приговаривая на ходу: «Папочка устал – он много работал и теперь хочет кушать. Пойди поиграй – только тихонько, чтобы ему не мешать»... Первое время Вадим мучился вопросом – как бы искоренить этого сюсюкающего «папочку», заменив его торжественным «отцом» – но не нашел подходящих аргументов и махнул рукой:

времена меняются, может, теперь так и нужно... Второй и последний раз в день он виделся с дочкой около девяти часов вечера, когда ее доставляли к нему в комнату с традиционным: «Поцелуй папочку на ночь и "Спокойной ночи" ему скажи», – тогда Вадим однообразным движением наклонялся к дочке и слегка отвернувшись от нее, вытягивал шею, чтоб она прикоснулась сухими губками к его щеке... В воскресенье, когда он после завтрака усаживался с бумагами за письменный стол, из коридора только и слышалось: «Не шуми – папа занят», а вскоре Валерьяновна уводила Аню гулять, и в квартире воцарялась возделенная тишина... Вечером в дверь иногда стучали, и няня осторожно вводила девочку за руку: «Давай покажем папочке наш новый рисунок». Это было несложно: требовалось рассеянно взглянуть на цветные каракульки в альбоме, произнести: «Очень красиво», – и обязательно погладить ребенка по голове, после чего вновь наступал покой... Аня, вроде бы, иногда болела, но как-то невнятно, и никаких волнений по этому поводу Вадим не запомнил. Бормотала иногда Валерьяновна на кухне что-то вроде «Жженого сахарку надо сделать Анечке от кашля» или «Вот марганцовочкой ее ветряночные прыщички смажу», – но он в подробности не вдавался: Валерьяновна умелая, опытная, знает, как с детьми нужно обращаться, надо будет что – попросит. Он давно приноровился отдавать ей «на хозяйство» примерно две трети своей зарплаты, и семейный котел был теперь общим, что избавляло Вадима от докучливых хлопот с обедами, прачечными и прочими малопонятными делами. Он заканчивал кандидатскую диссертацию, собой был доволен и даже завел на стороне женщину, секретаршу из отдела. Она оказалась нетребовательной, отлично осознававшей свою некрасивость, и испытывала бешеную благодарность Вадиму уже за то, что раз-два в неделю в обеденный перерыв забегал он к ней минут на тридцать, наскоро справлял в затемненной комнатенке мужскую свою нужду – и потом не обращал на нее внимания до следующего раза: не хватало еще, чтоб на работе заметили – стыда не оберешься.

«Их», жизнью его невидимо управляющих, Вадим зауважал теперь в полную силу: все дали ему, чего пожелал – только бы здоровья теперь Валерьяновне хватило – а то сколько ей? Семьдесят пять? Ни на что, вроде, не жалуется, капает иногда себе в рюмку капельки – и здорова. Только теперь вообще дома не видно: нашел себе сожительницу – и к ней перебрался, видом своим оскотинившимся не докучал. Чего-то большего просить от «них» уже как бы и неудобно стало...

Вот и Гагарин Землю вокруг облетел в ракете, и потянулись за ним другие космонавты, даже в космос открытый вылезали, а потом Хруща скинули бесшумно (правильно, как втихомолку считал Вадим: нечего было Сталина позорить, доживи отец – с горя бы умер), и пошла жизнь как не по накатанной колее, а по ровному асфальту под солнечным небом: ни толчков, ни приключений ненужных – а там и кандидатом наук стал Вадим и теперь в мыслях даже звал себя по-отчеству...

Осенью шестьдесят пятого отвели они с Валерьяновной Аню в первый класс: с двумя огромными белыми бантами, похожая на бабочку-капустницу в своем праздничном переднике, она совсем бесстрашно шла с цветами и ранцем за спиной в толпе других ребятшек вслед за учительницей – и Вадим почувствовал что-то вроде гордости: вот ведь – совсем незаметно такую большую дочку вырастил – и вовсе, оказывается, не страшно.

А вечером того же первого сентября, поев капустного пирога, по тому случаю испеченного, запив его горячим травяным чаем, Лидия Валерьяновна вдруг задумчиво сказала: «Вот радость-то какая сегодня: наша Анечка уже школьница! Я так счастлива, что даже сердце заныло...» – и положила с улыбкой руку на левую грудь. Посидела так минуточку и, улыбку с лица не прогнав, беззвучно сползла со стула на пол, а когда Вадик вскочил в ледяном недоумении, то увидел вдруг навзничь запрокинутое застывшее белое лицо соседки, один к одному похожее на камню, приколотую у нее же к кружевному воротнику...

Девять с половиной лет школьной жизни слились для Ани в одну сплошную серую ленту скучного черно-белого советского кино. А еще – ей всегда было страшно. Страшно каждый день. Страшно, хотя ничего не случилось. Это был какой-то особого рода страх – страх не того, что может с ней произойти, а осознание, что нечто страшное уже происходит, а в чем заключается ужас – она не видит, не знает – и оттого не в силах бороться, как-то повлиять на ситуацию. Это невозможно было даже никому рассказать – и не столько потому, что рассказывать, в сущности, было некому, а оттого, что нечего... Она долго думала, что страх исходит от ее отца – человека мрачного, на слова скупого, но слабого, словно тоже чем-то раз и навсегда испуганного. Отец обращался с Анечкой сурово, желая, видимо, заставить себя бояться – но у него не выходило: даже будучи девочкой, она понимала, что за его суровостью стоит какая-то почти детская «жалкость», которую он хочет и не может от нее скрыть... Ей казалось, что страх откуда-то вошел в ее бедного папу, пронизывает его насквозь, через него распространяя в воздухе отвратительные миазмы. «Это все война, – убежденно думала она ребенком. – Папа тогда был примерно в моем возрасте – а у него немцы уже обоих родителей убили – вот он и испугался. И до сих пор страх его не прошел». Поэтому она жалела его и поначалу старалась бережно относиться к неприятному, нелюдимому человеку, жившему с ней в одной квартире – да и то сказать, кроме него в жизни Ани теперь никого не осталось. Ребенком она любила бабу Лиду, считая ее своей бабушкой, но та однажды вдруг раз и навсегда исчезла из дома – в ночь, когда счастливая и гордая собой после первого школьного дня Аня крепко спала, не догадываясь, что с завтрашнего дня жизнь ее переменится не совсем так, как она ожидала.

- Она тебе была никакая не бабушка, а просто нянька, – спокойно сказал отец. – Надо будет – другую возьмем. И сырости мне тут не разводи. Не люблю этого.

- Папа, папочка! – заплакала маленькая Аня. – Я другую не хочу, я люблю бабу Лиду, давай она вернется!

- Она не вернется, – отрезал он и вдруг добавил странное: – А ты уже не маленькая, чтобы папочкой меня называть. Я тебе отец. Запомни это и привыкай. Я – отец, понятно?

- Понятно, папа... А можно баба Лида придет? – и девочка разрыдалась уже неудержимо, с плавным переходом в истерику...

Тогда он отвел дочь в комнату, где они раньше жили вдвоем с бабой Лидой, и принес ей из кухни стакан воды:

- Выпей, и чтобы больше этого не было.

Она пила, давясь и икая, и сквозь эту икоту с удивлением рассматривала человека, всегда раньше далекого и непонятного, а теперь вдруг ставшего единственным... У Ани было жалостливое сердце – и теперь, видя перед собой этого небольшого, даже хрупкого мужчину с мелкими чертами лица, слабым коротким подбородком и неуверенным взглядом, она вдруг чутким детским нутром почуяла, что не он ей, а она ему обязана стать защитой и опорой.

Но виделись они по-прежнему нечасто. Став постарше, Аня узнала, что комната, в которой она живет, им прежде не принадлежала, и отцу стоило много труда, нервов и связей выселить из нее вечно где-то пропадавшего хозяина и закрепить жилплощадь за их семьей. Помог высокий научный статус, по которому полагалось ему иметь отдельную комнату – и асоциальное состояние в котором где-то с кем-то находился незнакомый сосед. Отец действительно нанял «Женщину для хозяйства» – она приходила в квартиру, когда Аня была в школе, а отец на работе, и занималась уборкой, безыскусной стряпней и прачечными заботами. С ней у Ани не образовалось никакого контакта и, придя из

школы, она сама разогревала себе обед, а потом проводила время до сна в своей комнате, унаследованной от бабы Лиды.

Комната казалась Ане чудесной – прежде всего потому, что оклеены стены были темно-зеленого цвета обоями с крупными золотыми вензелями – так и казалось ей, что сидит она внутри малахитового ларца из сказки Бажова – ларца, наполненного самыми причудливыми драгоценностями. А драгоценности там действительно водились. Например, настольная лампа темной бронзы в виде девушки в короткой тунике, с длинными стройными ногами и тонким, почти влюбленным лицом; она держала в руках как бы ветку дерева, увенчанную тремя синими цветками в форме колокольчиков, только огромных – они служили стеклянными абажурами для лампочек, которые включались как все три разом, так и по одной. Эту девушку Аня любила, как живую, и все, что имела ценного – доверяла ей же, пряча под массивную подставку лампы, имеющую внутри значительную полость. Спала Аня на кожаном диване, казавшемся едва ли не океаном – потому что она проваливалась в него, как в темную ласковую волну, запомнив это ощущение с тех пор, как ее, пятилетнюю, свозила однажды летом в Пицунду баба Лида. Еще были две вазы неземной красоты переливчатого стекла: одна вытянутая, рубиново-красная, с вкраплениями белого и золотого, а другая – словно выточенная из цельного искристого изумруда, толстенькая и бокастая, с резным верхом... Баба Лида рассказывала, что до войны и ваз, и ламп, и шкатулок, и картин, и других замечательных вещей, при взгляде на которые душа поет, было гораздо больше, но в блокаду пришлось их все отнести на рынок и поменять на продукты – не то не выжить бы ни ей, ни ее внуку...

Венцом всего являлся комод красного дерева, обладатель многих ящичков, расположенных красиво и продуманно удобно – и одной потайной дверцы, случайно обнаруженной Аней лет в десять, но запертой наглухо, почти безнадежно. Каким-то уголком сознания Аня в ту же минуту поняла, что сейчас, девочкой, дверцу отпереть все равно не сможет, но ей обязательно удастся это, когда она станет взрослой и просто вызовет специалиста, способного грамотно открыть ее, ничего не сломав. Ей было приятно жить с сознанием того, что у нее в комнате, быть может, спрятан маленький клад, она единственная, кто о нем знает, и обязательно получит в один заповедный день что-то совершенно исключительное и важное.

Со школьными подружками дела у нее не ладились совсем. В классе девочки сразу оказались разбитыми на несколько ревнивых группочек, спаянных, как казалось Ане, какими-то таинственными общими интересами, – а она проошляпила присоединиться к какой-нибудь из них, горюя по бабе Лиде и не желая подпускать кого-то близко к своему горю. Когда опомнилась – было поздно: за ней уже закрепилось негласное положение презренной тихони, чья роль навсегда определена: ей отныне предстояло до конца школы оставаться пустым местом или – хуже того – иногда, в дурные минуты, служить мишенью для издевательских насмешек.

Единственный раз, когда она сама попыталась прибиться к одной из таких группок, навеки отбил у нее охоту пробовать еще. Однажды на перемене она робко подошла к трем девочкам, хорошо успевавшим по всем предметам и казавшимся ей наиболее привлекательными: как водится, при красавице-«королеве» состояли две поддакивающие подлизы, между которыми она по праву своего превосходства распределяла моральные и материальные блага. Аня нерешительно приблизилась к ним, ходившим под руку по коридору, набралась храбрости и, обращаясь непосредственно к главной, спросила:

- Юля, а можно мне тоже с вами ходить? – и сразу же догадливо внесла вступительный взнос: маленькую серебряную ящерицу, бывшую когда-то брошкой бабы Лиды, но утратившей булавку и превратившуюся таким образом просто в игрушку. – Смотри, что у меня есть.

Юля благосклонно приняла подношение, повертела его какое-то время на ладони и убрала в карман передника. Потом обернулась к своим прихлебательницам:

- Ну что, примем ее? – и, не встретив энтузиазма, продолжила: – Только, чур, уговор: ты должна будешь выполнить один ритуал, чтобы вступить в наше общество. Мы все через это прошли, да, девочки?

- Конечно! – заторопилась Аня. – Раз вы прошли, то и я пройду...

- Тогда пойдешь в закуток к мальчишескому туалету, встань перед дверью и сними трусы. Это у нас такая проверка на храбрость, – не моргнув глазом, велела Юля. – Иначе не примем.

Две ее служанки, до того тревожно взиравшие на госпожу, поняли, что менять их на эту рохлю она не собирается, и захихикали...

- Ну, давай, давай, я жду, – торопила мучительница. – Только чтобы честно, до самых колен трусы спускать, а то не считается...

Слезы подкатили у Ани к глазам так быстро и горячо, что она только и успела отвернуться и кинуться бегом прочь, пока они не выплеснулись – а вслед ей понесся похабный хохот. Тем удивительней ей показалось, когда после уроков в раздевалке Юля подошла к ней сама и сказала:

- Ты чего, шуток не понимаешь? Мы тебя и так примем. Только надо еще две такие ящерицы – или поменьше – для Ритки и Маши. У тебя дома есть?

Ящерок больше не было, но всяких «штучек» в волшебном комодике осталось предостаточно – они в блокаду на обмен не сгодились, потому что были не драгоценными или имели маленькую поломку, и Аня переложила их в свой любимый тайничок под ногами прекрасной бронзовой девушки.

- У меня много другого... всякого... – обрадовалась Аня: ей показалось, что перед ней извинились и хотят заглазить вину. Она сразу же принялась закреплять победу: – Можно даже прямо сейчас пойти, потому что домработница уже ушла, а папа только в семь часов приходит!

- А что, давай! – отозвалась классная красавица и обернулась к своим подданным: – Наша Анька, оказывается, важная птица, служанку держит! Айда к ней в гости!

Уже в тот вечер Аня знала, что забыть его ей не суждено. В ряду нескольких самых ужасных неотвязных воспоминаний, которые обязательно накапливаются у человека в течение жизни, память о нем стала первой раной из тех, что не заживают никогда.

Сначала они ввалились на кухню – и Юля по-хозяйски направилась к плите, где сняла крышку с кастрюли и, наклонясь, понюхала:

- Девки, мясом пахнем... Смотрите-ка, теплый еще...

- Конечно, давайте пообедаем! – засуетилась Аня. – Вы идите в ванную, руки мойте, а я пока тут... с тарелками...

- Да ладно! – отмахнулась Юля и вдруг прямо всей невымытой рукой залезла в кастрюлю и вмиг вытащила большой кусок мокрого мяса: – Здорово! У меня мать никогда так много не покупает, денег нет!

Аня никогда раньше такого варварства не видела и потому оцепенела, не в силах осознать происходящее. Между тем Юля нагнулась над кастрюлей, чтобы не закапаться, и принялась быстро-быстро обкусывать мясо с мозговой косточки, а потом, изрядно изгрызенную, но еще хранящую мясные ошметки, небрежно сунула ее кому-то из стоявших рядом подружек – и они начали объедать, что могли, кусая по очереди, пока Юля невозмутимо шуровала рукой в кастрюле в поисках еще чего-нибудь стоящего. Мяса не нашла, зато выудила половинку картофелины и с чувством отправила ее в рот, обливав затем палец. Строго взглянула на Риту с Машей:

- Так, бросайте. Пошли, посмотрим, что тут еще есть, – и бесцеремонно толкнула Аню к двери: – Показывай, где твоя комната.

Аню еле ноги понесли по коридору, но она все же открыла дверь и пролепетала:

- Вот, заходите, пожалуйста.

Вся тройка под предводительством своей королевы застыла на пороге:

- Вот это да! – выдохнула Юля. – И живут же люди! И это чего – все твое, что ли?

- Ну, да, это раньше бабы Лиды была комната, а теперь моя. А папина всегда заперта, когда никого нет, – объяснила Аня.

Через секунду шустрая Рита была уже у дивана, с которого днем постель всегда убиралась еще с бабы Лидиных времен. Ловко, прямо с места, будто на пружинках подпрыгнув, она вскочила на него ногами в зимних ботинках. Диван заколыхался под ней своей морской зыбью – Ритка с визгом повалилась на него и задрыгала ногами:

- Девки, давайте сюда, здесь прямо как в цирке на батуте!

Юля с Машей тотчас рванулись к дивану и, не снимая обуви, тоже заскакали и западали в свое удовольствие на его потертом кожаном животе.

- Осторожней! Он старый! Порвете! Сломаете! – в слезах заметалась вокруг Аня, но ее писк тонул в хохоте и криках разошедшихся девчонок.

Наконец они устали, и Юля уселась на валик, руками приглаживая растрепанные волосы. Две другие заходили по комнате, беря все, что могли, в руки, небрежно вертя и ставя на место. «Только бы не вазы!» – отчаянно взметнулась в Ане безумная, но тщетная надежда: оба ее сокровища две девчонки схватили одновременно – и Маша даже принялась подбрасывать в руках изумрудную, приговаривая:

- Сейчас уроню! Сейчас уроню! Боишься?

- Поставь на место! – бросилась к ней Аня и соврала на ходу: – Меня отец убьет! – хотя знала, что он, в случае беды, даже не заметит.

Увидев Анин страх, и Рита, сперва бережно державшая рубиновую вазу, начала еще выше, чем Маша, подбрасывать свою добычу, ненормально хрюкая каждый раз, когда та взлетала.

- Юля, скажи им! – кинулась Аня за последней авторитетной защитой.

- Мещанка, мещанка! – показала Юля свой острый и розовый, как у кошки, язык. – Над какими-то дохлыми вазочками трясется! Девки, покажите ей, как настоящие пионерки презируют вещизм!

Что это значило – и спрашивать не приходилось; Аня зажмурила глаза, и потому свидетельницей гибели ваз не стала – только услышала их раздирающий душу последний звон, а когда открыла, то увидела жалкие цветные осколки, сплошь покрывшие пол... Слезы не выступили на глазах – а просто брызнули из них – и голос пресекся.

- Плакса-вакса-гуталин-на-носу-горячий-блин! – принялись скандировать, скача по осколкам, все три девочки. – Плакса-вакса-гуталин!

- Я папе расскажу! – обрела дар речи Аня.

- А мы ему скажем, что это ты разбила, а на нас сваливаешь! – ни на минуту не смутилась Юля. – Нас трое, а ты одна, ты троечница, а мы отличницы – кому поверят? – ее логика показалась Ане убийственной, и она сникла.

- Юля, – просительно обратилась Маша к повелительнице, – мне уже дома надо быть через десять минут, а то бабка орать будет. Давай, скажи этой, пусть дает нам своих ящеров и пошли отсюда, – она, наверное, все-таки немного струсилась от содеянного и стремилась поскорей ретироваться.

- Не дам! – выпалила вдруг Аня. – Вы мне здесь разгром устроили, на кухне суп испортили, вазы мои разбили... Передумала я с вами ходить, и не подарю вам ничего.

- Вот как ты, значит, обещания свои держишь? А еще пионерка! – презрительно процедила Рита.

- Я честного пионерского не давала! – огрызнулась Аня.

- Да чего с ней нянчиться! – решительно встала вдруг Юля. – Мы и сами возьмем, она нам ничего не сделает... Понятно же где цацки лежат – в этом комод. Давайте,

ищите по ящичкам. А то ишь, какая хитренькая! Обещала, приглашала, а теперь не дает – передумала... Чего стоите, открывайте ящички!

Дальше началась неприличная вакханалия. Под победительным взглядом Юли Ритка с Машкой принялись один за другим выворачивать ящички и ящички и, не найдя в них желаемого, вытряхивать их содержимое на пол. Тщетно Аня металась между ними, уже готовая самостоятельно отдать хоть все – девчонки вошли в раж. Добрались до ящичка с нижним бельем, и, когда оно, как и все остальное, оказалось на полу, Юля брезгливо нагнулась, подняла беленькие Анины трусики – и вдруг, быстро шагнув к тумбочке, напялила их на голову бронзовой девушке в тунике с криком:

- Девчонки, девчонки, смотрите, это Анькин ночной колпак, она его перед сном на голову надевает!

Маша и Рита угодливо прыснули, но Аня такого надругательства уже не снесла. Она подскочила к Юле, оттолкнула ее от своей святыни с истерическим: «Дура!» – и, вовсе не думая, что ее слово означает оскорбление величества, схватилась за трусы, чтобы сорвать их с головы своей металлической любимицы.

- Кто дура, я дура? – истерически взвизгнула Юля и схватила Аню за руку – но та озабочена была только желанием достать трусы – и руки не разжала. Они дернули одновременно, и произошло то, что должно было по законам жанра: лампа с оглушительным грохотом рухнула со столика, и все три синих колокольца постигла участь ваз, красной и зеленой, так что пол оказался засыпанным будто россыпью драгоценных камней...

- Это ты сделала, ты, придурочная! – заорала Юля. – Только попробуй сказать, что это я!

- Смотрите! – выкрикнула Маша. – А сокровища-то вот где были!

Аня опустилась на край дивана, в одну секунду осознав, что чем меньше она станет вмешиваться в происходящее, тем скорее оно закончится. Она не шевелилась и старалась не смотреть – но не видеть ей упорно не удавалось.

Нехитрый тайничок был немедленно разграблен, причем большую часть подружки забраковали и бросили на пол. Они забрали себе только голубую эмалевую рыбку, серебряный шарик, украшенный мелкими прозрачными стекляшками и желтого янтарного паучка. Плакать Аня уже не могла – ей хотелось только, чтобы разбой завершился как можно быстрее. Но до конца оказалось еще далеко, потому что зоркая предводительница шайки углядела вдруг в нише, оставшейся от выброшенного ящичка, слабый блеск маленькой замочной скважинки так еще и не открытого Аней секретного отделения.

С воплем: «Да там у нее клад!» – все трое кинулись туда, и после нескольких неудачных попыток открыть потайную дверцу, Юля попросту взломала ее с помощью ножниц и отвертки, подобранных с пола. Аня услышала только быстрый деревянный треск – и тройной разочарованный вздох.

- Бумажка какая-то...

- Может, план места, где что-то зарыто?

- Да ну, какой план, это любовная записка...

Недоуменная тишина длилась с минуту, за которую Ане пришлось пережить еще и разочарование в собственной мечте: вот что, оказывается, она вытащила бы взрослой из тайничка, надеясь на что-то особенное...

- Девки, да это же Анькин любовник ей написал, честное слово! – быстро нашлась неугомонная Юля: – Вот, слушайте! – и она начала читать «с выражением», издевательски пуча глаза и завывая:

«Единственная моя! Сегодня мне уже бесповоротно ясно, что больше я тебя не увижу. Вчера едва отошел от хлороформа – ногу ампутировали еще выше, но гангрена все равно неумолимо ползет вверх. Я чувствую себя измученным животным, которое только ждет, чтобы его прикончили. Если бы не мысли о тебе, то жизнь

моя вообще ничего бы уже не стоила: отстоять город у красных нам все равно не удалось – и захват его, как все здесь знают, только вопрос дней, если не часов. Что будет с госпиталем, ранеными, сестрами милосердия – об этом и думать невозможно, но есть у меня одна радость, что хоть тебя я отговорил приезжать на фронт, а значит, ужасная чаша тебя минует. Я не имею права просить тебя о посмертной мне верности, о вечной любви... Но как бы мне хотелось, чтобы ты просто меня не забыла. Знаешь, здесь все осмысливается по-другому – жизнь, как и любовь, не кажется абсолютной ценностью... Только память. Только об этом прошу. Не забудь. Твой Чудик».

Чтение все время прерывалось взрывами хохота, гримасами и хватаниями за сердце, в чем преуспели все три издевательницы, а потом Маша, достав из угла бабы Лидин зонтик, судорожно заковыляла, опираясь на него, отклячив зад, закатив глаза и стеная:

- Смотри-ите, смотри-ите, я Чудик-Юдик, Анькин любо-овник, мне отрезали ногу, я умираю от гангре-ены, о-ох! – и она повалилась прямо на пол в корчах мучительного смеха.

- Анька даже любовника себе с нормальным именем подобрать не могла! – подхватила Рита. – Только Чудик на нее и польстился!

- Да уж, для этого действительно надо чудиком быть! – подытожила Юля – и все трое, несколько уставшие от сегодняшней игры, рассмеялись уже не с такой охотой, как прежде.

- Ладно, девки, пошли отсюда, чего с нее взять, она же тронутая, – предложила Рита, вопросительно глянув на Юлю – и та кивнула...

Аня не знала, как теперь прибираться в комнату, за что сначала взяться, как оправдываться за суп... Нет, она не боялась, что отец выругает ее или накажет: ел он то, что ему давали, а в комнату дочери не заглядывал месяцами... Девочку не покидало ощущение, что ее каким-то образом опоганили и осквернили – если бы она была взрослее и знала такое слово, то поняла бы, что ее попросту изнасиловали – не физически, а морально, что гораздо непоправимей и неприятней. Она долго бестолково бродила по своей уже неродной и негостеприимной комнате, чувствуя себя опустошенной и никому не нужной. Именно тогда в ее душе начало вызревать решение оставаться одной как можно дольше – и может быть, даже навсегда...

...Годы накладывались один на другой, одинаковые, как промокашки. Аня внутренне съезжилась, и теперь к безотчетному страху, с которым она успела сродниться раньше, думая, что он как-то связан с отцом, добавилось еще и постоянное ожидание удара извне. Будь Анина воля – и в школе голоса ее никто бы не услышал – но учителя словно сговорились бесконечно вызывать ее, причем гораздо чаще, чем других, как ей навязчиво казалось. Зато, пребывая теперь в состоянии вечного страха быть снова грубо высмеянной и опозоренной, она проводила за учебой – вернее, зубрежкой – долгие изнурительные часы в своей комнате-шкатулке, которую постепенно стала недолюбливать как единственного свидетеля своей личной катастрофы. Постепенно оттуда исчез ранее любовно поддерживаемый порядок, и Аня привыкла, что все у нее «как-нибудь» – и в обстановке, и в ней самой. «Женищина для хозяйства», нанятая отцом уже давно, иногда по его распоряжению покупала девочке необходимое из одежды и белья – но делала это небрежно, не утруждая себя поисками чего-нибудь получше и поудобнее – так хлопочут для чужих и безразличных людей. В результате, кроме школьной формы с черным и белым передником и бедного трикотажного бельишка, Аня оказалась несчастной обладательницей неуклюжих дешевых фабричных сапог, смешного тяжелого пальто убойно-синего цвета с черным искусственным воротником, серой шерстяной шапки и прочих изысков все ниже и ниже скатывающейся к крайней степени убожества советской швейной промышленности. Она предпочитала, чтобы ее никто не видел – даже собственный отец. Ее желание легко исполнялось, потому что и он,

очевидно, не мечтал о ежевечерних чаепитиях с оживленной болтовней. На первых порах, отчаянно ища контакта с недоступным «папой», Аня надеялась постепенно растопить его сердце, найти подход к его строгой больной душе – но все попытки разбивались об отцовское истукановое молчание или необоснованную суровость. Чаепития, имевшие место в первые годы их одиночества, всегда проходили по одному безрадостному сценарию. Девочка заваривала чай, раскладывала печенье и неизменные булочки по красивым тарелочкам, расставляла чашки, сахарницу, масленку, вазочки с вареньем, окидывала сервированный стол придирчивым взглядом – достаточно ли он красив, чтобы папа оценил ее заботу – и потом тихонько скреблась к нему в комнату, где за матовым дверным стеклом виднелся зеленоватый свет настольной лампы: ее отец-ученый неизменно работал по вечерам. Доносилось сухое: «Что тебе?» – и следовал постоянный Анин ответ: «Я чай приготовила». Через некоторое время отец приходил в кухню и садился у стола с газетой. Девочка суетливо наливала ему чаю, пододвигала чашку – а отец разворачивал свою газету и, почти совершенно за нее спрятавшись, углублялся в чтение. Иногда он протягивал руку за чашкой или булочкой, прихлебывал, откусывал – и опять наступала полная тишина, нарушаемая только шуршанием газетных листов. Девочка отчаянно искала тему для разговора, которой для нее могла стать только школа или прочитанная книга: она представить себе не могла, что именно заинтересовало бы отца, кроме науки, о которой она ровно ничего не знала – вплоть до названия.

- А мы сегодня в школе проходили... – шепотом начинала Аня. – Как деревья кислород выделяют...

Молчание. Шелест очередной страницы.

- Мне по ботанике «четыре» поставили... – уже тише любого шепота заканчивала она.

- Нужно не «четыре», а «пять» получить, – доносилось из-за газеты.

- Я получу... – терялась девочка.

- Вот и получай. А до того и хвастать нечем, – отвечал отец и, свернув газету и отодвинув чашку, молча выходил из кухни, а у Ани начинали капать слезы: «Что я опять сделала не так?!».

Постепенно чаепития сошли на нет – и Аня почти перестала видеть отца, только случайно сталкиваясь с ним иногда на кухне или в коридоре и при этом испытывая острое чувство неловкости. Телевизор в их доме долго не появлялся – и закономерно лучшими друзьями девочки стали книги, благо в огромном, от пола до потолка, книжном шкафу бабы Лиды их стояло не то что много, а бесчисленно, как казалось Ане. Одно только печалило: некоторые написаны были по-французски, и, рассматривая эти книги, такие завлекательные и непостижимые, она каждый раз давала себе слово, что, когда вырастет, то поступит на языковые курсы – и тогда уж непременно прочтет все до одной. Аня жила как будто одна в квартире: никто ей не досаждал и не контролировал, дневник отец подписывал, не отрываясь от своих бумаг, на родительские собрания раз в год отправлял «Женщину для хозяйства» – но, поскольку никаких жалоб на Аню та не приносила, то он был спокоен и вопросов не задавал. Такая жизнь постепенно начинала Ане все больше и больше нравиться – она прочно поселилась теперь не в своей разлюбленной комнате, а в мире фантазий, добытых из книг, и уж в этих-то фантазиях была лучшей из всех. Замечательно, что, не переоценивая свою бледную и хрупкую внешность, Аня даже в мечтах не воображала себя красавицей, зато всегда – самой умной, сообразительной и талантливой: откуда-то она интуитивно знала, что именно от этих качеств, больше, чем от ненадежной красоты, зависит человеческий успех.

Так Аня просуществовала до десятого класса, когда к концу августа в опустевший на лето город понемногу начали возвращаться уезжавшие школьники. Саму-то Аню отец никогда никуда не отправлял на лето: попроси она – и, возможно, на все три месяца он охотно обеспечил бы дочери ведомственный пионерский лагерь на

берегу зеленой реки, но перед лагерями, как и перед любыми другими человеческими собраниями, Аня испытывала брезгливый ужас – а сам отец не догадывался. Постепенно она приурочивалась проводить лето на балконе своей комнаты – и в соседнем парке у пруда, уходя туда на весь длинный летний день с книжкой и бутербродами...

Собственно, Анина жизнь была предопределена: не вмещайся в нее форс-мажорные обстоятельства – и девушка бы медленно засохла, не расцветая ни на день, постепенно превратилась бы в бесцветную, на моль похожую старую деву без возраста и, с годами ничуть не изменившись, так и сошла бы в никому не ведомую могилу. Но форс-мажорные обстоятельства все-таки свалились на ее отуманенную одиночеством и чтением голову – в виде чернокудрого юноши-соседа с седьмого этажа – такого пухлого бело-розового юноши, жившего с благополучными родителями, белым пуделем и красным «москвичом» под окнами. «Женищина по хозяйству» обмолвилась как-то, что папа Алика – заведующий комиссионкой, а мама нигде не работает, только дает уроки музыки на дому. Она назвала даже имя этой дамы – и Аня запомнила, как оно поразило ее: даму звали Суламифь Исааковна, и простодушную девочку ошеломило внешнее несходство мамы Алика и бесконечно привлекательной Суламифи из куприновского рассказа, потому что Суламифь Исааковна была огромной черной женщиной с почти мужскими усами, никогда ни с кем на лестнице не здоровавшейся.

В тот ветреный августовский день Аня спешила в школьную библиотеку за учебниками – у них так всегда бывало: зазеваешься, на часок опоздаешь – и получишь вместо учебников груды пожелтевшего рванья. Она резво поскакала по лестнице вниз – и самым роковым образом оступилась. Последовала яркая боль в лодыжке – и девушка упала прямо на поднимавшегося к себе таинственного сына Суламифи. Он невольно подхватил ее, вскрикнув от неожиданности, – но у Ани из глаз уже струями лились отчаянные слезы.

- Подвернула? Больно? – участливо спросил юноша, и она закивала, с ужасом глядя на свою стремительно распухающую щиколотку.

- Ах ты, чудик... – вдруг ласково сказал Алик. – Ну, ничего... Ты ведь из шестнадцатой? А ну-ка, обхвати меня за шею...

Книги из библиотеки тогда так и не были получены. Зато с того дня Аня получила новое имя – Чудик, и ей, напичканной романами, пригрезилось в нем ясное предзнаменование ослепительно-прекрасного завтрашнего дня. Ведь письмо именно от него, умершего от гангрены Чудика, прятала баба Лида в потайном отделении комода! Пусть узнала об этом Аня в метафизически ужасный день своей жизни – но ведь все же можно и нужно исправлять! И теперь она сама стала этим ласковым, любящим Чудиком – и тот, несчастный, верила она, скоро воскреснет в ней и расправит крылья. А кроме Чудика, ведь был еще и Гадкий Утенок, и Золушка, и Пинокио – почему же она так упорно думала все эти годы, что никогда и никому не будет в жизни нужна?! Теперь появился томно-красивый, загадочный Алик – и она, сидя в желтеющей траве на последнем сентябрьском солнцепеке, блаженно крутила пальцами смоляные локоны на теплой, лежащей у нее на коленях голове...

Золотым выдался в тот год и октябрь, а яркие цвета осени погасли только к середине ноября. В школе Аня сидела слепо-глухо-немой и бесчувственной, всеми мыслями в предстоящем шатании по неожиданно великолепному городу, в котором она, оказывается, все эти годы прожила, не зная и не замечая его... А может быть, они опять будут лежать, обнявшись, на ее терпеливом кожаном диване под часами (с трех до половины седьмого – уйма времени) и говорить, говорить, говорить... как странно – вроде бы обо всем не свете, а после ни слова не вспомнишь, потому что есть, оказывается что-то важнее и содержательнее слов!

В библиотеке бабы Лиды попадались книги и по медицине, с некоторых пор Аней усердно штудироваемые, и благодаря им она знала много больше, чем средняя школьница ее возраста – да и переводные романы, многие из которых напечатаны были до революции,

давали немало ценных сведений о тайной стороне любви, поэтому семнадцатилетняя Аня считала себя по этой части знатоком, и даже со смехом делилась информацией со своим не особо грамотным в этом вопросе возлюбленным...

А он что-то поскуучнел в последнее время. На ее нежные приставания отвечал, что физико-математическая школа замучила его заданиями, да и родители требуют, чтобы сын меньше пропадал неизвестно где и больше занимался перед поступлением в институт – не может же он совсем не обращать на них внимания... Нет, он ничуть не разлюбил своего Чудика, просто так замотался, его так все кругом издергали, он так устал и вообще зимой всегда подвержен плохому настроению – наверное, из-за нехватки витаминов... Аня бросилась выращивать на подоконнике зеленый лук – но и он, иногда насильственно скармливаемый Алику с хлебом, не приносил желанного облегчения вдруг резко пошатнувшегося здоровью любимого. Блаженные дни на диване сократились теперь до одного в неделю – и то Алик все чаще бывал вялым, говорил неохотно, ласки отмеривал скупно и с ленцой – а иногда так и просто засыпал после них на час-другой, оставляя Аню смаргивать слезинки в сгущающихся сумерках... Прогулки прекратились вовсе – по причине холодов, как пыталась убедить себя Аня, почти переставшая спать по ночам от неотступной сердечной тревоги. И однажды темным колючим утром, взорвавшим ее некрепкий сон громом железного будильника, Аню вдруг стошнило прямо на подушку, как только она приподняла с нее свою тяжелую от бессонницы голову...

Метания девушки, обнаружившей у себя беременность как раз в то время, когда признаки охлаждения возлюбленного уже ни с чем нельзя перепутать, нестерпимо скучны, предсказуемы и однообразны. Все нехитрые стадии прошла одну за другой обезумевшая Аня, полностью отдавая себе отчет в том, что с ней глупейшим и пошлейшим образом произошло именно то, за что она всегда втайне презирала недалеких литературных героинь. Через десять дней она все-таки приняла неизбежное решение рассказать обо всем Алику – не зная, на что надеется, а просто идя по веками проторенному пути. Но молодой человек не появлялся у нее уже больше недели – и пришлось Ане, замирая от страха и унижения, подниматься на последний седьмой этаж и с трепетом звонить у солидной, обитой черным коленкором на вате двери. Произошло то, чего Аня больше всего боялась: открыла Суламифь Исааковна, удивительным образом похожая на свою же дверь – такая же прямоугольная, пыльная и важная:

- Вам кого?

- Мне Алика... Пожалуйста... – ни жива, ни мертва, выдохнула Аня.

Суламифь Исааковна с достоинством обернулась в глубь своей квартиры (Аня успела заметить в прихожей вишневые с золотом обои):

- Лялечка! Тебя! – и дверь захлопнулась перед набухающим слезами Аниным носом.

Нескоро, минут через пять, появился хмурый и злой Алик.

- Мы же договорились, что родителей не приплетаем! – остервенелым шепотом напал он на Аню с места в карьер. – Что я теперь ей врать буду? Ведь про тебя не скажешь, что из школы, раз на одной лестнице живем!

Приготовленная заранее речь из головы девушки выпала именно таким образом, как это всегда случается с неподходящими сценариями в критические минуты. Она мгновенно залилась предательскими слезами и забормотала невразумительные, жалкие слова о своей любви и тоске («Я тоже тоскую, но жив ведь»), о его постоянном отсутствии («Я же говорил, что мне надо заниматься»), о том, что ее в последнее время все тошнит и тошнит («Меня тоже тошнит от этой собачьей жизни»)... И трех минут не прошло, как суламифеподобная дверь открылась, и хозяйка высунула голову с железным: «Ляля, иди домой, простудишься», – и Алик как-то так ловко и виртуозно нырнул в узкую щелку, что Аня не успела даже заметить его маневра.

«Ляля, что это за девушка? Почему она плачет? Я тебе сто раз говорила, чтобы гойки никогда...» – донесся из-за двери раз и навсегда кем-то поставленный удаляющийся голос Суламифи...

Аня решила заранее, что она сделает. Два порошка хинина ей еще вчера удалось добыть у попятливо ухмыляющейся аптекарши – вкупе с пачками руты и пижмы. Этот рецепт был почерпнут из мерзкого английского романа, где с помощью такого коктейля бесстрашная героиня избавилась от беременности вполне безболезненно и удачно, судя по тому, что наутро уже, освобожденная и абсолютно здоровая, лезла по веревочной лестнице вверх по головокружительной скале. Когда отец заснул, как обычно, в одиннадцать часов вечера, Аня заварила на кухне свои травы, высыпала в кружку с отваром два порошка из бумажки – и, с отвращением проглотив микстуру, уверенно села в ванну с такой горячей водой, что едва могла терпеть ее – и так пролежала часа четыре. После этой экзекуции, с головой, кружащейся от боли, заложенными ушами и колотящимся сердцем, она добрела до постели и повалилась в нее до утра. Не помнила, как забылась – а очнулась в луже собственной крови, которая толчками билась из ее тела при каждом движении. Часы показывали около десяти утра: будильник Аня с ночи завести забыла, а отец никогда не будил ее в таких случаях – зато из коридора слышались тяжелые уверенные шаги и музыкальное бормотание «Женщины для хозяйства».

- Помогите... – ошеломленно прошептала до полусмерти перепуганная Аня; она попробовала приподняться, но тут же упала обратно, подкошенная ударом боли внизу живота.

- А-а! – в ужасе завизжала она без слов...

* * *

- Это единственное решение, – размеренно говорила директриса, и поддельно-янтарная брошка с застывшей в ней бутылочной мухой колыхалась на ее безбрежной груди в такт педагогически безупречной речи. – В коллективе после такого случая вашей дочери все равно житья не будет...

- Откуда же... узнали? – промямлил деморализованный Вадим.

- Ну, знаете... – директриса развела руками. – Земля слухом полнится... Раз из больницы сообщили о таком вопиющем факте, то я была обязана – вы понимаете, обязана – созвать срочный педсовет. А оттуда... Точно я не знаю, конечно, но ведь у нас учатся и дети сотрудников. Причем, немало... Такое никогда не скроешь – вы должны понимать. Да и вообще – ЧП. Кто бы мог подумать – такая тихая, усидчивая девочка... И оценки неплохие... Не знаю, что и сказать...

- А зачем... зачем они сообщают в школу... – как сквозь застрявший горле бублик цедил Вадим

- Ну, так положено, чтобы мы приняли меры... Прежде всего – оградить от возможного влияния других учениц. – Она поднялась, но пришибленный Вадим сделать того же не догадался. – Мы с вами поступим так. Я учту, конечно, что девочка росла без матери, а вы человек занятой и заслуженный – недоглядели... Что же, бывает, можно и посочувствовать. В школу пусть она больше не ходит, а мы на это закроем глаза – будто болеет – ну, вы понимаете – и потом освободим ее по болезни от выпускных экзаменов... А числа так тридцатого июня, когда все эти торжественные мероприятия закончатся, пусть приходит за аттестатом к секретарю. Или нет, лучше вы сами приходите...

...Когда он впервые в жизни без стука распахнул дверь в комнату дочери, она, застывшая в горестной позе у письменного стола, закрыла лицо руками. Вадим почему-то понял, что ожидал от нее именно такого жеста и вдруг, в самую неподходящую минуту, смутно чему-то обрадовался – жестокой и невозможной радостью:

- Ты... – глухо начал Вадим не имея понятия, что скажет дальше, но слова вдруг сами поперли из него одно за другим: – Ты все погубила. Затоптала – все. Я думал, ты – это она... Неважно, кто... И лицо то же, и имя... Думал, она пришла, чтобы...

простить... А ты – плюнула мне в душу. Все надежды... Все стерла... И вот за это ... за это... Ты для меня теперь... теперь... Хуже животного... Хуже даже... даже... даже... – Он отчаянно искал слово, страшнее которого нет и быть не может, и вдруг оно тоже выскочило само, будто давно сидело наготове: – Даже хуже Адольфа Гитлера ты для меня ...

Ну вот, кажется, я со своей повестью зашла уже в совсем непроходимые психологические дебри, и пора брать долгожданный тайм-аут, пока непоправимо не загоревал мой гипотетический читатель. Пришло, стало быть, время заканчивать с вполне реальными людьми, хоть след от мизинца оставившими на истоптанной дороге, по которой все идет и идет к неведомому водопою измученное стадо, носящее гордое имя Человечество.

Итак,

ГЛАВА ПЯТАЯ, О ТЕХ, КТО СМОГ ОСТАВИТЬ НА ЗЕМЛЕ ТОЛЬКО СЛЕД ОТ МИЗИНЦА, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩАЯ НЕКОТОРЫЕ МОИ СООБРАЖЕНИЯ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

От иных даже имен не уцелело. Например, как звали польскую панночку, которую привез с войны 1712 года мой предок – не Андрий (а почему, собственно, нет?) Фотографии тогда не существовало, но кто-то, кажется, видел эмалевый медальон с профильным изображением – иначе откуда во мне такая твердая уверенность, что гипертрофированные носы нашей женской линии – это ее, панночкино, наследство?

А прадедушки Владимира брат – протоиерей (на единственной фотографии – подпись: «священник Михаил»), расстрелянный или замученный в годы искупительных мытарств нашей Церкви? В списке канонизированных новомучеников и исповедников Российских, от безбожной власти пострадавших, мы не нашли ни одного по фамилии Павлов – но такой ли была его фамилия? Имел ли он потомство, был ли монашествующим или celibатом? Ничего – только, возможно, его молитвы за нас, беспамятных и ленивых.

Сестры прабабушки Капитолины – те самые, что получили кто карие, кто серые глаза от отца-цыгана и русской матери – они оставили хотя бы имена: Клавдия, Анна и Антонина. Анна, послушная зову крови, оказалась замужем тоже за цыганом – но верным своей родовой сущности: во время гражданской войны он занялся мелким лошадиным бизнесом, а попросту – конокрадством. Вместе с подельником они, вроде бы, воровали коней у красных и продавали белым, а ночью сводили у белых и вели продавать обратно к красным – у них же украденное добро. Чем кончили – прекрасно известно: были вполне справедливо расстреляны одной из ограбленных сторон, неудачно попавшись с поличным, и сама память о них сгинула в российском очистительном пламени. Уцелевшая Анна благополучно вырастила сына Виктора, ставшего впоследствии человеком очень оборотистого склада: при по-всякому вертевшейся Советской власти он виртуозно занимался любимым делом, к которому лежала его беспокойная душа: стяжательством и хищениями государственной собственности, уже в те, казалось бы, для бизнеса совсем не предназначенные годы, вкладывая деньги в «камушки» и недвижимость, которой успешно торговал: кровь предков кипела в нем, видать, не на шутку. Все это он проделывал, занимая невысокие бухгалтерские должности – и никак при жизни не расплатился за содеянное: имел на приближающиеся неприятности (вроде ревизий и тайных проверок) исключительный нюх – и никогда не жалел отдать малое, чтоб не распротиться с большим. Третья сестра, Антонина, вышла замуж за австрийца (немца?), которого в России называли Николаем (может, крестили – Клаусом?). Он ничем не проштрафился – но наказания избежать не сумел. Есть достоверная подробность его ареста: за Николаем не приехали, а *пришли*, и в «воронок» его не заталкивали. Семья жила в Лефортово (или на Лубянке), прямо напротив роковых ворот, и поэтому, как и тысячи других жен, услышав от мужа: «Это ошибка, не волнуйся. Я скоро вернусь», – Антонина провожала

его, ведомого под конвоем, взглядом через улицу до того момента, как он навеки скрылся в тюремных дверях. Больше несчастного никто никогда не видел, и ничего о нем не узнал: это тот случай, когда человек исчез бесследно. У них осталась – и выросла – дочь Фрида, никогда замужем не бывшая...

Слава Богу, не в прямой ветви, а в побочной – чья-то сватья или родственница – безымянная попадья. Эта переплюнула леди Макбет Мценского уезда, потому что была... профессиональной детоубийцей. Нет, не специалисткой по выкидышам, а именно удушительницей. Работая повитухой, она за сходную плату тайно принимала роды у женщин, скрывавших беременность, и, чтоб никакой досады от нежеланных детей беспутным матерям не выходило, придушивала новорожденных, а потом топила всех почему-то в одном и том же месте: под старой баржей, намертво, казалось, вросшей в окскую мель... Ее подозревали, но доказать ничего не могли: нет трупа – нет убийства; этот закон действовал уже и в те времена. Разоблачила преступницу Первая мировая: упомянутую баржу мобилизовали на нужды фронта, стащив с налёженного места, – и она оказалась сплошь облепленной младенческими скелетиками, как иной корабль ракушками... Попадью закатали в Сибирь пожизненно, но победоносный Октябрь, сажавший и казнивший невинных, счел уголовников жертвами царского режима и великодушно освободил их – так что отсидела преступница всего три года...

Могла бы я, возможно, откопать и кого-то еще – тоже едва заметную тень, неприкаянно скитающуюся по давнему прошлому – и в виде байки размером с пол-абзаца украсить ею книгу, как виньеткой... Не буду. Пусть спят спокойно в своих могилах или ямах, в зыбучих песках или вечной мерзлоте. Хочу лишь, чтобы упокоились их многострадальные души – откуда я знаю, вдруг та попадья перед смертью покаялась и приняла великую схиму с обетом молчания? Но я не уверена даже, что в моем собственном посмертии мне хотелось бы в этом удостовериться...

В этой части романа осталось разобраться только с моим неудачником-Адьюкой, и за все время, что я пишу книгу (а уже вплотную подступил август, и вместо пыльного раскаленного мегаполиса окружает меня весьма прохладная псковская деревенька), не раз терзало мою душу сомнение: а правильно ли я сделала, что связалась параллельно еще и с повестью? Не лучше ли попросту выкинуть ее из этого семейного романа и издать отдельной книжицей страниц на сто? И каждый раз я отвечала себе: нет, пусть все останется, как было изначально задумано! Моя повесть ведь не об Адьюке – а об ответственности живых перед теми, кто уже умер и еще не родился; о том, что не бывает невольной вины; и о том, что все творимое, ненавидимое или желаемое нами – обязательно имеет влияние на наших предков и потомков, каждую отдельную минуту... Она мучительно грустна, моя повесть, и может показаться материалисту безнадежной – ну так что ж, пусть материалист пропустит напечатанное курсивом...

Третью часть романа я не предполагаю разбивать на главы, замыслив ее одним целым, свободным, как дыхание, потому что речь в ней пойдет о таких летучих вещах, как детство и юность. В пику тем вспоминателям, которые, живя в одной общественной формации, считают своим долгом оплевать предыдущую, потому что таковы новые правила игры и хорошего тона («Смеха ради мы решили обвенчаться в церкви...»), не стану очень уж напирать на всем известные факты, которые принято называть ужасными: я росла и выросла в том, миновавшем навсегда мире, причем, воспитанная отцом-антисоветчиком, никаких иллюзий не питала лет с двенадцати – и все-таки была счастлива. Я не хочу позволить никому из нынешних – молодых, крепких и зеленых, как яблоки «Семеренко», убежденно заявлять мне, что у меня «Советы отняли детство», а юность моя «была искалечена тоталитарным режимом». Все то, что произошло в России после 1987 года, как и мое в ней пока неопределенное место, еще требует моего осмысления с высоты возраста – а вот последние двадцать лет *ушедшей* эпохи, увиденные и прожитые мной, я теперь уже могу рассматривать с определенного расстояния – будто художник, отступивший на несколько шагов от своей законченной картины.

Но это будет чуть позже, а теперь мне предстоит еще напряженная работа над тем, что будет в этой книге называться

ГЛАВА ШЕСТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ, О ТОМ, КАК АДЬКА УМЕР

От «Женщины для хозяйства» Вадим узнал, что его дочь работает корректором в редакции какого-то технического журнала. Домработница по прошествии почти двух десятилетий своего безупречного труда перестала представлять собой уж совсем бессловесный агрегат по уборке помещений и приготовлению пищи – и стала иногда позволять себе досадные комментарии к тому, что ее никоим образом не касалось. Обычно Вадим на бормотание не реагировал и молча выходил с газетой в кухню – когда ему утром в библиотечный день случалось работать дома, а ей влезть со своей шваброй в его комнату. Но когда однажды сопливым осенним днем она осмелилась, вытесняя его, пробормотать укоризненно: «Помирились бы с дочерью-то... Уже семь лет прошло, а все как нелюди...» – он взорвался:

- Попрошу без советов! Мой отец за это родную сестру не порог не пустил. А я с... такой же... под одной крышей живу – пусть и тому рада будет! И довольно об этом. Не терплю!!!

Тогда, семь лет назад, он оставил Анин аттестат на кухне – и положил себе больше не интересоваться ее жизнью, денег на содержание прислуге не выдавать, на слова не реагировать – и придерживался этого правила почти год. Известно было, что она учится на корректорских курсах, иногда слышались шаги в коридоре, звяканье посуды на кухне, шум воды в ванной... Проходя однажды ночью по коридору в уборную, Вадим зачем-то прислушался у двери дочери – и ему послышалось оттуда заглушенное рыдание. «И прекрасно, – подумал он мстительно. – Пусть теперь до конца жизни оплакивает. А могла бы стать...». Она могла бы стать точно такой, как его мама – честной женой, дочерью, матерью, труженицей – и носить такие же неброские платья без претензий, так же тихо и мягко разговаривать с ним, своим отцом, и впоследствии с мужем и сыном, его внуком... А теперь, даже если замуж ее отдать, любой ценой, едва знакомый с бритвой, может с полным правом придти к нему, уважаемому обществом человеку, и предъявить справедливую претензию: «Что это вы мне подсунули – товар-то с гнильцой!». И на внуках, как сказали в больнице, можно поставить широкий уверенный крест... Какую свинью ему подложила!

А через год Вадим столкнулся с ней прямо у дверей: вспомнил вдруг вечером, что папирсы все вышли, да и решил сбежать к табачному киоску, пока не закрылся... Только пальто надел и приблизился к двери, как на тебе: дверь вдруг отперли с той стороны, и дочь его явилась перед ним собственной персоной – а на часах уж почти девять, так что явно не с работы... Такая черная ненависть к ней плеснулась вдруг в сердце, что сам удивился. Злобно проскрежетал, едва сдерживаясь:

- Ну, что, из-под кого сегодня вылезла? Не понравилось кому-то с тобой сношаться, что рано домой прискакала?

- Я с курсов... французский учу... – пролепетала она, тоже обескураженная нежданной встречей.

- Понятно... – удовольствием едко протянул он, – на иностранцев собралась переключиться: за валюту выгодней.

И, не взглянув, плечом ее отодвинул с дороги.

Но с тех пор появилась у Вадима приятная отдушина – настолько приятная, что даже начал он специально подстерегать дочь в коридоре, делая вид, что вышел за какой-то надобностью. Столкнувшись с ним, Аня вся сжималась и затравленно взглядывала снизу вверх – и тогда Вадим с наслаждением спрашивал – ровно и спокойно, будто о чем-то само собой разумеющимся и вполне обоим известном:

- Ну, как сегодня клиенты? Извращенцы были?

Или вдруг бормотал словно бы сам себе, но так, чтоб она обязательно слышала:

- Надо бы унитаз лишний раз с хлоркой вымыть... А то у нас заразиться чем-нибудь – раз плюнуть...

Редко, но все же случалось, что обида и злость на нее подступала такая, что, подкараулив, набрасывался едва ли не с кулаками:

- Что пялишься? Что пялишься на меня, потаскуха? Такое сотворила, что и глаз от земли поднимать не должна – а она пялится! Вон отсюда, чтоб духу твоего!..

Очень жалел Вадим, что ни одной материнской или отцовской фотографии ему война не оставила: все они погибли в их разбомбленном доме, а тетка Катя, на брата сдуру избидевшись, когда он ей на дверь указал, все его карточки, как сама потом признавалась, еще до войны ножницами в мелкую стружку изрезала... А после таких вот встреч в коридоре – как хотелось ему хоть изредка достать какое-нибудь пусть даже бледно-серое изображение, где хоть сквозь туман, но просвечивали бы дорогие черты – и пожаловаться не в пустоту, а будто родному человеку, что вот оскорбила, обманула его родная дочь, а он так ждал, так надеялся, что вырастет она – и станет все по-прежнему... Почти по-прежнему, потому что еще лучше... А ведь как хорошо начиналось – и нос похож, и губы... И ростом такая же вышла, и волос шоколадный... А душа оказалась... Или тело?... Жалел в такие вечера Вадим, что не пьет: в юности по бедности не научился, потом работа захватила – не до водки стало, а теперь, когда полтинник вот-вот стукнет, и начинать как-то неудобно...

Еще одна неприятность прибавилась в самом начале восьмидесятых – да такая, что, казалось Вадиму, о ней и не расскажешь никому: стала вдруг у него из прямой кишки выделяться кровь, да не как-нибудь понемножку – прямо капала, а потом хоть на диван не садись: словно иглу в одно место вогнали и шуруют... «Конечно, до геморроя достукался с моей сидячей работой», – поставил себе диагноз Вадим и сначала стеснительно, а, привыкнув, уже и бровью не ведя, стал покупать себе разные свечи и мази. Полегчало сперва, обрадовался было – а через две недели снова чуть не пол-унитаза крови натекло... Боль уже не давала спать по ночам, а однажды, бреясь утром перед зеркалом, он заметил вдруг, что кожа как-то слишком туго обтягивает скулы, очень уж изглубока смотрят уменьшившиеся глаза, а ключицы неприлично выпирают двумя острыми углами... Ему уже ясно было, что пытки медициной не избежать – но еще месяц оттягивал, усиленно заталкивая в себя двойные дозы свечек – все надеялся, что вот-вот наступит облегчение... Но вместо возжеленного облегчения пришла однажды такая ночь, что заснуть от боли Вадим так и не смог – все казалось, что раскаленная спица орудует у него в задку и уже до кишок добралась, сейчас их подцепит и наружу потянет... Наутро, чуть свет, про всякий стыд позабыв, побежал трусцой в поликлинику.

Анализами Вадима терзали только неделю, а потом вдруг без лишних слов выписали направление в больницу. Он глянул – и ахнул: «Онкологический диспансер». Чуть стол перед врачом не опрокинул с криком:

- У меня же геморрой! Зачем меня туда, где больные раком лежат?!

Ему спокойно объяснили, что «онкологической» означает «опухольный», а геморрой – это тоже своего рода опухоль, только доброкачественная, поэтому онкодиспансер – это как раз то место, где его непременно скоро и окончательно вылечат...

...Оглушенный и присмиривший, он сидел на продавленной койке в шестиместной палате, дико озираясь на своих каких-то подозрительно худых и зеленых соседей, и изо всех сил убеждал себя, что надо проявить мужество и не расстраиваться по пустякам, потому что геморроем страдает около семидесяти процентов человечества. «Ничего себе пустяки! – в то же самое время проносилось как бы в другой, независимой, половине его головы. – Эти двое у окна точно умирают: вон, даже голов не повернули. Другие тоже хороши: у старика трубка прямо из живота торчит, и с нее капает что-то, а у парня глаза совсем как у сумасшедшего, и полиши в какую-то темно-багровую подушку

превратилось. Если меня с ними положили, то...». «Да ничего не "то"! – спорила другая половина. – Где койка свободная была, туда и положили...».

Раньше Вадиму казалось, что после пережитого в детстве он уже по мелочам пугаться не будет – а вдруг оказалось, что страхи на свете бывают разные, и до сих пор ему пришлось серьезно познакомиться только с одним, правда, из главных, начальствующих. Теперь же подступил и плотно в душе обосновался страх совсем другого качества – из тех, что душат медленно и жутко, вдруг не уходят и уговорам не поддаются... Поэтому, когда на следующее утро в безликую белую дверь вдруг просто, как к себе в комнату, вошла его дочь в темной клетчатой юбке и серой кофточке, он впервые за семь лет не испытал чувства горечи и обиды на нее – а так обрадовался, словно жили они всегда душа в душу, и приносила она своему отцу одну только радость и бесконечное утешение...

* * *

Не суждено было узнать Вадиму, что дочь его сегодня в больницу уже приходила, специально для этого отпросившись с работы, но к отцу не зашла, а только разговаривала с заведующей отделением – и после этого четыре часа бродила по душному городу с тяжелой головой и смутным сердцем. Сидела на теплых белых скамейках, съела на ходу французскую булку за семь копеек, а остатки ее скормила в тенистом дворе огромной стае голубей – собственно, не стае, а своре, накинувшейся на Аню с плотоядным рокотанием, стоило ей уронить себе под ноги несколько крошек белого хлеба. Формально Аня гуляла для того, чтобы не спеша обдумать свой неминуемый разговор с отцом о его лечении и приготовить себя к мысли, что ей придется взвешенно и, что называется, «с холодной головой» заставить его решить роковой вопрос об операции, призванной избавить от геморроя – на поверку оказавшегося раком прямой кишки, о чем ему врачи, разумеется, сообщать не собирались...

- Есть две возможности, и обе достаточно безрадостные, – неосознанно постукивая тонкими пальцами по столу, говорила заведующая; это была молодая высокая женщина с очень белой кожей, едва темнее врачебного халата, с глазами цвета сверхчистых весенних льдинок и хрустальными серьгами им в тон – казалось, что, если нечаянно прикоснуться к ее руке, то наощупь она окажется ледяной, мертвой – и от этого ощущения становилось страшно. – Можно, конечно, вашего отца прооперировать. Должна сказать, что операция очень тяжелая, травматичная и... как бы это сказать... впоследствии акт дефекации он уже никогда не сможет совершать нормальным образом. Иными словами, у него останется отверстие в боку, откуда и станет бесконтрольно выделяться кал.

- Как же это возможно? – пробормотала потрясенная Аня. – И куда же он... кал...будет... будет... – она смешалась.

- Существуют специальные калоприемники, хотя приятного, в любом случае, мало, – хладнокровно пояснила Снегурочка (так мысленно прозвала врачиху Аня почти с первого взгляда). – Но зато, если операция пройдет удачно, то возможно полное излечение. Я лично наблюдала больных, которые жили с таким калоприемником по двадцать и более лет – и ничего, привыкли, и были довольны жизнью. Но если говорить именно о вашем отце, то такой благоприятный исход маловероятен: болезнь его достаточно запущена, поэтому я вполне допускаю, что ликвидировать очаг со всеми метастазами не удастся. И тогда буквально через неделю начнется генерализованный процесс – то есть, метастазы с огромной скоростью распространятся практически по всем органам, и смерть наступит максимум через два месяца, а скорей всего, через один.

- То есть, операция не рекомендуется? – спросила Аня.

- Ее в таких запущенных случаях делают по настоянию больного, но положение затрудняется тем, что ваш отец не осведомлен о своей настоящей болезни и считает, что у него геморрой, вполне поддающийся оперативному вмешательству... Можно обойтись и без операции, имеется ряд терапевтических способов лечения рака – в этом случае ремиссия может составить до пяти лет, если организм правильно прореагирует. Анна... – сверившись с историей болезни, лежавшей на столе, – Вадимовна... Ваша задача – обдумать все совместно с отцом и уговорить его принять правильное решение. Со всей возможной деликатностью вы должны убедить его, что стадия геморроя еще не такова, чтобы делать операцию. А если вы все же решите к ней прибегнуть, то должны полностью отдавать себе отчет в том, что ее результатом может стать как выздоровление, так и весьма быстрая смерть вашего папы...

- Я подумаю... – поднялась Аня и вдруг почувствовала, что зубы ее начинают мелко-мелко стучать. – Мне нужно... время... – Еле выговорила она. – Я сегодня попозже к отцу приду...

Город Аню не принимал. Он гнал ее прочь со своих идеально прямых улиц, залитых июльским солнцем нарядных площадей, выдувал с набережных внезапными порывами горького ветра. Пристально, с неприязнью смотрели на девушку грозные черные и зеленые памятники, сердитыми кошками выгибали спины горячие мосты. Постепенно она забивалась все глубже и глубже в неприветливое серое нутро мегаполиса – пока не нашла убежища на скамье под угрожающе накренившимся тополем посередине небольшого дворика, втиснутого меж четырех бурых стен с редкими несимметричными окнами, под лоскутком ровно голубого неба высоко вверху.

Все эти семь лет Ане казалось, что она спит. Будто бы в тот миг, когда в больнице, ей, очумевшей от боли и страха, вдруг прижали к лицу плотную резиновую маску, она провалилась в тяжелый сон с черно-белыми сновидениями, от которого так еще и не очнулась. Смутно вспоминались корректорские курсы, после которых ее, как самую прилежную ученицу, рекомендовали на работу в специализированный технический журнал – и она осталась там, казалось, навсегда, потому что в редакции ей сразу же выделили отдельную комнату-норку – такую, что второй стол там поместиться по определению не мог. С девяти часов утра до шести часов вечера ежедневно, никуда не выходя на обеденный перерыв, да и вообще его не замечая, Аня читала там абсолютно ей непонятные, скучные тексты и машинально изукрашивала листы специальными значками – то крючочками, то змейками, то галочками... О ее существовании большой веселый коллектив, вероятно, даже не подозревал: она догадалась об этом Восьмого марта, когда где-то в недрах редакции слышались хлопки пробок из-под шампанского и взрывы беззаботного хохота – но в своей камерке она не обнаружила ни цветка, ни открытки... Еще учась на корректорских курсах, начала было и курсы французского, но утонула в незнакомом голубино-гортанном языке, ничуть не похожем на близкий со школы угловатый немецкий, и ходить перестала... Появились маленькие собственные деньги, часть которых она теперь отдавала «Женщине для хозяйства» на питание, а остальные расходовала как хотела... На книги не тратила: очень быстро сообразив, что в книжных магазинах можно купить только безликие стихи и унылые производственные романы, она перечитывала прочно забытые бабы Лидины, а иногда брала книжку-другую из районной библиотеки. Вскоре, однако, выяснилось, что после восьмичасового чтения пусть и чуждых, но все же печатных текстов, строки даже милых когда-то сердцу любовных приключений и криминальных повестей начала века немилосердно сливаются перед натруженными за день глазами – и тогда она стала целыми вечерами разглядывать ранее почему-то проигнорированные альбомы по искусству, а выходные проводить в музеях и на выставках. Узнала также Аня, что приобрести хорошее платье или туфли – задача почти невыполнимая, и поняла, что зря проклинала в детстве домработницу, покупавшую что попало: нельзя же было рассчитывать, что она станет давиться в очередях или рыскать по городу в поисках модного дефицита для чужой

девочки-сироты. В результате самостоятельности Аня оказалась одетой лишь чуть-чуть лучше, чем одевали ее девчонкой – и то потому, что нарвалась однажды в магазине на только что привезенные яркие чехословацкие клетчатые пальто, раскупленные минут за десять, да в городе Луге, куда начальство однажды загнало ее в «местную командировку», приобрела себе неожиданно симпатичные коричневые замшевые сапоги на танкетке, выпуска местной обувной фабрики. Сапог отец не заметил, а на пальто отреагировал:

- Что, валютой берешь? В «Березке» отоварилась?

Однажды, когда Аня избавилась от надоевшего «крысиного хвостика» и сделала себе в парикмахерской первую в жизни стрижку «сессун», очень ей шедшую и сразу превратившую вчерашнюю затюканную тихоню в молодую интересную девушку, отец заметил как бы мимоходом:

- Вот уже и последние внешние признаки порядочности утратила.

Поэтому воспользоваться косметикой Аня так пока и не решилась, боясь, что «намазанное» лицо вызовет у отца припадок злобы, из тех, что иногда на него находили, когда он – Аня чувствовала – порой готов был прибить ее до смерти...

В доме царила гнетущая, напряженная атмосфера, которая, думалось Ане, последнее время научилась проникать даже в ее, всегда закрытую комнату и не давала ни на секунду расслабиться, позабыть о прошлом, задуматься о возможных новых жизненных поворотах... Бывший возлюбленный Ани встретился ей с тех пор на лестнице дважды: один раз он шел с товарищем и сделал вид, что с Аней не знаком, другой раз был один – но, заметив ее, ускорил шаг и воровато проскочил мимо, смущенно сопя; спустя несколько месяцев под окнами стояла грузовая машина: семья переезжала... К тому времени для Ани это была уже не потеря, а облегчение.

О виновнике «приключения» отец не спросил свою дочь ни разу – с первого дня вбив себе в голову, что всему виной была только ее порочность и распущенность. Чем больше проходило времени, тем сильнее начинал он преследовать Аню издевательскими фразами и намеками – причем она прекрасно понимала в душе, что отец совершенно уверен в том, что дочь не совершает ничего предосудительного. Все это время он мучил ее сознательно несправедливо, мстя ей за что-то, к чему ей доступа не было... И если он откажется от операции, то ее мучения продлятся еще лет пять. За это время она превратится в нервную, высохшую старую деву с необратимо изменившимся характером и обреченную на вечный, уже ничем не изгоняемый страх перед жизнью... А если операцию сделают, то отец может, приспособившись к известным неудобствам, прожить еще лет двадцать пять. Или... около месяца. Оставалось только самой себе честно ответить на вопрос, чего из вышеперечисленного ей больше хочется – но Аня побоялась даже задать его себе.

...Когда она вошла в палату к отцу, то оказалось, что он лежит ближе всего к двери и неотрывно смотрит на нее как на источник ожидаемого избавления. Увидев дочь, он дернулся всем телом – Ане показалось, что от всегдашнего своего чувства отвращения к ней. «Какая разница?! – раздраженно подумала она. – Что бы я ему не посоветовала – он слушать меня все равно не станет!». Торопливо она приблизилась к кровати и опустилась на белый металлический стул напротив. Приходилось за семь лет впервые самой начинать разговор – и Аня решила поскорее от всего отделаться:

- Вот что, отец, – намеренно не назвала его папой, как в детстве; да, впрочем, он и сам когда-то этому противился. – Помочь тебе может только срочная операция.

- Я согласен, – вдруг тихо и хрипло отозвался он. – Пойди и скажи им. Пойди и скажи им прямо сейчас.

* * *

Молочной пенкой висел за незашторенными окнами нежаркий август. Аня опять сидела в том же кабинете напротив той же заведующей, неторопливо ронявшей острые льдинки-слова:

- Вы рискнули. Это решение, в любом случае, можно уважать. Не получилось – вина не ваша и не наша. Вы шли на операцию с открытыми глазами. По крайней мере, вы теперь можете утешиться мыслью, что боролись за здоровье отца до последнего – но победила болезнь. Медицина не всесильна, это тоже нужно понимать.

- Он очень мучается? – спросила Аня, чтобы не молчать.

- Совсем не мучается. Есть много соответствующих препаратов, способных почти полностью избавить умирающего от страданий, – на Аню сверкнули словно четыре профессионально внимательных, а на самом деле глубоко равнодушных глаза: серьги, как она еще раз заметила, были подобраны точно в цвет главному району.

- Если он обречен – то зачем сделали эту вторую, мучительную и заведомо бесполезную операцию? – задала Аня вопрос, казавшийся вполне логичным.

Но у Снегурочки имелась своя, медицинская, простым смертным недоступная логика:

- Существует определенная этика, требующая бороться за жизнь больного до самого конца.

Ане осталось только спросить – собственно, за этим она и пришла сегодня в кабинет:

- Сколько отцу осталось? Можно мне пойти и проститься с ним?

- Это, к сожалению, вопрос ближайших дней, а может быть, и часов. А в реанимацию, извините, посторонние не допускаются, – последовал исчерпывающий ответ.

Внутренне съежившись в маленький печальный комочек – что, впрочем, было привычным для Ани состоянием – она брела меж скамеек больничного садика, на которых то парами, то тройками расположились раковые пациенты. Что здесь смущало Аню всегда – так это их постоянный хохот: они беспрерывно травили анекдоты или бурно смеялись над тем, что само по себе совсем не было смешным. Вот и сейчас внимание двоих лысых, изжелта-зеленых и худых до крайности мужчин в карикатурно болтающихся казенных пижамах привлекла скромная муха, сделавшая привал на спинке их зеленой скамейки:

- Смотри, смотри, приюхивается!

- Пряма, как моя половина: не иначе, водку ищет!

Оба они скрючились от хохота неизвестно над какой глубоко запрятанной ассоциацией, в то время как Аня, скосявшись на них с известной долей ужаса, быстро проскочила мимо. Но слово «водка» резануло ей слух, как-то зацепилось в мозгу – и, выйдя за больничные ворота, она вдруг направилась прямо к виноводочному магазину. «Нет, не водка, конечно, не водка... – из последних сил здраво рассудила она. – Пусть будет вино... Какое же мы тогда с Аликом? В тот день, когда в первый раз... Ага, вот оно – такое название не забудешь: «Рислинг»... Надо же, какой дешевый, всего семьдесят семь копеек...».

Был только час дня, когда Аня откупорила на кухне зеленую бутылку, – и уже восемь, когда она проснулась на кухне же, головой на столе рядом с пустой тарой и на боку лежащей розовой рюмочкой... Во рту было мерзко, голову словно набили опилками, как у Вيني-Пуха, но где-то в самой ее середине, глубоко внутри сидела какая-то странная идея насчет кладовки в коридоре: будто бы до того, как отключиться, Аня приняла какое-то важное решение, связанное с этой кладовкой, решение, ради принятия которого она и покупала сегодня эту бутылку «Рислинга», а потом заставила себя выпить все до последней капли... Она оперлась на стол обеими руками и поднялась; минуточку постояла и обнаружила приятную способность никуда не крениться и ступать достаточно твердо. Тогда Аня неуверенно направилась в коридор и распахнула

дверь кладовки, которую не помнила, чтоб открывала в сознательном возрасте: насколько она знала, там хранились различные временно ненужные вещи и хозяйственные приспособления. Недоумевая – что же ей здесь так понадобилось, Аня осмотрелась при тусклом свете стоваттовой лампочки – и вдруг ее ударило: справа, прямо у двери, висел белый халат «Женщины для хозяйства», в котором она уже лет десять имела обыкновение мыть посуду – вероятно, для того, чтоб и самой себе, и хозяину показать, какая стерильная у нее посуда после мытья и, следовательно, как она в доме незаменима. Озаренная мгновенной потрясающей вспышкой, Аня рванула халат с вешалки.

Она натянула его прямо на кофточку при подходе к больничной ограде – и совершенно беспрепятственно прошла мимо будки сторожа, которого там то ли вовсе не было, то ли он заведомо на передвижение белых халатов не реагировал. Единственной открытой дверью оказалась какая-то задняя – и там, в маленькой комнатке, облицованной потрескавшимся кафелем, обнаружилась огромная толстая тетка, копавшаяся в куче грязного белья, сваленного на покрытой оранжевой клеенкой кушетке. Аня приготовилась вывалить перед ней заранее приготовленную речь, но тетка неприязненно заворчала первая:

- Говорила же, через бельевую не шастать... Вот куряк напсысывали на мою голову... – и Аня, сделав виноватое лицо, проскользнула через комнатушку в коридор.

Добраться до отделения реанимации оказалось делом нехитрым: прямо у входа на лестницу, где она почти сразу оказалась, была прибита табличка с указанием этажей и отделений, на них находившихся. Реанимация значилась на четвертом, и Аня припустила вверх по лестнице, задыхаясь не от бега, а от волнения; впрочем, она откуда-то совершенно точно знала, что задуманное сегодня вполне удастся ей: такая была во всем теле неожиданная легкость и умелость... У двери с соответствующей надписью привычно собралась было Аня постучать, но вовремя вспомнила, что счастливые обладатели белых халатов спокойно входят всюду без стука – и уверенно распахнула дверь. Прямо перед ней оказался небольшой сестринский столик, за которым восседала, углубившись в чтение, медсестра в таком высоком колтаке, что он на миг показался Ане похожим на убор Нефертити.

- Ну и где ты шляешься-то? – сразу же агрессивно набросилась девица на обескураженную Аню. – Ты во сколько придти должна была, дурында? В восемь должна была придти! А сейчас сколько? Терпеть не могу этих практиканток долбанных... Чего буркалы выкатили на меня? Пошла быстро, дохляков всех проверила и температуру записала! Да шевели давай копытами своими! – и медсестра невозмутимо уткнула нос обратно в журнал «Силуэт».

Совершенно сбитая с толку таким приемом, Аня мышью юркнула в ближайшую белую с молочным стеклом дверь. За ней оказались в ряд стоящие четыре кровати, на каждой из которых лежало нечто бесполое, едва определяемое как человеческая особь, опутанное множеством трубок... За изголовьями кроватей мерцало по черно-белому телевизору с какой-то бегущей диаграммой на экране. В палате горела длинная жужжащая лампа под потолком – и в ее мертвенном свете Аня принялась судорожно вглядываться в совершенно одинаковые лица полупокойников. «Зря пришла. Зря все придумала, – горестно решила она. – Все равно он спит и ничего не услышит... А меня поймут и проищут по первое число». Но тут она узнала: у самой стенки, слегка отвернув голову, худой до полной схожести со скелетом, лежал ее отец. «Мне следовало бы сейчас заплакать от жалости. Мое сердце должно просто кровью облиться. Почему же я ничего подобного не чувствую?» – отвлеченно подумалось Ане. Она опустила на колени так, что лицо ее пришлось почти ровень с подушкой страдальца.

- Отец, – прошептала она, опять инстинктивно не решившись на «папу», почувствовав, что ни она, ни он, каким-то образом не достойны этого доброго слова. – Отец, проснись, это я.

Он не пошевелился, но Аня знала, что все равно должна произнести то, зачем пришла:

- Ты прости меня, отец: ведь я специально убедила тебя сделать операцию. Потому что в душе хотела, чтобы ты поскорей умер и больше меня не мучил.

Только произнеся эти ужасные слова, изначально задуманные как просто облегчающие неуверенную совесть, Аня ясно и бесповоротно поняла, что так оно и было на самом деле, и вовсе не на полное выздоровление отца надеялась она, убеждая его, а именно на скорую его смерть и свое освобождение. «Слава Богу, что не слышит!» – промчалась отчаянная мысль. Можно было уходить, но Аня медлила, неизвестно чего выжидая, и вдруг совершенно для себя неожиданно нагнулась, поцеловала сухой горячий лоб, прошептала: «Слышишь, отец? Это я сделала тебе, я...» – и в ответ донесся едва различимый шелест:

- Так мне... и надо...

Пораженная Аня нагнулась еще ниже:

- Что ты говоришь такое?! – почти вскрикнула она.

Губы отца вдруг явственно скривились в его обычную едкую усмешку, и он снова зашептал с перерывами:

- Ты только меня... одного... а я пятьдесят человек... и собственную мать... так что не жалея... не жалея...

- Ты бредишь! – сразу почувствовав, что изнутри властно встает оглушительная темная волна, вслух сказала Аня. – Твою маму убили немцы... Какие пятьдесят человек, тебе кажется! Тебе просто приснилось!

- Ничего не приснилось... – продолжал трескучий прерывистый шепот. – Мать я бросил в лесу с убийцами... которые шли к партизанам... они боялись, что она скажет немцам... а я убежал... и выдал всех... выслали... карательный отряд... привели их в деревню... и расстреляли... это я... сделал...

- Ты был маленький... – пробормотала в крошечном ужасе Аня. – Сам не понимал, что делаешь...

- Прекрасно понимал... – вновь усмехнулся он. – Потому что ведь я же – Адольф... как Гитлер...

- Ты все-таки бредишь! – облегченно воскликнула Аня. – Ты никакой не Адольф, а Вадим Петрович... Я позову сестру!

- погоди звать... поздно... Вадимом я стал после войны... Сменил документы... А был Адольфом... Так отец решил... Так что и ты, дочь... Адольфовна... По отчеству и поступки... у тебя... Но ты не жалея, ничего: тебе ведь от меня... тоже досталось: уж больно ты на мать мою похожа... вот и подумал я, что она... вроде как через тебя вернулась... А ты мне свинью такую... Да что уж теперь... И ты прости, если можешь... – напряженно и твердо произнес умирающий.

Аня порывисто схватила тяжелую и влажную кисть руки, лежащую поверх одеяла:

- Папа, послушай, я всегда хотела тебе сказать...

Но он вдруг пресек ее своим прежним нетерпимым тоном, которого так боялась раньше маленькая Аня:

- Лишнее это, Анна. Не терплю.

- Ты чем это тут занимаешься, а?! – визгливо грянуло вдруг сзади. – Я ее послала большим температуру мерить, а она с мужиками заигрывает!

...Халат Аня так и не сняла. Шла и шла в нем по пустой незнакомой улице и не плакала, а истерически посмеивалась, приговаривая: «Я – Адольфовна! Надо же, оказывается, Адольфовна я!» – и немногочисленные ночные прохожие брезгливо сторонились ее, думая, что медичка отведала лишнего спирта без должной закуски... Но Аня ничего этого не замечала, потому что думать могла только об одном: ей теперь с

этим предстоит жить, а поскольку жить с таким невозможно, то, значит, это нужно исправить. Она знала, что успеет: ведь жизнь ее только начиналась.

Итак, с героями своими – придуманными и живыми – я благополучно разделалась, оставив, конечно, своего терпеливого читателя в компании с кучей вопросов самого разного порядка – от сугубо материалистических – через экзистенциальные – до метафизических, но совесть моя чиста: согласно нашей писательской аксиоме, которой так удобно отбрезиваться от справедливых читательских претензий – искусство не отвечает на вопросы, а только ставит их. Рада была их задать – прежде всего, самой себе. Хватит ли жизни, чтобы ответить?

Завтра я покидаю нашу Пушкиногорскую деревеньку – если Богу угодно будет, то на неделю. Ей предстоит стать приятно насыщенной городскими проблемами и встречами, чему я чрезвычайно рада, потому что, дитя мегаполиса, оторвавшись от него, начинаю тосковать не более чем через три недели. До свидания, мой солнечный летний кабинетик с картой Псковской области на стене и розовыми жалюзи, за которыми так приятно прятаться от внешнего мира, – с правой стороны, и прелестной подосиновиковой рощей за окнами – с левой... Как в детстве, нет на мне живого места от беспрестанных падений с велосипеда – только заживают синяки и ссадины теперь не в пример дольше – опять искусана я комарами и вся обожглась (в детстве употребляли удивительное слово: обстрекалась) крапивой, покрыта совершенно неприличными для дамы веснушками и уже не так безусловно, как в молодости, идущим мне загаром...

Тогда, в детстве, как же хотелось скорее вырасти – и как это было скоро исполнимо – и как теперь, в сорок, хочется хоть на миг задержать торжествующее время! И как милостив наш Господь, стирающий из памяти все темное и ничтожное, оставляющий нам детство и юность в виде золотого отблеска в начале тоннеля – на который всегда можно с уверенностью обернуться, в то время, как в конец порой страшно смотреть...

Надеюсь через неделю начать оглядываться обстоятельно. Потому что это не только мое прошлое, но и миллионов моих сверстников, ныне огульно названных потерянными поколением: мы выросли и сформировались при Советской власти, а применять полученные знания, навыки и взгляды на жизнь нам пришлось уже во время – и после – Последней революции. Наше отрочество и юношество как раз и закончились на переломе – и я не знаю точно, дети какой эпохи мы есть. Потерянные? Ну уж нет! Костяк любой церковной общины составляют мои ровесники – люди, родившиеся в шестидесятых-семидесятых (миф о церковных «бабушках» пришел из того же доперестроечного времени, когда церкви наполнялись доживающими свой век старорежимным старушками: нынешнее пожилое поколение – комсомольцы пятидесятых-шестидесятых, то есть атеисты по определению, и это именно их путь к Богу самый трудный из всех). Нам посчастливилось расти и мужать в те годы, когда старый строй еще сохранялся, но основам его никто уже не верил – до того окарикатурилось все вокруг, до того окружающее убожество не вязалось с лозунгами о том, что у нас все самое лучшее в мире. Но именно поэтому мы каким-то образом оказались внутренне, душевно готовы к переключению нашего мира, да и сознание еще не заостенело... Как оно формировалось у человека искусства (о других судить мне труднее), я и расскажу все, что запомнилось и осозналось, в третьей части моего пока самого странного из всех романа.

Часть третья,

В КОТОРОЙ ВСЕ СМЕШАЛОСЬ

Как бы это научиться мне удерживать свой язык от категорических высказываний о будущем? Я уже немножко не такая, как неделю назад: у меня другая стрижка и цвет волос, а в душе моей на несколько рубцов больше. Я сегодня не совсем та женщина,

которая писала в конце второй части романа о грядущей неделе отдыха от деревни и работы над книгой: «Ей предстоит стать приятно насыщенной городскими проблемами и встречами, чему я чрезвычайно рада...». *Та* женщина и понятия не имела, что 8 августа Грузия по приказу Мирового правительства атакует Южную Осетию, где погибнут полторы тысячи граждан России, а тридцать четыре тысячи осетин навсегда распрощаются с прежней жизнью и получают безысходное наименование «беженцы» – а что стоит за этим словом, не приведи Господь узнать на своей шкуре никому. *Та* женщина не знала, что ее собственный муж приедет в родной Петербург как раз на похороны своего племянника, тридцати шести лет отроду умершего во сне от таинственной болезни под названием «сердечная недостаточность» – чего *недостало* его сердцу, что оно взяло и остановилось? *Та* женщина не могла предположить, что в эту ее «отпускную неделю» умрет писатель Александр Солженицын – к творчеству которого можно относиться по-разному, но не признать глобального масштаба этой личности невозможно по определению... Сколько раз в жизни предстоит мне еще зарекаться бездумной рукой выщелкивать по клавиатуре таким достоверным кажущееся будущее время?..

...Хрущевская оттепель благополучно завершилась, и в стране прочно обосновался торжествующий развитой социализм, когда в городе Ленинграде 6 октября 1967 года, в клинике Государственного Педиатрического института (в него же, но уже под гордым именем «Академия», тридцать семь лет спустя поступил мой сын) в 3 часа 25 минут утра родилась я, не причинив при этом своей матери особых страданий, – все они для нее еще были впереди. По воспоминаниям мамы, осень стояла в том году небывалая для наших широт, а именно такая, что папа приходил под окна клиники в одном свитере – и солнце соперничало по яркости с листвой.

Моему рождению предшествовало одно небольшое происшествие, внешне роковых последствий не получившее, но кто знает... В конце беременности мама неосторожно оступилась на гладкой каменной лестнице старого здания Военно-медицинской Академии, возвращаясь с приема у профессора, – и пересчитала своим девятимесячным пузом все ступеньки в пролете сверху донизу: «Берет в одну сторону, сумка – в другую». Профессор, к которому она через минуту снова влетела в панике в кабинет, успокоил мою маму, но Бог весть, может, именно тот достопамятный случай что-то свихнул в моих несчастных мозгах в сторону писательской инаковости? Потому что это туманное понятие – инаковость – стало моим проклятием и отрадой с того момента, когда я вдруг осознала себя в качестве отдельного разумного существа.

С выбором имени для меня родители, по всей видимости, намучились, с чего-то решив в этом вопросе послушаться старших, – чего с ними позже, насколько я знаю, не случилось. Мечтали назвать Анастасией (была бы сейчас Ася – и вся жизнь, наверное, текла бы иначе) – но стеной вдруг встала мамина мама Тамара: у нее, оказывается, когда-то была соседка с таким именем – и настолько неприятная женщина, что бабушка вдруг выдала свое грозное предупреждение: «Назовете Настасьей – близко к вашему ребенку не подойду!». Наскоро переменили на Ксению (как торжественно вышагивала бы я теперь вокруг знаменитой часовни!), но тут вдруг тетя Зоя вмешалась со своим суждением: «Ксения – она же блаженная! Хотите, чтобы девочка придурковатой стала?». Не рискнули по молодости, неопытности и религиозному невежеству. И тут имя само отыскало меня: вышла на экраны чудная лента «Война и мир» – с Самойловой и Тихоновым, молодыми и пленительными. «Может, пусть будет Наташа?» – и участь моя была решена на месте. Меня назвали классически – в честь Ростовой – и менее подходящее лично мне имя придумать было невозможно, даже если бы долго над этим биться. Полагали также родители, что проявили небывалую исключительность, но, когда спустя положенное время я пошла в школу, то выяснилось, что в классе нас шесть Наташ – жертв таких же оригинальных мам и пап. Счастье еще, что родилась я не мальчиком: звать бы мне тогда Ипполитом, ибо папа, это имя выбравший заранее, от своего, в силу образцового упрямства, не отступился бы.

Жертвой родителей в прямом смысле слова я оказалась еще дважды в свой довоспоминательный период жизни. Однажды они не заметили крупинки марганцовки, попавшей в пеленку – и в результате я заработала пожизненную метку на ягоднице, которую злокозненный кристаллик буквально прожег во мне – а мама удивлялась: почему так истошно орет ее ребенок – вроде бы, накормленный, сухой и без температуры! В другой раз я была заботливо напоена камфорным маслом вместо рыбьего жира – это сослепу сделал любящий папа, Бог весть как перепутавший бутылочки...

Первые воспоминания? Благодаря увлечению фотографией моего тогда двадцатилетнего дяди Владимира (ныне – зам. директора института им. Курчатова в Москве), мне теперь легко соотнести их с конкретным временем и твердо заявить, что первое из них относится – страшно сказать – к возрасту не более десяти месяцев. Все дело в осле. Вернее, в сером плюшевом ослике с черной гривкой и глазками-пуговками, с которым я снята в ползунках на московском диване. По всей видимости, эту игрушку я предпочитала всем другим, потому что мама с бабушкой взяли ее для моего утешения, когда им потребовалось куда-то поехать со мной на трамвае. А надо сказать, что трамваи тогда представляли собой красные деревянные ящики на колесах, грохотавшие так отчаянно нестерпимо, что едва ли не до своего полного исчезновения вызывали у меня животный ужас: в возрасте, когда я уже могла проявить какой-то протест (то есть, меня нельзя было просто взять под мышку и понести), я, случалось, пыталась воспротивиться посадке в подъехавший трамвай, если он был из «шумучек», как я их метко окрестила. Я готова была мерзнуть или париться на остановке, пока не придет трамвай более новой модели (округлый, как огурец, желто-полосатый и не такой гремучий). Внутри «шумучек» находились лакированные деревянные скамьи со спинками, расположенные частью вдоль стен, частью поперек, а окна опускались в жару беспрепятственно не только сверху, как стало позже, а едва ли не до половины. И вот в такой именно московский трамвай жестоко погрузили грудного ребенка неразумные взрослые – и бедное дитя, естественно, зашлось в горе, не в силах по причине бессловесности объяснить кому-то, какой сильный стресс оно переживает среди всей этой какофонии чудовищных звуков, незнакомых запахов и чужих лиц. Тогда бабушка Тамара посадила упомянутого ослика верхом на опущенное до предела окно и принялась меня, безутешно рыдающую, увещевать: «Вот видишь, никто не плачет, и ослик твой едет верхом на раме и не плачет...» – эту сцену я практически неизменной перенесла в «Дерево на крыше», вложив приведенную выше прямую речь в уста матери главной героини. Я сделала это по причине уж слишком явной запредельности воспоминания: ну, не помнят себя люди в десять месяцев и уж, конечно, не понимают значения таинственного слова «рама», на которой, вдобавок, можно еще и прокатиться «верхом».

Два других воспоминания относятся уже к возрасту около двух лет, и связаны все с той же Москвою, а также с моментами моего болезненного ущемления – что я всегда в детстве переносила с трудом. Первое касается самолета, где я прекрасно помню стюардессу, наклонившуюся к нам с подносом, на котором как сейчас вижу маленькие стаканчики с желтым лимонадом и простой газированной водой. Я тянусь, конечно, к лимонаду, но мама отводит мою руку, объясняя стюардессе: «Ей нельзя: простудит горло!» – а сама, как ни в чем ни бывало, берет и выпивает целый стаканчик прямо у меня на завистливых глазах! Из того же полета в Москву помню облака под нашим иллюминатором, и свое удивление оттого, что они, оказывается, не всегда наверху! Горло, видно, действительно часто болело у меня в ту пору, потому что и второе околodвухлетнее мое воспоминание – о нем же. Мама купила два бумажных стаканчика с мороженым – к ним тогда прилагались беленькие закругленные дощечки – «палочки», и вот она учит меня есть уж совсем возмутительно понемножку, едва-едва на самый кончик палочки набирая быстро тающее мороженое – а сама при этом заглатывает его порциями, кажущимися мне неправдоподобно огромными! «Маме можно, – еще и заявляет она при этом. – У мамы горло здоровое».

На этом отдельные воспоминания, относящиеся к разряду первых, заканчиваются: начиная примерно лет с трех, я помню свою жизнь и собственное к ней отношение так же хорошо, как и события, происходившие год назад – с теми же островками значимости и темными провалами неважного и пустого.

Но, как только началось регулярное осознание и оценка окружающего – пришла и вечная пытка своего отчаянного несоответствия всему этому, что постоянно выражалось в ощущении себя старше всех окружающих детей. Говорю со всей ответственностью: это какой-то ужас – воспринимать сверстников в качестве маленьких животных с чисто физиологическими потребностями и слепой эгоистической жестокостью в поступках – и видеть взрослых, упорно принимающих меня за такой же бездумный и бездушный сгусток клеток, как и эти маленькие, вечно жующие, воющие и грызущиеся создания с густыми зелеными соплями, гадко свисающими из одной ноздри. Невозможность в этих условиях до кого-то достучаться с криком: «Со мной нельзя так, как со всеми!!!» – доводит едва ли не до желания умереть, потому что от взрослых такого ребенка отделяет словно невидимая стена, из-за которой его попросту не слышно – да и слушать не особенно хотят. Еще страшнее осознавать себя старше заодно и большинства взрослых – не в плане житейского опыта, а в другом, каком-то высшем, неназываемом смысле – и не уметь обозначить это правильными словами даже для самого себя, зато постоянно слышать, что ты обязан за что-то уважать и слушаться этих тупых и беспощадных горилл, не понимающих самого насущного для тебя: как воздух необходимого человеческого участия... Но ты для них еще не человек, вот в чем все дело! Речь здесь идет, конечно, не о родителях, а о детсадовских воспитателях, которых теперь (сама взрослая!) понимаю распрекрасно: перед тобой сорок «гавриков» (выражение моего папы) – и дай еще Бог, чтобы к концу смены они все были живы-здоровы, а уж вникать в тонкости каких-то там душевных состояний! Да никаких нервов не хватит: поэтому парами их, парами... Два, четыре, шесть, восемь... все на месте, и то хорошо... Стоять в паре я категорически не любила, потому что в детском саду подруг не обрела, упиваясь своим одиночеством, а насильственно поставить рядом (и заставить держать за противную теплую руку!) могли кого угодно – чаще всего одного из малолетних садистов, от которых дети половчей меня сумели отвертеться. Когда детсадовскую группу вели на прогулку колонной, я все норовила остаться без пары и эту колонну молчаливо возглавить, в таких случаях тайно именуя себя странным именем – или должностью, шут знает! – «Правила». «Ты почему это не в паре?!» – однажды рявкнула на меня, трехлетнюю, чужая, из другой группы, воспитательница (своя, не видя вреда, моему одиночеству попустительствовала). «Я – Правила!» – сдуру ответила я, и тут же была схвачена за шиворот и впихнута в колонну по соседству не помню с кем: «А ну-ка, встать, как все!». Игра была навеки испорчена, и я, хоть и продолжала, когда не шпыняли, ходить в одиночку, Правилкой себя больше не звала...

В детском саду я отчаянно тосковала – и по маме, и вообще от всей гнетущей обстановки. Это именно с тех, детсадовских лет у меня сохранилась ненависть к дневному свету в комнате: он для меня навеки стал символом глубокой, грызущей сердечной тоски. Вскоре после того, как меня доставляли в садик, рассветало, и вся ребячья деятельность (моя, в основном, заключалась в напряженном стоянии у окна) проходила при естественном освещении – а под вечер безжалостно включались под потолком лампы – и опять «дневного света». Они гудели и трещали, отчего нервы закручивались в тугие спиральки, и все внутри сжималось от мучительного чувства неприкаянности. Потому теперь я и живу почти круглосуточно за плотными шторами при мирном желтом электричестве: это не пустая прихоть, поверьте...

А вообще, тот первый мой детский сад на Смоленской улице считался, по всей видимости, неплохим. Помню одну из воспитательниц – брюнетку лет сорока семи по имени Антонина Прокофьевна. Когда вижу ее на фотографии, то отчетливо понимаю, что это была достаточно по нашему времени молодая женщина, но тогдашние правила жизни

предъявляли иные, беспощадные требования, согласно которым существовало строгое возрастное разграничение фасонов одежды для женщин. Даме старше сорока считалось неприличным одеваться так же, как тридцатилетней, ее уделом уже до самой смерти становились темные («строгие») платья и костюмы, что мгновенно превращало в старуху любую женщину во цвете лет. Она была по-хорошему доброй, эта Антонина Прокофьевна, а ко мне, до того невменяемой и никаких увещаний не воспринимавшей, сумела найти особый подход, называя «красавицей» – то есть не похожей на других, что мне и требовалось. В ее присутствии мое страдание никогда не было таким острым, как без нее – и мое искреннее спасибо ей за это. Сейчас рабе Божьей Антонине может быть около восьмидесяти пяти, и если она жива и здорова, то многие ей лета, а если уже упокоилась, то – Царствие Небесное.

В детский сад отвозил меня обычно папа по пути на работу: мы выходили из дома без двадцати девять и садились на Московском проспекте в троллейбус. Я все норовила забраться на переднее сиденье, или прилипнуть к стеклу у кабины – так, чтобы видеть приближающееся здание детского сада (он располагался в высоком коричневатом сталинском доме). «Еще далеко... – убеждала я себя на каждой остановке (их было три, на четвертой выходить). – И теперь еще далеко... И теперь...». Каждый раз я ухитрялась удачно обмануться тем, что на остановке, следующей за нужной нам, стоял дом, очерком похожий на детсадовский, и мне все мечталось, что однажды случится такое волшебство, что детский сад появится хоть на чуть-чуть не так скоро...

А теперь самое время поговорить о любви. Я оказалась ею больна с пеленок – откуда такая напасть, и ума не приложу. Один доктор сказал, гормоны. Эстрогены. Недаром, у меня, северной девочки, переходный возраст настал еще до одиннадцати лет. Не знаю, но любовь – это мое второе жизненное проклятье – ну, и счастье, само собой. На самом деле, это и есть настоящая движущая сила моего творчества – а все остальное лишь его *оправдание*. Я начала влюбляться со всей недетской страстностью примерно лет с трех – и каждое, я подчеркиваю – каждое! – мое чувство было сильным женским переживанием, и даже те из них, которые постигли меня в самом нежном возрасте, по-прежнему пользуются моим уважением, потому что любила я всерьез – без кавычек, и страдала совершенно так же остро и неизбежно, как и потом, будучи взрослой. Более того, мои мучения усугублялись еще тем, что влюбленная трех-, четырех-, пяти- и так далее – летка является для взрослых объектом хорошо еще если добрых шуток – а то и сомнительных острот: не может ведь у ребенка быть серьезных чувств по определению, нет у него такого права, и все тут...

Первая запомненная мною любовь приключилась именно в том детсаду на Смоленской. Возлюбленный мой посещал среднюю группу, то есть, был старше меня на год и казался мне совершенно взрослым молодым человеком. Звали его Олег Теплов, и единственная возможность лицезреть объект обожания представлялась во время прогулок, когда младшую и среднюю группы выгоняли гулять на одну и ту же сторону детской площадки. Подробности его внешности стерлись из моей памяти, хотя я почти наверняка могу утверждать, что был это крепко сбитый мальчик шатенистого оттенка. Болел он редко: не помню своих страданий по поводу его отсутствия в детском саду, и каждый день скрашивался для меня ожиданием дневной прогулки, где я могла бы, для вида усевшись над кучей песка невидалеке от остальных, чтобы меня никто не трогал и не гнал, издали наслаждаться видом любимого (тогда детям усиленно вдалбливался коллективизм, и уединенно играющий ребенок воспринимался одиозно). Он, кажется, был из тех ребятешек, кого моя заразительно жизнестойкая подруга Татьяна называет совершенно очаровательно: «деловая колбаса». Мальчик все время деловито сновал туда-сюда с озабоченным видом, таскал какие-то таинственные предметы и имел очень серьезное выражение лица. Изо дня в день я лелеяла одну и ту же порочную мечту: спать с ним рядом. Ничего удивительного в этом не было – и невозможного тоже: в детском саду специального помещения для спальни не имелось, и в этом качестве использовался

актовый зал, где няни во время прогулки и последующего обеда расставляли раскладушки, застилая их бельем, взятым из индивидуальных мешков. Мешки приносились из дома, и рисунок моего, сшитого для меня мамой, навсегда врезался в память: это были на коричневом фоне огромные цветы вроде подсолнухов, только почему-то не с подобающе желтыми лепестками, а с бледно-зелеными. Обе группы укладывались спать в одном зале, раскладушки ставились торопливыми нянями вперемешку, и для того, чтобы каждый ребенок мог сразу определить, где сегодня его место, в ногах раскладушки вывешивался мешок от белья. Более того, раскладушки в целях экономии пространства расставлялись парами, одна тесно к другой. В течение почти целого года я входила после обеда в зал с трепещущим сердцем, замирая от надежды увидеть свой мешок рядом с его – ну, пусть не в паре, а хотя бы через проход! Каждый раз мое бедное сердечко маленьким тяжелым камушком падало вниз: мешок Олега, как специально, оказывался на другом конце зала... Чудо случилось, как это обычно и происходит с чудесами, именно тогда, когда я уже перестала его ждать и входила в зал почти спокойная, впервые разуверившаяся в возможности счастья лично для меня. Немного левее от центра, ближе к огромному окну, нас ждало чудное широкое брачное ложе – две сдвинутые раскладушки. Впервые в жизни я с восторгом кинулась в постель – ни до, ни после того дня, ни разу не удавалось мне заснуть во время тихого часа, и я считала его неизбежной ежедневной пыткой, уставая за эти два часа больше, чем за весь психологически хлопотливый день. Вскоре пришел Олег и, даже взглядом не удостоив «малышку», подложенную ему сбоку, невозмутимо улегся под одеяло и заснул почти мгновенно, как и большинство мужчин всех возрастов – со спокойной совестью и крепкой нервной системой. Спустя двадцать три года в первом моем романе «Пятая власть» я положила на раскладушку вместо себя своего главного героя Ивана Голованова, а мальчика заменила на девочку... м-м... книги нет сейчас под рукой, но, впрочем, имя не так уж и важно. Мой Иван пошел дальше меня: он поцеловал ручку своей спящей возлюбленной. Я не посмела, хотя, разметавшись во сне, Олег выложил свою руку прямо мне на подушку. Два часа счастья пролетели как один плохо осознанный золотой миг – и, когда стало очевидно, что тихий час неумолимо заканчивается, потому что уже пронесли через зал огромный железный поднос с омерзительной запеканкой к полднику, я решилась осторожно прикоснуться к лежавшей рядом руке любимого человека и нежно ее пожать. Немедленно пришлось мне испытать на себе извечное мужское вероломство. От легчайшего прикосновения мальчишка как-то враз проснулся и подскочил на постели с криком: «Дура противная! Чего щекочешься!». Я тоже села и попыталась оправдаться: «Ты руку на мою подушку положил, вот я ее и убрала». «Сейчас как дам!» – немедленно последовал неоспоримый мужской аргумент – и Олег со всей силы толкнул меня обеими руками в грудь, так что я грохнулась на железный край своей раскладушки... Тут, конечно, примчались сразу две воспитательницы, которым я, душевно оглушенная катастрофой, очень убедительно соврала (я уже знала к тому моменту, что во вранье для меня навсегда единственное спасение, потому что *мою* правду вслух произносить бесполезно и опасно), что этот мальчик во сне положил мне руку на лицо, а когда я хотела ее осторожно снять, он меня обзвал нехорошими словами и так толкнул, что я даже ударилась о железку... Моего обидчика наказали – поставили в угол в одних трусах до конца тихого часа. Я не успела хорошенько пострадать от несчастной любви, потому что она была сразу же ловко отмщена, и осталось только насладиться удачной мстостью... Так я впервые спала с желанным мужчиной, так он меня впервые оскорбил – и так я впервые отомстила за жестокость, в его лице – всему роду мужскому...

Это была первая любовь в младшей группе садика, которую я хорошо запомнила, но в период *до-памяти*, имела место еще и другая, гораздо более отчаянная любовная история, рассказанная мамой – и в ее правдивости я ничуть не сомневаюсь, потому что маячит где-то в начале темного тоннеля жизни, когда оборачиваюсь туда, чья-то белобрысая голова и красное пятно под ней. Христианского имени моего героя та история

не сохранила, дав ему другое, очень торжественное: Мальчик-в-Красном-Свитере. Ничего не подозревающий мальчишка лет восьми, беленький, одетый в красный свитерок, спокойно играл себе в хоккей на маленьком катке в парке «Олимпия», что на Московском проспекте напротив 5-й и 6-й Красноармейских. Никого не трогал, увлеченно гонял с другими парнишками шайбу. Вдруг прямо на лед, ловко лавируя между хоккеистами, выскочила девочка лет двух с небольшим – в светлой цигейковой шубке, красном вязаном капоре и с таким же шарфиком. «Наташа, вернись!» – отчаянно взывала мать, безуспешно пытаясь нагнать по льду свое целеустремленное дитя. Дитя быстро достигло цели – блондина в красном – и, с размаху врезавшись в него, обхватила его ноги, уцепившись за парня мертвой хваткой. Несчастный, ровно ничего не понимая, растопырился на своих коньках, неловко размахивая клюшкой. Игра застопорилась. Меня отодрали от моей жертвы и увели домой. С тех пор не менее месяца самой страшной угрозой для меня была такая: «Не доешь суп – не пойдем смотреть на Мальчика-в-Красном-Свитере!». Любовь, наверное, кончилась, когда растаял каток...

Не такое уж беспечное детство начиналось у меня, предвещавшее бурную молодость и богатую жизнь сердца! Одно могу сказать с уверенностью: уже тогда я не знала, что такое скука, потому что внутри всегда имела так всего много, что времени для безделья не оставалось: днем и ночью кипела в голове и душе неустанная работа. Играла ли я? Очень трудный вопрос. Имелись у меня во множестве красивые куклы, какая-то игрушечная посуда... Мягких зверей не помню. По логике вещей, они должны были, конечно, водиться, но как-то мне не полюбили, наверное. Играла я в куклы неохотно: никаких там «Дочки-матери» или еще чего-то, направленного на будущую семейственность, не признавала. Вяло кукол своих переодевала и перетаскивала с места на место – но редко, а чаще они у меня просто сидели, и мне грело душу знание, что они все такие красивые – и мои. Игры мне нравились совсем другие, лично мной придуманные. Помню, например, десятка два тети Валиных бадминтонных волана – не какие-нибудь там пластмассовые, а сделанные из настоящих птичьих перьев, так называемые профессиональные, с утяжеленными головками, разноцветными полосочками... Вот про них я воображала, что это у меня то придворные дамы в нарядных платьях, то балерины на сцене – и я их по всякому расставляла, придумывала затейливые сказочные ситуации... Еще откуда-то достался мне толстый осколок вишневого стекла – почему-то мне казалось, что это Бог вещь какая ценность, и однажды, когда мама принесла домой сладкое вишневое желе точно такого же цвета, я положила осколок на тарелку рядом с кусочками желе – и до сих пор помню радость оттого, что отличить стекло от лакомства невозможно... Как у всякого ребенка, у меня были свои сокровища, причем добывала я их частенько прямым воровством. Например, однажды у тети Вали были гости, и среди них – дама в дурацкой шляпе, украшенной пластмассовыми плодами и листьями. Под покровом – едва не сказала «ночи» – нет, темноты нашего длинного сказочного коридора – я подкралась к вешалке, стянула шляпу с крючка и обрезала с нее прелестные зеленые с желтым крупные шипастые каштаны. То-то радости было уже подвыпившей даме перед уходом обнаружить лысую шляпу (кстати, приобретающую гораздо более приличный вид)!

Маме хватало со мной и других проблем и хлопот; не знаю, как она не получила инфаркта, когда я вдруг ткнула в свой глаз обломком карандаша. Однажды мама позволила себе посмотреть телевизор – шел новый тогда фильм «Доживем до понедельника». Ребенок ее сосредоточенно и тихо занимался чем-то рядышком: интересное мое дело заключалось в том, что я, завладев набором цветных заточенных карандашей, один за другим засовывала их в петлю высокого детского стульчика и с чувством ломала – до тех пор, пока неумелая моя рука не сорвалась. Обернувшись на дикий рев, мама увидела леденящую кровь картину: у ее трехлетней дочери торчал из кулачка острый обломок карандаша, глаза были зажмурены, а из-под правого века текла кровь. Впору лишиться чувств, но мама проявила недюжинную выдержку: схватив, она

посадила меня на кровать и принялась судорожно одевать – дело, как на зло, происходило зимою. Я отлично помню этот момент: сквозь слезы я отчетливо видела *обоими глазами* перепуганное мамино лицо, но, из чувства какой-то особой стержовности, на ее отчаянные вопросы: «Ты меня видишь?! Ты меня хоть чуть-чуть видишь?!» отвечала твердым «Нет!». Следующее воспоминание – врач в глазном травмпункте, чья миссия заключалась не столько в том, чтобы закапать мне в глаз обезболивающее, сколько успокоить почти обезумевшую мать, уверив ее, что я всего лишь чуть царапнула роговицу, а немножко крови вытекло из века, в основном и принявшего на себя роковой удар карандаша...

В целом, родители старались баловать меня. Живя поначалу только на папину более чем скромную финансовую зарплату, они все равно ухитрились покупать мне лакомства и симпатичные платица, запечатленные на фотографиях. Кроме того, чтобы меня сфотографировать, мама считала своим долгом повязать мне на макушку бант – ровно столько, сколько длился процесс съемки, он там и держался, а потом я его неизменно сдирала, ибо лент чуть не с младенчества не выносила. Обладательницей длинной трудоемкой косы мне тоже быть не пришлось: я обзавелась ею лишь в школе, и то просуществовала она весьма недолго. В детстве я представляла собой плотненькую стриженую блондинку с челкой, круглой мордахой и светлыми шкодливими глазами – генетическая зелень с материнской стороны (ее глаза имеют редчайший изумрудный цвет, в то время как папины были ярко-серыми) влилась в них много позже, совсем на краю отрочества.

Очень похожая на меня девочка, только с небывало-ультрамариновыми глазами почти каждый день смотрела на меня со стены коктейльно-соково-мороженого отдела гастронома на Московском проспекте, прямо через дорогу от нашего углового дома номер два. Она была ярко нарисована эмалью на белой кафельной стенке – точно с моей пшеничной головой и общим очерком лица. Девочка держала в руке стакан молочного коктейля с пышной пенной шапкой и очень ему радовалась: глядя на нее, не купить собственному ребенку лакомство было попросту невозможно... О, эти заветные отделы моего детства, ныне полностью и безвозвратно исчезнувшие с лица земли! Символом их и главной приметой всегда являлась стойка с соками, наливавшимися посредством краника в граненые стаканы из огромных, литров на пять, стеклянных конусовидных сосудов, прикрепленных к железному пруту. Конусов чаще всего было три, и каждый содержал в себе какой-то вид сока. Постоянно и безусловно присутствовал томатный – и в качестве обязательного дополнения к нему на прилавке всегда стоял неаппетитный стакан с мокрой серой солью. Алюминиевая ложка, которой следовало эту соль добавлять по вкусу в томатный сок, помещалась в соседнем стакане – еще менее презентабельном: он был наполнен бледно-оранжевой водой, потому что предназначался, вообще-то, для полоскания ложки. Все так делали, и безо всякой брезгливости пили отдававший легкой помидорной тухлинкой сок – и ничего ведь, не мерли, считалось очень гигиеничным... Во втором конусе обычно находился сливовый сок с мякотью – кисловатый, но абсолютно натуральный, хотя мне и не по вкусу. После томатного я предпочитала осветленный яблочный – и любила с вождением смотреть, как он янтарно бурлит в стакане под сильной струей. Случался и виноградный, конечно, и березовый, а уж совсем подарком Небес был вишневый – но это когда улыбалась особая детская удача... Стаканы мылись тут же, холодной водой, в особой мойке на прилавке: продавщица ставила их вверх дном в специальное отверстие, нажимала – и снизу в стакан брызгала сырая невская вода. Стакан стряхивали и тут же наливали в него сок или коктейль следующему покупателю – и ведь бытовой сифилис случался тогда раз в двести реже, чем нынче... Коктейль взбивали в больших алюминиевых стаканах сразу порции четыре – и я, бывало, старалась всеми силами отвлечь продавщицу расспросами о каком-нибудь мороженом или шоколадке – с единственной целью: продлить время взбивания молока, сиропа и мороженого, потому что в этом случае коктейль получался не в пример гуще и вкуснее. Мороженое в таких отделах продавали чаще всего на вес, запихивая его в виде невероятно соблазнительных

шариков в хрустящие вафельные стаканчики, а потом ставили их на весы и той же круглой ложкой на длинной ручке кромсали горку мороженого, добиваясь медицинской точности веса: это могло быть сто или сто пятьдесят грамм, а двести в стаканчик влезало редко. «Мне сто пятьдесят ассорти!» – гордо бросала четырехлетняя я, не вполне понимая значение последнего слова, – и получала стаканчик с тремя разноцветными шариками, нахлобученными один на другой. Стандартный набор был – сливочное, крем-брюле и черносмородиновое (иногда заменявшееся на менее любимое шоколадное), но если особо везло, то можно было нарваться и на ореховое – с большими и вкусными кусками дробленых орехов, и на кофейное – с волнующим, необычным для меня привкусом (дома кофе мне в детстве не давали). И вся эта роскошь находилась практически напротив, вполне в зоне досягаемости! Таких соков никто никогда больше не попьет, такого мороженого не поест: слов «консерванты», «стабилизаторы», «ароматизаторы», «загустители», «эмульгаторы» тогда порядочные люди и на слух не знали, а наслаждались едой настоящей, природной и приносившей исключительно пользу.

Кроме ясноглазой девочки на кафельной стенке, в моем дошкольничестве стояло особняком еще кое-что. Это «кое-что» было невероятно величественным и торжественным дворцом первого русского вокзала – Витебского. Я и теперь им бесконечно восхищена и, если когда случается проезжать мимо, обязательно стараюсь заскочить туда и вдохнуть воздуха дальних странствий, кажущихся гораздо более заманчивыми, если они начинаются отсюда, из-под стеклянной крыши старинного здания, построенного архитектором с таким утонченным вкусом... Хоть бы раз отсюда куда-нибудь уехать! Но нет, как-то не доводилось...

Витебский вокзал был нашим с папой конечным пунктом в те темные питерские вечера, когда мне удавалось вытащить его на вечернюю прогулку – и не просто так, а «побояться». Фильмов ужасов тогда не существовало, страшные сказки совсем мне таковыми не казались, а детская душа властно требовала чего-то неопасно-ужасного, и темные дворы-колодцы вполне для этого подходили. Перейдя Московский проспект, мы с папой шли в сторону вокзала не по Загородному, а по Клинскому, по дороге заходя во все встречные дворы, где я усиленно «боялась», то есть, пыталась заставить себя испытать что-то таинственно-волнующее, а папа указывал на заколоченные окна полуподвалов и страшил меня мрачными предположениями о том, что там как раз сейчас, может быть, собралась бандитская шайка, вполне готовая зарезать нас как нежелательных свидетелей. Думаю, что не только я получала удовольствие от тех прогулок, но и папа тоже. Наконец, свернув в темноте налево, мы выходили к Витебскому вокзалу сзади и поднимались на перрон со стороны пригородных касс. Тут же слева, при входе под знаменитую стеклянную крышу, стоял белый уличный лоток вроде тех, с каких в городе продавали жареные пирожки с мясом и рисом. Только этот особенный лоток торговал не пирожками, а шашлыками – надетыми на тонкую деревянную палочку и выложенными на сероватую картонную тарелку. Сбоку на тарелке красовался обязательный плевок буро-коричневого томатного соуса (никаких кетчупов тогда и в помине не было). Удовольствие стоило тридцать восемь копеек и считалось не из дешевеньких. Я благоговейно снимала губами с палочки эти шесть-восемь небольших кусочков жесткого, перченого, жирного мяса с обязательной «обманкой» среди них, оказывавшейся куском жареного лука... Это и есть счастье. Я точно знаю, что оно имеет вкус общепитовского шашлыка.

Следующей ритуальной точкой нашей прогулки считалась винтовая лестница, что и до сих пор спускается со второго этажа вокзала на первый, в какие-то подсобные помещения. Все та же табличка украшает витую чугунную калиточку, ведущую на черную ажурную лестницу: «Посторонним вход воспрещен». И тогда, четырехлетней, я на это с папиной подачи плевала, и теперь, когда я постарела ровно в десять раз, а лестница ничуть не изменилась, с таким же удовольствием плюю. Мы обязательно спускались и поднимались по лесенке, то же самое я неизменно делаю сейчас, и только после этого

чувствую себя полностью удовлетворенной... Обратно, утомившись пешим ходом, мы ехали по Загородному на троллейбусе.

Это с того времени и уже, вероятно, навсегда, я считаю начало года по древнерусскому календарю: с 1-го сентября. В каждом новом сентябре или октябре миновавший апрель или май для меня всегда уже «в прошлом году», потому что имеют значимость только учебные (теперь – рабочие) годы. Лето – это конец подневольного труда, заслуженный бесконечный отдых в тепле – и месте, приятно удаленном от школы (раньше – детского сада, позже – университета, теперь – пресловутого «литературного сезона»).

Только одно лето детства вспоминается мне как непрерывный тоскливый кошмар: когда между младшей и средней группой мы почему-то не поехали в Москву, а вместо этого меня отправили на дачу с детским садом. Хорошо понимая, что отправить дочь куда-то с коллективом – значит получить обратно в гробике, мама, выпускница Московского Авиационного института, между двумя своими инженерскими работами мужественно нанялась в детский сад ночной няней на лето. Это не помогло: я не отдохнула на природе и здоровья не набралась – просто потому, что в остальное время года воспринимала детский сад как неизбежное, но ограниченное во времени зло, а теперь это зло вдруг стало круглосуточным, а значит, нестерпимым. От мамы, олицетворявшей дом, любовь и свободу, я не отставала ни на шаг, а если вдруг ей случалось ненадолго отлучиться, то не существовало такой педагогической силы, чтобы водворить меня в ребячью группу и заставить хоть на минуту забыть в игре. Я молча стояла на дороге и неотрывно трагически глядела в сторону, куда скрылась мама, причем увести меня было нельзя: при таких попытках я ложилась на землю, и воспитателям пришлось смириться, махнув на меня рукой. Сформулировать то, чего мне не хватало, я по малолетству, еще могла, но действия мои были явно направлены на достижение одиночества по принципу «Не трогайте меня и не мешайте мне страдать». Однажды я неосознанную свою мечту случайно воплотила: до того все время старавшаяся не упускать маму из виду, благодаря чему она могла совершенно за меня не волноваться, я вдруг беззвучно исчезла уже из маминого поля зрения – и вообще со всех глаз долой. Я додумалась скрыться в пшеничном поле, где колосья были на голову выше меня самой. Будто убегая от погони, я стремилась зайти как можно дальше и скорее и, наконец, убедившись, что все звуки замерли вдали, позволила себе расслабиться. Я медленно брела между несчастными стеблями, иногда срывая синие цветки или колосья и выедавая из них зерна, как научил часто приезжавший папа. Периодически я садилась и задумчиво смотрела в высокое васильковое небо и чувственно наслаждалась вырванным у жизни глотком настоящего покоя.

Моя мать за пределами поля чуть не рехнулась, обнаружив мое отсутствие везде, где я могла находиться – и где находиться не могла. Смутно помню чей-то последующий рассказ о том, что даже в очко туалета тыкали длинными палками, считая, что я могла там утонуть. Спас маму от помешательства тот факт, что, увлеченная своим самовольным походом, я позабыла содрать повязанный мне на голову крупный бант – его-то, маячивший над колосьями, и заметил какой-то добрый человек. Из пшеницы меня быстро и ловко извлекли, после чего отдали маме, которая от счастья даже забыла меня изругать или отшлепать. «Ты сильно испугалась, да?! Очень сильно?! Как ты могла так заблудиться?!» – беспрестанно спрашивала мама и, когда я пыталась бесхитростно ответить, что я вовсе не заблудилась, и страшно мне совсем не было, а, наоборот, было приятно и блаженно, она обрывала меня нетерпеливым: «Не выдумывай! Тебя нашли до полусмерти испуганной!». Впрочем, моя мама и теперь уверена, что знает о моих чувствах и мыслях больше, чем я сама...

Как бы там ни было, родители больше не повторили ошибки моей насильственной коллективизации и следующим летом сняли дачу в курортном поселке Солнечное – пополам с семьей маминой новой подруги Веты (Виолетты) Б. У нее имелся бородатый

муж Виктор из породы непробиваемых молчунов и сын Антон, на год моложе меня – тоже молчаливый белоголовый мальчик с неожиданно карими глазами – тихий и послушный (впрочем, последнее оказалось легко поправимым, как только я додумалась взять дело в свои руки). Мне подкатывало уже к пяти, и я явственно взрослела, постепенно приходя к пониманию того, что чем бесконечно переживать от непонимания окружающих, лучше перевербовать, кого возможно, на свою сторону – и под свою команду. Покорный, как бычок, Антоша мне совершенно подчинился и вскоре уже умел вместо и здесь практиковавшегося «тихого часа» скакать по кроватям и буянить, лазать вечером по чужим деревьям, насыпать себе полный рот сладкой черной крупки из сухих коричневых маковых коробочек и беспрекословно выпивать мою порцию козьего молока, которым нас поили в принудительном порядке все с той же туманной целью поправки здоровья. Взрослые, как водится, вовсе не задумывались над тем, что невозможно поправить ребенку здоровье с помощью того, что вызывает у него яркие негативные эмоции. У Антоши молоко таких эмоций не вызывало: он захлеб выпивал свою кружку, и, улучив момент, когда тетя Вета, мама или папа отвлекались на разговор с хозяйкой козы, я эту пустую кружку у своего дружка вырывала, суя ему взамен свою полную, которую он с таким же удовольствием через минуту опустошал – и все были довольны.

Именно к тому лету относится один незначительный для всех, кроме меня, эпизод, оказавший свое чувствительное отрицательное влияние на всю мою дальнейшую жизнь – вот как, оказывается, просто может взрослый человек устроить маленькому то, корни чего в дальнейшем псевдоумники будут искать в какой-нибудь несуществующей «прошлой жизни». Если бы Бог не наградил меня таким восприимчивым сердцем и вместительной памятью, то я бы, пожалуй, и по сей день гадала – почему не могу надеть на себя никакой шерстяной или хоть чуть-чуть похожей на шерсть одежды – даже самой мягкой, из ламового пуха спряденной. Один изыскатель додумался даже до того, что в прошлой жизни я была монахиней, носившей власяницу – оттого-де не могу и в этой позабыть своих чересчур острых ощущений.

На самом деле все обстояло гораздо проще. Мама со мной и Вета со своим сыном отправились как-то на оздоровительную лесную прогулку, где и попали под теплый ливень, промочивший нас насквозь. А я была одета в очень хорошенькое платьице из жесткой шерсти – такое голубенькое, в тонкую мелкую черную клеточку и с плиссированной юбочкой, незадолго до того привезенное бабушкой Тamarой из Прибалтики. Мокрое платье начало отчаянно колотиться – и вообще ощущение влипшей в тело холодной шерсти оказалось не из приятных. Вприпрыжку влетев на веранду, пританцовывая от нетерпения, я закричала маме: «Сними! Скорей сними с меня это!!» – я бы и сама сняла, да застежка была сзади. Мама замешкалась, и меня всю затрясло: «Расстегните!! Я не могу!!! Скорее!!!». Через секунду мама бы ко мне обернулась, и все закончилось бы благополучно, но именно в эту секунду на тетю Вету вдруг нашел редкий педагогический раж. Вообще-то, женщина она была (и, надеюсь, есть сейчас) добрая, интеллигентная и очень разумная. Выпускница Военмеха, она бы не испытала трудностей с замужеством даже будучи дурнушкой, потому что в своем потоке была едва ли не единственной девушкой – но Бог, вдобавок, одарил ее еще и редкой красотой: светлыми вьющимися волосами, карими очами, тонкими чертами и великолепной фигурой – поэтому она могла выбирать женихов сама, но сознательно из всех так и вившихся вокруг ухажеров выбрала себе настойчивого молчуна, парадоксально посчитав его наиболее надежным. Обычно она на меня и Антона особо не наезжала, но тут вдруг ни с того, ни с сего, и, главное, вовремя, взяла специальный «воспитательный», то есть, слишком спокойный и строгий тон: «Наташа, в чем дело? Почему ты так себя ведешь? Ну и что, что колется: от этого еще никто не умирал. Скажи спокойно: мама, помоги мне, пожалуйста, снять платье, оно промокло, и мне в нем неудобно... Нет, не так, встань ровно и скажи еще раз. Неправильно, хорошие девочки так не говорят. Опустите руки и перестаньте подпрыгивать. Так. Повторяй за мной: мама, пожалуйста...». Стресс, пережитый в те

минуты, останется при мне теперь, наверное, до конца жизни; во всяком случае, он навсегда лишил меня возможности носить любые красивые шерстяные вещи, какими бы привлекательными и модными они ни были... Спасибо, тетя Вета, что вы организовали мне только эту неприятность.

Любовь, конечно, приключилась и в то лето 72-го года, и объектом ее стал не тихий Антон, как можно было бы подумать, а хозяйский внук лет десяти, именем Саша. Что меня в нем привлекло – понятия не имею, но я вполне успела всласть настрадаться от неразделенного чувства и глотала невидимые слезы, глядя как мальчишка вечно ковыряется в своем двухколесном велосипеде, не обращая никакого внимания на пятилетнюю соплюху в нарочно нарядном платье с воланчиком из белого шитья...

Тою же осенью привычный уже мне детский сад на Смоленской улице, который я, конечно, не полюбила, но хоть сумела к нему притерпеться, неожиданно был перепрофилирован в логопедический. Оставляя меня, четко и правильно говорившую со скоростью сто слов в минуту, в компании картавых, шепелявых и гугнивых, разумеется, не представлялось разумным, и тетя Валя, использовав какие-то свои знакомства, пристроила меня в «очень хороший» (из-за того, что ведомственный) сад, принадлежавший табачной фабрике им. Урицкого. Желтое здание детского сада стояло прямо в моей родной «Олимпии», окруженное зеленым забором, где перекладины шли не только вдоль, но и поперек, отчего он казался как бы клетчатым. Что в нем было хорошего – не знаю, очевидно, потому, что никогда не пришлось мне увидеть плохого садика из тех, про которые выжившие воспитанники до сих пор рассказывают всякие ужасы. Например, говорят, что в то время в «плохих» детских учреждениях недобросовестные воспитатели практиковали следующий способ сокращения слишком большого, непосильного для них количества детей в группах. Зимой во время прогулок настужь открывались окна в туалете, якобы для проветривания, после чего детей перед сном раздевали до маек и трусов и высаживали в замороженных помещениях в ряд на горшки – опять же, под открытые форточки. Дети, разумеется, беспрерывно болели, в результате чего, на радость воспитательницам, одномоментно посещало группу не более двадцати человек вместо положенных по списку сорока. О таких остроумных способах облегчения гуманного педагогического труда поведала мне в жизни не одна закаленная в борьбе жертва террора, но лично я такой казни не подвергалась, хотя и без того периодически болела. Но именно в том «блатном» детском саду я в течение следующих двух лет получила полную возможность испытать на себе, что означает на практике «небо с овчинку».

Палачом моим стала воспитательница. Вот уже несколько дней я беспрестанно думаю – называть ее имя во всеуслышание или нет. Только что приняла бесповоротное решение – не стану. Во-первых, я одиннадцать лет назад не удержалась и уже назвала его в романе «Дерево на крыше», а во-вторых, ей сейчас не менее семидесяти, и она, вероятно, больна – зачем лишний раз накручивать нервы пожилому человеку; а если вдруг умерла, то не стану же я своему собрату грешнику еще один уголек под сковородку подкидывать! Обязательно должно быть и «в-третьих»: например, нет ничего невозможного в том, что она со временем пришла к христианской вере и раскаялась в своей жестокости к детям – ведь за всю ее славную педагогическую карьеру, наверное, уж не одна я стала невинной жертвой! Все пытаюсь понять – за что она именно меня так невзлюбила? Если судить по себе, то лично я испытываю неприязнь к детям неухоженным, грязным и припахивающим, что называется, запущенным – и поделаться с собой ничего не могу: грех, конечно, а брезгливость что-то никак не перебороть. Но ведь я-то, пятилетняя Наташа Веселова, была ребенком чистеньким и симпатичным, платья носила такие, как не у каждой девочки: бабушка и мама любовно выбирали и привозили из Москвы, а когда и из Прибалтики. Всегда я была тщательно умыта, причесана, аккуратно подстрижена... За что еще можно малыша возненавидеть – за непоседливость, непослушание, злостное хулиганство? Все это, конечно, имело место, но годами пятью

позже, а в детском саду я пока не настолько заматерела, чтоб проявлять открытое неповиновение, не осознала еще, что в моей слабости – моя же несокрушимая сила. У меня даже появилась отличная розовая подружка Галя с двумя коричневыми хвостиками – и мы, никого не трогая и не мешая другим, копошились чуть в сторонке со своими фантазиями и незаметными шалостями... И вот поди ты! Эта воспитательница меня именно преследовала, причем делала это явно намеренно и целенаправленно.

Я редко кого в жизни боялась – может, просто не довелось встречаться с уж совсем отъявленными сволочами – а вот она вызывала во мне настоящий химически чистый ужас. Внешность ее к тому вполне располагала. Женщина была очень невысокая и необъемно полная («Легче перепрыгнуть, чем обойти») – но при этом невозможную полноту свою скрывать не умела или не стремилась: помню ее в постоянном «мини» – можете представить, как это выглядело – и обтягивающих бадлонах, беспрепятственно позволяющих пересчитать все ее бесчисленные и внушительные жировые складки. Ботики она носила модные – перламутровые, с круглыми бляшками сбоку, но поскольку напаялены они были на совершенно слоновую ножищу, то смотрелись хрустальными туфельками на ногах Золушкиной сводной сестрицы. Лицо этой примерно тридцатипятилетней дамы утратило всякую форму, потому что черты его попросту утонули в лоснящемся сале – и, тем не менее, как будто специально, чтобы его можно было легче рассмотреть, она стригла свои темные волосы совсем коротко, почти «под мальчика». Самым отвратительным в ней мне казался маникюр, который она делала очень тщательно и никогда не запускала, вероятно, считая важным. Ногти всегда имели темно-вишневый или коричневый цвет, выращены были не менее чем на сантиметр и заточены преостро, совсем как когти у какого-нибудь ястреба. Все это, может, и пошло бы к другим, стройным пальцам, но на неотличимых от свиных сарделек смотрелось пугающе: каждый коготь метил в мои расширившиеся от панического страха глаза.

Утро начиналось для меня с кормежки. Поскольку за завтраком всегда подавалась мерзкая манная, геркулесовая или рисовая каша, то съесть ее я не могла ни при каких условиях (мне казалось, что в тарелке – блевотина), ограничиваясь кусочком хлеба и сыра – запив чаем, если не было в нем молока, а в противном случае – обходилась сухомыткой. В дежурство ее напарницы мне это сходило с рук, но моя просвещенная педагогиня таких вольностей не допускала. Во время завтрака она ко мне не подходила, легонько журуя только других детей и помогая им управляться с ложкой: я была оставлена людоедицей на закуску. Она дожидалась, пока детишки поедят, и отпускала всех, кроме меня, рассаживаться за столики для занятий – а уж потом приступала ко мне, застывшей в позе неизбывного горя над полной тарелкой уже ледяной и густой каши. Зайдя справа, она рассчитанным и привычным движением обхватывала меня левой рукой, запрокидывала мне подбородок, а правой зачерпывала полную столовую ложку и принималась запихивать комковатую кашу мне в горло, приговаривая: «Пока все не съешь – из-за стола на выпущу!». И не выпускала – пока все не оказывалось размазанным по моему лицу, одежде и столу – потому что я молча сопротивлялась, сжимала свои молочные зубы и глотать отказывалась из принципа. После экзекуции меня волокли – именно волокли таким образом, чтобы я не успевала перебираться ногами – в туалет, где с криками: «Свинья грязная, возись тут с тобой!» мыли обязательно холодной водой. Мокрую, она бросала меня там у батареи, рывкнув: «Не сахарная, на растаешь!» – и шла читать группе книжку или раздавать неизбежный пластилин.

Частенько детей выгоняли в актовый зал, где побуждали заниматься активными играми под музыку или просто так. Я ненавидела подобную потную возню и всегда норовила незаметно слинять. Если палачиха замечала мой маневр – а она всегда бдительно следила за моими перемещениями – то с шипением бросалась на меня и пинками гнала в толпу детей – для принудительного веселья. Особенно доставалось мне от забавной игры «Вейся, капуста!». Требовалось построиться в длинный ряд, держась за руки, и радостно запеть: «Вейся, вейся, капуста моя, вейся, вейся, кудрявая!». При этом

ряд детей начинал «завиваться» с краю кнутри, а поскольку руки разнимать не позволялось, то вскоре все толпой падали друг на друга, визжа от животного восторга. Это был сущий кошмар: в момент падения на паркетный пол в куче таких же падающих и вопящих детей сердце у меня всякий раз приостанавливалось, а однажды я так хлопнулась затылком об пол, что потеряла сознание на пару минут – как раз пока куча-мала подымалась; я словно вынырнула из черной пропасти. Меня тошнило, я хотела убежать, но со словами: «Все смеются, а ей опять не нравится!» воспитательница снова силой потащила меня в центр зала и втиснула в ряд для участия в следующем витке проклятой капусты. Подобное повторялось не раз или два, а регулярно через день в течение двух лет, до самой школы. Бить она меня не била, смачно ударила только один раз – Галиным кожаным тапком по лицу, когда мы, две смешливые шестилетки, в конце тихого часа свесились друг к другу с кровати через проход и начали шептаться.

Но была я постоянно подвергаема и еще одной инквизиторской пытке, идейку которой сама же невольно подкинула моей издевательнице.

К истязанию дневным сном я привыкла еще в прошлом своем детском саду и покорялась неизбежному: в самом деле, не будь пресловутого «тихого часа» – и пребывание в саду можно было бы считать в половину не таким плохим! Всегда напряженно работавший мозг и беспокойное сердце не позволяли мне расслабиться в огромной беспощадно светлой комнате в присутствии еще сорока человек – и как у *них* такое получалось, для меня до сих пор непознаваемая тайна. Я же мучилась неизъяснимо: придумывала про себя романтические или героические истории, тайком играла с маленькими безделушками, когда удавалось контрабандой пронести их в спальню в трусах, считала до тысячи – не пропуская ни одного числа, медленно и упрямо, изобрела в теории мобильный телефон с играми, музыкой и картинками – а «сон» все не думал кончаться! И однажды мне захотелось в туалет «по маленькому» – да кто ж мог подумать, что я решаюсь на страшное преступление! Встала да и пошла себе – и наткнулась прямо на моего Цербера. Возмущению ее не было предела: «Ты это нарочно придумала – чтобы всех разбудить! Мне назло! Тебе это так просто с рук не сойдет!». Легко преодолевая мое сопротивление, она протащила меня через всю спальню и швырнула в кровать: «Только попробуй пошевелиться!». Тот тихий час я мужественно дотерпела, но ведь еще предстояли и все последующие! Теперь пресекались не только мои попытки прокрасться в туалет во время «сна», но и походы туда до него: «Ты уже сходила после прогулки, и за время обеда не могла захотеть снова! Опять специально действуешь мне на нервы!». Естественно, что после таких отповедей *не* захотеть было уже невозможно психологически... Но она стояла на страже бдительней самого прилежного часового – да и после окончания «тихого часа», когда я не плакала от физического страдания только из гордости (на самом-то деле было *два* совсем не тихих для меня часа), считала своим долгом придержать меня у дверей уборной: «Подожди, пока другие сходят, ты не одна здесь!».

Родителям я, конечно, жаловалась – но в каких выражениях может это сделать пятишестилетнее существо? «Во время "тихого часа" не разрешают ходить в туалет». Ну и что? Мочевой пузырь здоровый, почки тоже, недержания нет, дома и по пять часов об этом не помышляю, даже ночью на горшок не встаю – что за выкрутасы? Спать надо в тихий час – ручки под щечку, глазоньки сомкнуть – и знай себе считать белых овец... И сама не замечу, как засну... Все же спят, чем я такая особенная?.. Если бы даже взялась объяснять, что меня травят сугубо индивидуально – то кто бы этому поверил? Ведь все же уже знали, что у меня «буйная фантазия»...

Бог ей судья. Но зачем она пыталась внушить родителям, что их девочка отстает в развитии, ее надо бы еще год подержать в детском саду, иначе в школе она совсем пропадет? Ну, конечно же, отстает: ложку за обедом держать даже не умеет – все дети крепенько так сжимают в кулачке и наворачивают, только за ушами трещит, а Наташа все тремя пальцами пытается взять (разумеется: дома я привыкла есть второе блюдо вилкой и

ножом, а не гнутым алюминиевым хлебалом)... Игры, занимательные для детей этого возраста, ее не привлекают, со сверстниками общего языка не находит: явное торможение психики... Ей бы не в школу, а в коррекционный садик для умственно отсталых... Я до сих пор уверена, что она прекрасно знала, что говорит гадость и гнусность – просто доставляла себе изощренное удовольствие. Хорошо хоть родители на ее слова никакого внимания не обратили и отдали меня в специализированную английскую школу в шесть лет – хоть из лап ее когтистых вырвали, какие уж там трудности обучения!

При таком ежедневном прессинге я очень скоро, что называется, «духом окрепла в борьбе» – и без всякого переносного смысла низкий поклон за это моей мудрой воспитательнице: еще неизвестно, выковался бы у меня такой твердый и легкий характер или нет, если б не она – а так ведь пришлось с самого детства мобилизоваться!

Надо ли говорить, что ежедневно, просыпаясь, я мечтала волшебным образом оказаться больной: это означало бы минимум недельный отпуск для меня и мамы – тогда еще матерям полагался на работе оплаченный «бюллетень» по уходу за больным ребенком, и с работы их за детские болезни не увольняли. Напрасно, как сейчас понимаю, я килограммами поела снег на прогулках, надеясь на спасительную ангину: так я, наверное, горло невольно закалила. Но поболеть все же пришлось – все больше бронхитами, и не после снега, а потому что папа и его тетки от большой любви считали необходимым меня перекутывать. Приходила доктор из детской поликлиники – худенькая женщина, очень приятно пахшая морозом, стерильностью и лекарствами (была б возможность – я б такие духи достала, до того мил мне и памятен этот запах), выслушивала холодным стетоскопом, лазила в горло серебряной ложечкой, выписывала стандартный набор невинных лекарств – и наступала то ли вымоленная, то ли наколдованная неделя счастья.

Читать я научилась лет около пяти – как и любой городской ребенок нескольких миновавших столетий: по вывескам. Потом перешла на «Лесную газету» и рассказы Бианки, но во время болезней чаще все-таки рисовала. Тут для меня до сих пор сохраняется некоторая непонятность: героями всех моих рисунков – и сказок, которые, пытаясь накормить меня больную, в принудительном порядке рассказывали родители (принудительность на сей раз применялась к ним), – были только... мыши. Никаких вам принцесс и девочек с бантиками – одни мыши. Мышонок болеет, мышонок гуляет, мышонок рисует... Помню даже две одинаковые резиновые мышки-игрушки, белую и серую. Одно слово – любимый зверь. Я даже упросила папу купить мне мышеловку, лелея надежду поставить ее в нашем темном, ночами обнадеживающе шуршащем чулане и поймать на традиционный сыр настоящую живую мышь, чтоб держать ее в клетке и кормить – сыром же. Непонятливый папа принес сперва дощечку с крючком и железной гильотинкой, и мне сразу стало понятно, что такой конструкцией можно бедную мышку только убить на месте, а ведь я-то хотела – живую! За второй покупкой отправились во Фрунзенский универмаг уже вместе – и приобрели что-то вроде продолговатой клеточки с поднимающейся дверкой. Много, много ночей простояла она с пахучим бесплатным кусочком внутри – и ни одна мышь не пожелала полакомиться – и попасть в мои любознательные руки. А может быть, попадалась – и была оттуда без меня извлечена и подло убита? Ведь кроме меня в квартире никто не горел желанием соседствовать с живым серым грызуном, обладателем ужасного, согласно всеобщему мнению, хвоста!

Так или иначе, я их рисовала – цветными карандашами и акварельными красками, синей шариковой ручкой и первыми советскими толстыми, быстро высохшими фломастерами марки «Союз»... Некоторые рисунки папа торжественно брал «на сохранение» – то есть, складывал в отдельную папку и действительно «сохранял». Куда они потом делись – ума не приложу: сам-то папа ни при каких обстоятельствах их бы не выбросил...

Вечером наступала пора горчичников: думаю, эту процедуру помнят все без исключения мои ровесники и те, кто старше, но поколение наших детей этой экзекуции

уже почти не подвергалось – и прежде всего потому, что горчичники выродились, превратившись в какие-то ненадежные многоразовые подушечки. В наше время горчичником называли плотную бумагу размером с четвертинку листа, покрытую ровным слоем сухой горчицы. На детскую кожу горчицу, разумеется, не лепили, а разрывали газетный лист по размеру горчичника, обмакивали его в теплую воду, к нему прижимали горчичник – и все это прикладывали к спине и грудке ребенка; если горчичники были «злыми», то есть свежими, то газетных подкладок могло быть две. На спину шестилетней девочки влезало четыре горчичника, а на грудь и бока – три, не включая сюда область сердца, всегда оставляемую свободной. Горчичники накрывались теплыми полотенцами, сверху дитя укутывалось одеялом – и так полагалось лежать минут сорок, причем папа еще и прижимал рукой верхние горчичники. Сначала становилось приятно тепло, но очень скоро начиналось все возраставшее жжение – и чадо требовалось отвлекать. Папа мог сделать это только одним способом – чтением. Более маленькой он читал мне Чуковского – и в результате я его практически всего наизусть «с голоса» выучила, во всяком случае, четырехлетней уже декламировала «Мойдодыра» и «Доктора Айболита» наизусть без запинок – и так постепенно мужала и крепла моя память, а где-то в подсознании зарождалась любовь к поэзии – которой, увы, мне предстояло крепко переболеть... Ничего, тьфу-тьфу, зато иммунитет к этой зловредной и заразной болезни, кажется, выработался пожизненный. Но Чуковский папе скоро наскучил – его-то он с собственного детства знал наизусть – поэтому, запросто перешагнув всю, какую ни есть, детскую литературу, папа приступил сразу к Пушкину, усердно читая мне горчичниковыми вечерами «Повести Белкина»... С тех пор незаметно миновало тридцать пять лет, но и поныне есть у меня безотказное лекарство на все случаи жизни: «Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку, иль перечти...». Когда нет шампанского, я перечитываю «...Белкина». Господи, Боже мой! Мне уже катит к сорока одному, а я все так же с замирающим сердцем бегу с Лизой по утренней росе в лес, так же надеюсь, что Владимир благополучно выберется из бурана, так же обмираю вместе с Самсоном Выриным, когда Дуня не выходит из церкви... А папа мой читать умел, что называется, «с выражением», с приличествующими случаю паузами – да еще все время, особенно, когда попадались вопросительные предложения, призывно взглядывал на меня сквозь очки, приглашая быстренько подумать и найти ответ самостоятельно или, во всяком случае, посочувствовать герою... И я сочувствовала! Потом он прочитал мне «Дубровского» и «Капитанскую дочку» – этот пока никем и ни в каких весах не превзойденный шедевр мировой прозы – и не просто прочитал: папа всегда должен был убедиться, что ту или иную сцену я поняла правильно, что все слова мне ясны, что я ничего не прослушала, не отвлеклась. Для этого он иногда прерывал чтение и задавал мне вопросы – то каверзные, то наводящие...

Часто видя врачей, я одно время закономерно захотела стать таким же чистеньким беленьким доктором, но почему-то сразу душевно отвергла скучную дорожку, проторенную Маяковским: «Я приеду к Пете, я приеду к Коле: здравствуйте, дети, кто у вас болен?». Нет, я сразу решила, что буду не простым врачом, а военным: «военморврачом», как сама назвала свою будущую специальность: я мечтала о докторских подвигах обязательно на войне и обязательно на корабле, иначе мне было неинтересно. Тут, конечно, сыграло свою роль навязчивое военно-патриотическое воспитание, которого не избежал ни один ребенок семидесятых. Кроме того, в те годы на улицах еще много было инвалидов войны – одноруких или одноногих мужчин и женщин, сравнительно молодых – около пятидесяти лет. Встречая их, я все время думала, что вот если б я их лечила, когда они были ранены, то ноги-руки ни за что бы им не отрезала, а если б уже оторвало – то нашла бы способ пришить... Покуда жизнь таких больших подвигов от меня не требовала, я довольствовалась подвигами малыми: лечила папу. Тут открывался мне необозримый простор для творчества, ибо больший травматик, чем папа, пожалуй, только я сама: он беспрестанно, в неделю по нескольку раз, ухитрялся поранить

или ушибить палец – а уж занозы умел посадить себе какие-то гипертрофированные – где он их только брал такие! И вот, представьте себе, с занозой или раной папа всегда доверчиво шел ко мне – и так ходил двадцать два года: с моих примерно пяти лет до своей кончины. Может, у меня легкая рука была на прикладное лечение? Во всяком случае, я всегда с его травмами разбиралась без проблем: что лишнее – вынимала или обстригала, накладывала, если требовалось, резиновый жгутик, промывала, смазывала, бинтовала – и все это по-деловому, без всяких там сантиментов, а папа ничего – терпел... Иногда ему действительно хотелось, чтобы я стала хирургом... Теоретически, разумеется...

Болея, я плохо засыпала, не успев устать за день, и тогда папа пел мне колыбельную – всегда одну и ту же, которую спустя годы пел и моему сыну. Это старинная песня, без сомнения, принадлежащая перу умелого и трогательного поэта, относящаяся, согласно моим филологическим понятиям, ко второй половине девятнадцатого века – ее можно было бы приписать даже Гребенке или Козлову, и, возможно, если постараться, то авторство окажется установить не так уж и трудно. Папа выучил эту песню на слух, бесконечно слыша ее в детстве от бабушки Прасковьи, года рождения около 1880-го, а она, в свою очередь, тоже выучила ее изустно от собственной бабушки, лет на сорок пять старше, то есть, песня имеет долгую историю даже в рамках только одной нашей семьи; если Бог пошлет мне внуков, то и они неминуемо ее услышат. Речь в песенке идет о необыкновенно добром дедушке, жившем давние времена в маленьком лесном домике и любившем по-всякому возиться с детьми: тому белку, тому свисток, тому сказку...

*У лесной опушки домик небольшой
В нем давно когда-то жил старик седой,
Знал он, где какая птичка гнезда вьет,
Просеки, тропинки знал наперечет.
А какой охотник был до соловьев –
Всю-то ночь, казалось, слушать их готов,
Как в зеленой чаще песни их звучат,
А еще любил он маленьких ребят...*

– так начинается наша колыбельная, а продолжается она еще милее, и ценна тем, что петь ее можно бесконечно по кругу, пока дите не проорется в свое удовольствие и не выдохнется...

(Замечание, сделанное через месяц, в Петербурге: я недооценивала мощь Интернета. Стихотворение, или, скорее, баллада, называется «Старик», принадлежит перу Алексея Плещеева и написана в 1877 году. То, что пел мне папа – средняя и самая мирная ее часть, как раз и подходящая для колыбельной. Первая, о том, как лирический герой совершал со стариком романтические прогулки по лесу – «Старику там каждый кустик был знаком» – и беседовал с ним о днях минувших, попросту скучна, а вторая, о смерти бабушки по осени – «Смерть подкралась к деду тихой стопой» – грустна и вовсе не усыпительна. Поэтому, хотя и имею теперь перед глазами полный текст, останусь, пожалуй, верна с детства знакомому укороченному варианту.)

А утром опять не нужно было в детский сад – и я могла стать свидетелем маленьких драм, происходивших в нашей большой квартире, например, неудачной попытки тети Зои проколоть себе уши для серег. Она очень тщательно подготовилась к этому действию: записалась на определенное время в Институт Красоты, приобрела на долго экономленные деньги хорошенькие золотые сережки и, трепеща, отправилась, опоздав от волнения минут на пять. Когда она приблизилась к кабинету, оттуда вышла озабоченная медсестра и напрямиком направилась к тете Зое: «Почему вы так задержались? – строго спросила она. – Все давно готово, только вас ждут». Тетя Зоя подивилась пунктуальности местной медицины и храбро шагнула в кафельный предбанник кабинета. «Раздевайтесь, завернитесь в простыню и садитесь в это кресло-каталку», – велели ей там. Тетя Зоя подивилась вторично – до каких недосягаемых высот поднялся отечественный сервис: вот, даже уши прокалывать везут на каталке в какую-то особую операционную. Она

послушно разоблачилась, но, когда дело дошло до трусов, неожиданно заартачилась: «А трусы – не буду». «Как это не будете? Делайте, что положено!» – пристыдили тетушку, и она привычно покорилась силе. Разделась, завернулась, поехали... Прибыли в стерильную операционную с белым столом под бестеновой лампой и сверкающими инструментами вокруг. Только увидев у этого стола очень деловитую хирургическую бригаду в масках и перчатках, тетя Зоя начала сомневаться, что такие серьезные приготовления требуются для проделывания двух маленьких дырочек в ее ушах, и робко поинтересовалась, а что же с ней здесь собираются сотворить. «Как что? Жир с живота вам удалять будем!» – последовал ответ. Беднягу с кем-то перепутали...

Домой она добралась ни жива, ни мертва – и неделю потом рассказывала, как ее чуть по ошибке не лишили родного жирка... Уши проколола не раньше, чем через месяц – вот такое развлечение мне вышло во время одной из болезней...

Но, как грибы на нитку, нанизывались один за другим дни, и вот уже пришла пора родителям думать о школе для своего дитяти. Наш дом относился к микрорайону, где школа была единственная – восьмилетка, от которой каждый нормальный родитель в те годы шарахался, как от чумы, потому что там учились потомки пролетариата, и школа, собственно, представляла собой кузницу кадров для заводов и фабрик. Моим маме и папе требовалась не просто десятилетка, а непременно специализированная – языковая. Папа бредил французским, но соответствующая школа как раз с того года была лишена привилегии быть языковой – и пришлось, перейдя Измайловский проспект, постучаться в школу английскую, располагавшуюся в здании бывшей гимназии для мальчиков на 8-й Красноармейской улице. Туда принимались дети со всего района, но для поступления требовалось выдержать вступительный экзамен – показать свои навыки в чтении и счете (с чем проблем у меня возникнуть не могло) и рассказать наизусть стихотворение – и с этой частью программы папа готовился блеснуть. Мне предстояло выступить с отрывком из «Евгения Онегина»: *Уж небо осенью дышало...* Отрывок я знала великолепно, но только никак не могла взять в толк, что существует слово «сень» – как папа ни бился, объяснить этого мне он не смог, в результате строка *Лесов таинственная сень* не имела для меня никакого смысла, и я произносила ее так: *Лесов таинственный осень*. Что при этом обнажалось «с печальным шумом» мне было абсолютно непонятно, да я к пониманию и не стремилась: мой «осень» за дни разучивания стал мне уже милым и родным. Когда я благополучно прочитала вслух какой-то текст и сложила два и четыре на коричневой доске, настала пора декламации, и папа легонько толкнул меня в бок: «Только не скажи опять «осень!»». С таким же успехом он мог бы попросить меня не думать об обезьяне¹... Я прекрасно понимала, что сейчас произнесу – вот уже произношу – и все-таки произнесла! – неправильно, но ровно ничего поделать с собой не могла. Закрывает глаза, ожидая полного провала – и вдруг с изумлением услышала похвалы: усталая комиссия не заметила моего позора; меня приняли в первый класс, с разбегу записав сразу в два: в «А» и «Б», и я с этой минуты точно знала, что в детский сад больше не вернусь и любимую свою воспитательницу не увижу (шли дома какие-то глухие разговоры, что мне только шесть лет, и еще год есть в запасе, так что, если не удастся попасть сейчас в приличную школу, то ничего страшного, на будущий год уж точно...).

Школу эту я не сменила, даже переехав через год в Купчино: так и оттарабанила там все десять лет среднего образования – и до сих пор не знаю, зачем, кроме коричневой бумажки, выданной летом 1984 года, была мне эта школа. Что она дала?! Начатки знания английского языка – бесспорно, но шлифовать его мне пришлось десятилетиями. Читать, писать и считать до тысячи (теоретически зная числа до миллиарда) и совершать с цифрами четыре примитивных действия я до поступления в школу уже умела. Больших навыков мне в школе не привили. Я еще не знала, откуда берутся дети, но не школа сделала для меня это страшное открытие. Школа нудно учила *совершенно мне ненужным*,

¹ Л. Соловьев, «Возмутитель спокойствия»

никогда мною не востребованным вещам, потому что все, что могло мне в жизни пригодиться, я всегда добывала из книг или узнавала от родителей. Уже спустя год после школы я не помнила ровно ничего из того, что мне там так усердно вдалбливали, и, более того, еще в 9-м классе поняв, что такие предметы, как физика, химия, алгебра, геометрия, астрономия, физкультура и обществоведение мне никогда в жизни не пригодятся, я стала их попросту игнорировать, всегда на уроке сидя с книгой или за «морским боем», а в выпускном классе, зная уже, что тройки все равно поставят, и вовсе перестала посещать данные предметы, видя в этом напрасную трату времени. Сейчас я с собой, шестнадцатилетней, абсолютно согласна: школа не принесла мне ничего, кроме вреда и тоски, и само посещение ребенком школы оправдывается, на мой взгляд, только тем, что родители на эти пять-семь часов могут быть относительно спокойны за свое растущее чадо, в том смысле, что оно где-то пристроено и присмотрено. Так же я воспитывала впоследствии и собственного ребенка: «Школа – это неизбежное зло, которое каждому приходится перетерпеть», – таков был мой педагогический постулат, и ничего, у моего сына аттестат вышел только с тремя тройками, не в пример моему, с девятью. Ни разу в жизни у меня не было повода на эту тему погоревать, а нервы в старшем школьном возрасте я предпочитала тратить не на бесполезное зазубривание ненужных мне знаний, а на самовоспитание души – через литературу, любовь, историю и – чуть позже, хотя начало было положено во время школьных прогулов – неизбежно через религию.

Но школа, так или иначе, длилась только девять беспросветных месяцев в году, а целых три безраздельно принадлежали летней свободе, которая до сих пор ассоциируется для меня с ласковым словом Мартышкино. Вообще-то старожилы этого дачного поселка у Ораниенбаума утверждают, что название его произошло от мартовских ласточек и, следовательно, ударение положено делать на «а». Ласточек там, как, впрочем, и везде, всегда было сколько душе угодно, но с человеком эти существа контактируют очень неохотно, и поэтому ребенку даже африканская мартышка все-таки ближе, и мы всегда считали, что поселок называется именно в честь нее, какой-нибудь очень особенной мартышки. Это место исключительно дорого мне и теперь – не только потому, что я провела там четыре лета своего, в целом, радостного детства, но и тем, что позже, растя в Мартышкино и собственного сына, я уже не четыре, а целых четырнадцать лет (множественное число от «лето») молодости отдала этому поистине райскому местечку, где суждено мне было написать шесть романов и больших повестей, совершить бесчисленное количество пеших одиноких прогулок по окрестным лесам и паркам – и бесконечно предаваться любимейшему на земле занятию – думать, думать, думать без помех.

В моем детстве в Мартышкино существовала мощная привилегия, которой, увы, двадцать лет спустя был уже лишен мой сын: речь идет о песчаном пляже Финского залива, вода в котором в мое время была столь чиста, что, стоя в ней по шею, можно было видеть собственные ноги и рисунок каждой маленькой ракушки или камушка на дне сквозь призму радужно-хрустальной воды. Зловредная дамба привела к заболачиванию, и теперь, к великому моему горю, веселый желтый пляж зарос бурой травой, и об мазутово-жирный берег плещет коричневая зловонная волна.

В семидесятых мы бесконечно плавали и загорали на нашем уютном пляже, пускали купаться черепаху Вيني – и она однажды уплыла в камыши навсегда, развив вдруг такую нечерепашую скорость, что мы, дачные резвые девчонки, не смогли ее догнать по мелководу. Мы наблюдали отливы и приливы – и злорадно не сообщали художникам, расположившимся на больших камнях с этюдниками, что скоро они окажутся отрезанными от берега, а потом с наслаждением наблюдали, как любители пленэра скачут, закатав брюки и держа ботинки в зубах: в руках-то им нужно было спасти свои шедевры и орудия ремесла! Запомнился мне и один небывалый отлив, когда поутру, придя с папой на пляж, мы обнаружили, что воды просто нет – она ушла куда-то настолько необозримо далеко, что мы побоялись ее преследовать: вдруг и прилив хлынул

бы с такой непреодолимой быстротой, что мы бы от него не сумели убежать? Зато обнажились вдруг все подводные камни, которых я, маленькая, так боялась, однажды сильно об один из них ушибившись, – и с того утра я всегда знала, где купаться опасно, а где ровное песчаное дно...

Это то, что не вернется никогда, но другое чудо света в Мартышкино чудом же и сохранилось до наших дней, потому что еще при Советской власти ему было присвоено высокое звание заповедника – то есть места, не подлежащего особому надругательству. Я говорю об усадьбе Лихтенбергов, обширном поместье вокруг загородного дворца, сейчас принадлежащем Биологическому институту, и им же содержащемся в редком образцовом порядке. Этот лесопарк напоминает мне родное Покровское-Стрешнево, только несколько поинтереснее, потому что имеет дорогой ребячьему сердцу налет старинности и тайны. Геометрически ровные дорожки соседствуют с грибными чащами (самолично выгребала с пригорка рыжики, а из под кустов прямо рядом с аллежкой доставала целые многолетние семьи упругих боровичков); большая сеть искусственно «запущенных», а на самом деле биологически чистых озер соединяется живописными протоками в обрамлении мшистых валунов; горбатые и прямые мостики застыли среди зарослей над водой или зелеными камнями там и сям; вид со ступеней бело-желтого загородного дворца простирается с кручи вниз до берега залива, открывая взгляду то стальной, то фиолетовый горизонт с обязательным белым корабликом на нем... Но главная достопримечательность – это Голова. Да, настоящая каменная голова лысого человека (по легенде – Тевтона), диаметром не менее двух метров, врытая в землю напротив очередного мостика и крутого подъема к дворцу, у основания затемненная темно-зеленым мхом и с дыркой в гигантском носу: в мое время оттуда вытекала вода... Мы так и говорили: пойдем к Голове; прокатимся до Головы и обратно – без нее непредставимо неполным казалось бы наше летнее счастье. Еще в парке и по сей день растут трехсотлетние неохватные дубы дивной красоты и несказанного величия – что им какие-то тридцать лет, они же родственники Мамврийского!

В таких декорациях мирно текло мое детство, когда мы кочевали с одной съемной дачи на другую, и я всегда находила друзей особой, летней породы – которых встретить вдруг в городе зимой было бы странно и неловко. Некоторых помню, например, девочку Иру со странной фамилией Вира, хозяйскую внучку, с которой затеяли мы однажды рискованное мероприятие под названием «Ночевка в саду». Мы упросили взрослых в теплую летнюю ночь постлать нам постели на раскладушках в саду – и, опасаясь категорического запрета, получили вдруг подозрительно легкое согласие. Часов в десять вечера улеглись – но дозволено нам было проблаженствовать не более часа: мы с упоением шептались «о девичьем» и рассказывали страшные истории, когда вдруг явились совсем неожиданные родители и насильственно угнали нас спать в дом. На самом деле взрослое вероломство заключалось в том, что они недальновидно рассчитывали, что маленькие девчонки испугаются темноты и с визгом прибегут домой через десять минут – оттого нас и не отговаривали. Особенно обидно было, когда папа, доставив меня, в очередной раз разочарованную в жизни, на веранду, где «большие» пили чай, стал уверять всех, что он застал нас едва ли не онемевшими от ужаса, парализованными страхом настолько, что мы боялись даже вылезти из постелей и пробежать через ночной сад. «Смотрю на них – глазки зажмурены, ушки дрожат, хвостики дрожат, и носики из-под одеяла от страха не высовывают...» – так описал он наше состояние моей маме и еще каким-то гостям, и напрасно я со слезами доказывала, что бояться мы и не думали, потому что бояться нечего – все потешались надо мной, обзывая «трусичкой зайкой сереньким»... Но долго таить обиду у меня никогда не получалось.

Именно в двоюродного брата этой самой «Иры-Виры», четырнадцатилетнего С., я была в то лето жарко влюблена и, по свидетельству взрослых и собственным моим воспоминаниям, услышав, что его позвали обедать или ужинать, пулей летела под окна их столовой и начинала танцевать на зеленой лужайке – делать даже какие-то балетные па,

почерпнутые из телевизора. Представляю, как это смотрелось в исполнении плотненькой шестилетней девчонки! Тетя Валя рассказывала мне впоследствии, что этой моей очередной любовью она была тогда крепко озабочена и озадачена – вот ее почти дословный рассказ: «Этот мальчик приехал на пляж на велосипеде, позвал своего товарища, и они тотчас же уехали куда-то вместе, а на тебя, разумеется, не обратили никакого внимания, скорей всего, и вовсе не заметили. Но ты выбежала на дорогу, по которой они укатили, и принялась смотреть им вслед. Боже мой, как ты смотрела! Я помню, до какой степени меня поразил твой вид: у тебя был взгляд не влюбленной малышки, а взрослой страдающей женщины с разбитым сердцем – полный тоски и страдания от неразделенного чувства! Я тогда еще подумала: что ждет в жизни этого несчастного ребенка?!». Ничего особенного с ним не случилось. Он просто стал писателем. Кстати, любовь моя к этому подростку С. закончилась тем же летом немножко неожиданно: подкравшись к двери веранды, где он, как мне казалось, спал, я застала его увлеченно там онанирующим, и вынуждена была тишины ради пронаблюдать весь процесс от начала до конца. Тогда я, разумеется, в смысл действия вникнуть не могла, но воображение мое оно поразило настолько, что любовь выветрилась сама собой, даже без обычной «маленькой трагедии».

Помню другую свою подружку – еврейскую девочку Марину, с которой я дружила три лета, и которая была как-то вызывающе дурна даже для школьницы: она напоминала жалкого лысенького лягушонка лицом и фигуркой, но человечком оказалась добрым и терпеливым, во всяком случае, за мой тогдашний скверный, ветреный и вздорный характер со мной не раздружились. С ней мы организовывали в нашем переулке «концерты»: набирали детей из дачников и местных, желающих выступить с каким-нибудь «номером» – стихотворением, песней или танцем, рисовали фломастерами билеты и продавали их по пятаку своим же собственным родителям и другим взрослым (чистый сбор шел целиком нам на лакомства или делился поровну и тратился каждым по собственному усмотрению). Так что не смейтесь, но первые в жизни заработанные мной деньги имели место лет в восемь и поступили от презренного актерства – ибо, представьте себе, я – пела! Беззастенчиво пела перед взрослой «почтеннейшей публикой», маявшейся на стульях в тупике – так что сбежать зрители не могли бы, даже если б захотели, потому что выход был только через «сцену»! Что пела, сейчас не помню точно, хотя подозреваю, что «Черного кота», который жил да был за углом, ненавидимый всем домом исключительно за цвет шкуры, и жалостливую песню темного школьного фольклора: *«Папа, купи мне новенькую шляпу! – Мама купит. – Папа, а я штанишки разорвал! – Надень мои. – Папа, как хорошо, что ты женатый! – Сам знаю. – Спасибо папа, что ты от мамы не ушел! – Еще успею»*. Самое интересное, что папы не протестовали, а дружно хлопали, однажды даже совместными усилиями нарисовали яркую грамоту с надписью «Присуждается лучшему исполнителю» и после концерта торжественно преподнесли ее мне. С тех пор петь я больше не дерзала – ни соло, ни хором – разве только за праздничным столом, когда всем уже все равно, какие у кого вокальные дарования. (В скобках не могу не вспомнить таким же образом с чувством исполненную мною песню на собственной второй свадьбе, кончавшуюся словами, чуть не ставшими пророческими: «Ой, пропадет, он говорил мне, твоя буйна голова!».)

В том же переулке случилась у меня первое собачье горе: убежала вчера только купленная папой за три рубля у пьяницы собачка, карликовый пинчер. Как была я встревожена, помню, когда увидела папу, возвращавшегося из Нового Петергофа под ливнем, в блестящем дождевике, и отчего-то несшего два газовых баллона в одной руке! Первая мысль пришла: опять руку поранил! – но тут же я рассмотрела, что второй он прижимает к груди черное трясущееся существо, мечту всех детей на свете (за исключением моего сына – котомана) – собаку!!! Мужики ужасно хотелось водки, а папа всегда был равнодушен к собакам: взаимовыгодную сделку шустро провернули. Только вот собака оказалась с ней категорически не согласна: почему, собственно, люди никогда

не принимают в расчет чувства таких разумных тварей? Наутро, когда я торжественно вывела своего питомца на прогулку, пес сделал то, что ему самой природой предписано, как Главному Рабу Человека (хорошо зная теперь и собак, и кошек, я высокий титул Друга дарю все-таки вторым: собака вовсе не друг, а верный человеку раб). Бедный, черный, исстрадавшийся за ночь без любимого хозяина песик рванулся из моих неопытных рук – и на своих коротеньких лапках-спичечках помчался, как показалось мне, быстрее лани. Как ни гналась я вослед, с размаху падая и в отчаянье не замечая разбитых коленок, догнать его не смогла: так и отправился он на поиски своего предателя-хозяина вместе с ошейником и поводком – и даже сегодня я не знаю, хочется ли мне верить, что он его нашел?

Несчастный безымянный карликовый пинчер открывает мою собственную галерею четвероногих питомцев, обойти которую вниманием в этой книге было бы несправедливостью ко всему собачьему роду.

Собак в нашей семье любили, поэтому мне и особо просить не пришлось себе щенка, как, случается, вынуждены едва ли не на коленях вымаливать дети. У меня, взрослой, и сейчас-то нет собаки только потому, что представить себе утреннее с ней гуляние уже выше моих совиных сил – а так-то мечта не умерла, будьте спокойны, только теперь мне бы уже что покрупней и поответственней, и немецкая овчарка видится самым идеальным вариантом.

Первым моим псом, полученном в первом же классе, была Чапа, как сейчас деликатно выражаются – метис, а если говорить честно, то подsunутая нам под видом финской лайки рыжая, с коричневым потемнением вдоль хребта и лисьей мордочкой – некрупная дворняга. Вдобавок, нам еще сказали, что это кобель, а поскольку любовь моих родителей к собакам до того момента была чисто умозрительной, то они поверили (было бы здорово, если бы не нашлось человека, им на прискорбную ошибку указавшего, и наш «мальчик» через годик принес бы многочисленное потомство). Но правда вовремя вскрылась, и Чапу стали соответственно блюсти во дворе, а впоследствии всегда предпочитали сук, считая их более преданными дому и хозяевам. В отношении Чапы такое мнение стопроцентно оправдывалось, потому что более верной собаки мне лично не представить. Увы, она прожила у нас только год, но и за это время успела продемонстрировать слепую, фанатичную любовь и столь же усердную нам службу. Особенно это проявлялось все в том же Мартышкино, когда Чапа сопровождала и охраняла каждый наш шаг на суше и в воде и, если в первом случае была за нас более-менее спокойна, то во втором считала своим долгом утонуть вместе с кем-то из хозяев, если не удастся его из воды выволить. Она была не любительница купания, эта чистопородная дворняжка, но всегда мужественно плыла рядом и, случалось, выла от ужаса перед нелюбимой стихией – но не отставала ни на шаг. Помнится мне случай, когда, решив на один день съездить в город, мы с мамой решили собаку с собой не брать, а оставить ее на попечение соседки по даче. До станции мы как раз дойти успели – и были настигнуты мчавшейся нашей псиной, сорвавшей поводок, по всем правилам взявшей след и вынюхавшей родных хозяек... А за ней на последнем издыхании приплелась ответственная наша знакомая, очень переживавшая собачий побег...

В ту осень мы переезжали с 3-й Красноармейской в Купчино, и переезд наш неожиданно стал для Чапы фатальным. Она подхватила чумку и снова стала жертвой неопытности моих родителей: они только что обработали новую квартиру ядом от тараканов и легкомысленно решили, что собака нализалась его, оттого ее и рвет так беспрерывно и мучительно. Вместо того чтобы сразу же обратиться в ветлечебницу и начать курс антибиотиков, они старательно поили страдальицу молоком с ложки, надеясь таким образом вылечить – и результатом стала ее неизбежная смерть. Папа нашел ее мертвой и сразу же тихонько вынес похоронить, чтобы не травмировать меня видом мертвой любимицы. Мне долго – почти полгода – говорили, что к Чапе, когда я была в школе, вызвали ветеринара и он забрал ее в собачью больницу. Я верила где-то с месяц,

спрашивала, можно ли с Чапой увидеться, навестить ее, но по уклончивым ответам родителей скоро дошла до понимания печальной истины, и на родительские уловки, призванные меня подготовить к неизбежному («Чапе хуже... Еще хуже...»), реагировала уже почти спокойно, внутренне смирившись с тем, что не все подвластно даже двум таким могучим людям, как мои родители.

Следующая, весьма неудачная попытка обзавестись новой собакой состоялась года через полтора и научила меня с тех пор неукоснительно соблюдать твердое правило: никогда и ничего не принимать в дар от (или через) человека, с которым испытываешь явную взаимную антипатию. Дама, сосватавшая нам Дэзи, меня, четвероклассницу, уже активно недолюбливала, я чувствовала в ней врага и сторонилась, причем наше такое нежное отношение друг к другу сохранилось и теперь, спустя тридцать лет. Но тогда, помню, мое сердце звонко забило от радости, когда я увидела ее, молодую и стройную, в коричневом пальто, идущую по 8-й Красноармейской к нашей школе, у которой мы с папой ждали ее, – с бежевой лохматой мордочкой, высывавшейся из-за пазухи. Уж не помню, за помесь чего с чем выдавали знакомые дамы эту очевидную дворняжку, но была она тоже рыжа, неказиста, со светлыми усами, бородкой и вообще без мозгов.

Случается ведь у людей врожденная или приобретенная болезнь – дебилность, почему бы чему-то подобному не быть и у собак? Могут они страдать умственной отсталостью или нет? Исследовала ли ветеринария этот вопрос? Глядя на Дэзи, можно было с уверенностью сказать: нам попалась какая-то собачья дебилка. Ей принципиально невозможно было втолковать что-либо положительное – никоим образом. Напрасно читали мы пространные наставления по собаководству, напрасно придумывали многообразные «персональные подходы» – эта собака так и не взяла в толк, что справлять нужду следует на улице – и резво скакала там, как ягненок на лужайке, а, придя домой, раскорячивалась прямо посреди коридора и делала огромную лужу. В наше отсутствие она ходила лапами по кухонному столу, съедала все, что могла достать и, прежде всего, скидывала крышку с сахарницы и уничтожала весь сахар. Ни к кому она не привязывалась, никаких команд упорно понимать не желала, портила все, до чего могла дотянуться... Даже я, всегда склонная многое прощать животным по причине их беспомощности перед человеком, полюбить и принять это ходячее и писающее недоразумение не смогла. О том, чтобы усыпить ее, речь, разумеется, не шла, но уже спустя полгода стало ясно, что избавляться от напасти непременно следует, потому что эта маленькая собачка вполне способна превратить в небольшой филиал ада на земле жизнь троих человек. Избавление пришло само – в виде старушки, умилившейся однажды при виде Дэзи: «Ах, какая милая собачка! Какая очаровательная! Где ж вы такую достали?». «Нравится? Дарю вам! – тотчас нашелся папа. – С ошейником и поводком в нагрузку...». Целую неделю после этого чудесного случая, возвращаясь из школы, я несла в себе тихую, жаль только, скоро притупившуюся радость: «Неужели мне сейчас не придется выгребать говнище и приводить квартиру в порядок?!».

Третья и последняя попытка была самой удачной. Черный пудель Криста прожила в нашем доме двенадцать с половиной лет: ее взяли, когда мне было одиннадцать с чем-то, а хоронила я ее уже двадцатичетырехлетней, перед собакой той бесконечно виноватая.

Это деликатное, интеллигентное существо очень естественно вросло в нашу семью и стало ее неотъемлемой частью, как говорят, членом семьи. Человеческую речь Кристуша, определенно, понимала – причем не интонацию, как это принято думать, а именно слова, даже не обращенные к ней. Она была неизменно приветлива и весела, умела восторженно улыбаться, преданно и светло глядя человеку в лицо, и с тех пор я совершенно уверена, что пудель – это самая радостная собака в мире. Как она бегала – нет, летала! Когда пудель бежит, он производит полное впечатление стремительного полета над землей, потому что «машет» своими длинными черными ушами и подскакивает выше, чем другие собаки, да и мчится быстрее... На нее смотреть – сердце радовалось, ничего другого и не скажешь. Про послушание и говорить не стоит: взгляда слушалась, не то, что слова – все

время экзальтированно заглядывала в глаза хозяевам: что мне еще для вас сделать? Лапы умела подавать – все четыре, задние – страдальчески-уморительно, будто сама понимала, что делает что-то не совсем то...

Роль свою сыграла, конечно, ее высокая породистость: на сей раз к выбору щенка родители мои подошли со всей ответственностью и покупали его через клуб собаководства, что в те времена давало почти гарантию качества. Родословная нашей Кристи брала свое начало в Канаде и Америке, ее мать и отец имели большие золотые медали. Что ж, один раз выставили Кристу и мы. Выставку я помню отлично, как и то, что подвела нас Кристина стрижка. Мы с папой решили выпендриться, как это нам обоим всегда было свойственно, и из двух разрешенных стрижек, выбрали «подо льва». Так и ходила наша Криста по рингу, как Мальвинин Артемон в черном варианте, резко отличаясь от всех прочих пуделей, традиционно стриженных «под модерн». В результате, с формулировкой «не видна линия спины» ей занизили оценку, и вместо большой золотой медали дали малую – что, впрочем, нас не очень расстроило, и с выставки шли мы гордые, в компании нескольких столь же торжествующих пуделистов с питомцами, каждый из которых сверкал новеньким «золотым» кругляшом на шее. Зрелище было редкое: люди оборачивались на процессию, и я, семиклассница, задирала нос, как никогда.

Через год после выставки мы нашу Кристу официально выдали замуж: ее супругом стал обладатель большой золотой медали по имени Сен-Жан, и после двух вязок под наблюдением опытного егеря, она принесла нам потомство в виде девяти очаровательных, будто игрушечных созданий. Помет было необходимо называть на одну букву, и нам выпала «Р». Имена, данные новыми хозяевами, я помню и сейчас, двадцать шесть лет спустя: Ромул, Ромео-Монтеки-Дирон (кому такое могло придти в голову – меня не спрашивайте), Раджа, Рута, Рада, Равелина, Рашель-Эра, Райта и Регина...

Подождав над текстом десять минут в мрачном раздумье, я все-таки не могу не сделать сейчас тяжелое и вовсе не лирическое отступление, к Кристе моей отношения не имеющее совсем, а к собакам – только мимолетно.

Вчера я перечитала «Блокадную Книгу» – издания уже перестроечного, то есть, кастрированного не так безобразно, как прочитанное мной в начале восьмидесятых. Еще раз ужаснулась и еще раз вспомнила. Егеря, вязавшая Кристу и Сен-Жана, была в весьма преклонных летах (речь идет о весне 1982 года), наверное, ровесница 20-го века, а то и из девятнадцатого туда перевалившая. Рука ее оставалась вполне твердой, а голова ясной, и, кроме того, в таком возрасте люди уже обычно «перерастают» такие мелкие эмоции, как страх перед тоталитарным режимом. Егерем старушечка проработала всю свою сознательную жизнь, а блокаду провела в осажденном Ленинграде – с двумя детьми и тремя карточками: иждивенческой и детскими. Что это значило, жители Петербурга, в основном, понимают, а кто не понимает, тому уже не объяснить. Однажды перед домом, где в темной замороженной комнате умирала эта сорокалетняя женщина и ее дети-подростки, уже опухшие и слегшие, остановилась начальственная легковая машина. Двое военных в кожаных пальто споро и без лишних объяснений вытащили на свет Божий несчастную – и затолкали ее в машину. Она была уверена, что ее арестовывают, и вздохнула с облегчением: это означало скорый конец мук для нее и детей. Женщина ошибалась: она потребовалась в качестве егеря – вязать собак товарища Жданова (сейчас не помню – были это борзые или легавые), и везли ее прямоком в Смольный. Чести увидеть владельца своры отличных упитанных псов (в то время как в Ленинграде люди уже давно съели не только собак и кошек, но и крыс) егеря не удостоилась, зато в благодарность за безупречно выполненную работу ее усадили обедать с адъютантами. Такого стола женщина не видела даже в мирное время в самые большие праздники, но что не поразило ее, а – сразило, так это огромная хрустальная чаша со свежей клубникой. Страшней она в своей жизни ничего не видала, ни до, ни после: на дворе стоял январь 42-го. Адъютанты попытались светски поболтать с завшивленной дамой, в частности, любезно сообщили ей, что клубнику едят все-таки не каждый день: обычно она подается

исключительно к высокому столу, но тут случилась счастливая для них неприятность: ящик клубники слегка подмерз, отчего Жданову и сателлитам его содержимое подать не дерзнули – все досталось адъютантам, за исключением одного, нерасторопного, что отвечал за доставку деликатеса: его-то разгневанный хозяин за такую провинность отправил на фронт. Еще до обеда егеря предупредили: есть можно все, что угодно, в любых количествах, но выносить запрещено: на выходе обыщут. У нее уже всю пошла гулять дистрофия, но притронуться к еде она так и не смогла – даже не из-за своих детей, а из-за другого, более сложного и высокого чувства. Заплакать тоже не получилось: к январю 42-го у ленинградцев уже не оставалось слез. Посидев сухим истуканом, она встала, ни крошки не съев, поклонилась: «Благодарю, я сыта», – и вышла вон.

Вновь к вопросу о Кристиных щенках: двое погибли в новых семьях на первом году жизни, а все остальные стали медалистами. Помню, последнюю девочку никто долго не хотел брать: действительно, была она вся какая-то неловкая, куцая, бегала бочком, рядом с великолепными своими братьями и сестрами смотрелась гадким утенком. Мы уж решили, что, если не найдется на ее прелести охотника, то оставим себе, пусть будут у нас две собаки, тем более что и Криста уже, раньше от своего потомства в панике бегавшая, оставшись с одной дочерью, освоилась и стала учить ее собачьим премудростям – иногда давая легкую трепку, иногда что-то по-своему втолковывая. Но однажды пришла молодая девушка и как-то сразу доверчиво рассказала, что она инвалид, живет одна, работать и замуж идти ей нельзя – вот она и берет себе друга, чтоб не так одиноко было жить. Мы обрадовались: казалось, на большее этот Кристин последыш не годился.

Каково же было наше удивление, когда через три года мы узнали, что Рада стала чемпионом породы! Попавшая в хорошие руки и получившая все внимание и воспитание, какое только может получить щенок, она «выправилась» и превратилась в роскошного пса непревзойденных статей («черного лебедя»). А ведь папа когда-то спас ей жизнь, самолично вспоив из пипетки!

О папиной роли няньки стоит рассказать отдельно; не решившись вставить это в главу, ему посвященную, чтобы не разрушить целостности впечатления, я теперь не могу смолчать, потому что все-таки этот небольшой эпизод можно считать ярким и своеобразным штрихом на целой сложной картине папиного многогранного характера. Так вот, после Кристиных родов папа взял отпуск на работе (мы шутили: «Вышел в декрет»), чтобы выхаживать ее щенков. Более восьми щенков в помете оставлять официально не полагалось: последние, мелкие, считались нежизнеспособными и подлежали немедленному утоплению; документы могли получить только восемь, да и сука, как считалось, большее количество выкормить неспособна, потому что и действующих сосков у нее как раз столько же. Папа мой сутками ползал на коленях вокруг гнезда, контролировал каждую кормежку, перекадывал более сильных щенков к верхним соскам, а более слабых – к нижним, где молока было больше и сосать его было легче. Кроме того, после каждой кормежки он Кристу *доил* в пузырьки от валерьянки, а потом через пипетку вливал молоко в рот тем щенкам, которые по слабости сначала и сосать нормально не могли... Выходил через месяц всех, проявив недюжинное терпение и какую-то особую основательность, которая, в общем-то, не была его постоянной чертой, а проявлялась от случая к случаю, но всегда уместно.

Криста умерла от рака матки с метастазами практически во все органы, и виновата в этом лично я, что вижу сейчас отчетливо и бесповоротно. Когда родился у меня ребенок, а Кристе было только около восьми лет, все внимание семьи, конечно же, перенеслось на него, и она оказалась в самом настоящем загоне. Мы вообще, и раньше были плоховатыми хозяевами, если уж говорить положе руку на сердце. Стригли ее не вовремя, вечно затягивая стрижку аж до декабря, а потом «голую» выводя ее на мороз, гулять с ней в выходные шли чуть не в три часа – и хоть бы раз она сделала нам, гадам, лужу в коридоре, кормили куриными горлами с манной кашей, потому что их проще всего готовить... Собака любит любого хозяина, это вам не своенравная кошка, с которой хочешь не

хочешь – а считайся. Рождение моего Ромы она приветствовала: поначалу принялась было неустанно охранять его, дежурить у кровати, бегать за нами, стоило лишь ему пошевелиться – и слышала в ответ: «Криста, не мешай... Криста, не путайся под ногами... Криста, на место...». И однажды она на это самое свое место в коридоре ушла навсегда. Сама. Поняла, что стала из любимицы семьи – лишней. Она устранилась и провела старость в поистине трагическом одиночестве, выходя из своего угла только есть и гулять, когда я шла с коляской... Естественно, начало ее заболевания я тоже просмотрела – не до того было: детские болезни, первый развод, вторые и третьи любви, организованное ЛИТО, вышедшие долгожданные книжицы... Я стала взрослой, а собака, росшая и взрослевшая вместе со мной – старой и никому не нужной. Я поняла, что дело плохо, лишь когда она отказалась от еды совсем и ее стало неудержимо рвать – одной водою. Тогда вызвали ветеринарную «скорую» – и врач сказал, что надежды нет, собака умирает, причем умирает в мучениях. Он укорил меня: «Куда ж вы, хозяйка, раньше смотрели?!». Куда угодно... Я согласилась на усыпление. Но и это еще не все: в благодарность за всю двенадцатилетнюю любовь и преданность своей незабвенной собаки я по незнанию отдала ее на ужасную казнь. Лишь спустя лет пять-шесть я прочитала в газете страшную статью о том, что в те времена, чтобы умертвить животных, их вовсе не «усыпляли», а вводили им вещество, мгновенно парализующее всю мускулатуру. Дыхательную тоже. И несчастные твари умирали, испытывая абсолютно те же ощущения, как если бы на шею им была накинута удавка. Этой участи подверглась и Криста – а я-то наивно думала, дурочка, что избавила ее от страданий...

Прожила в нашем доме некоторое время и еще одна собака, названная нами Клёпой, прожила в качестве гостыи, в доме не прижившейся. Однажды папа нашел в темноте на улице, как ему показалось, обросшего черного пуделя – угвазданного в мазуте и оголодавшего до полуодичания. После отмывания и расчесывания оказался черный терьер-сука. Она тоже была умна, но оказалась слишком напористой простолюдинкой по характеру: освоившись в семье, она стала порявкивать на интеллигентку-Кристу и оттеснять ее от еды – а этого мы уж снести не могли: Криста от рождения имела право не оспоримый приоритет, и папа после первых же эксцессов отвел Клёпу на птичий рынок, где даром отдал приятной с виду женщине – верю, ставшей черной страннице доброй хозяйкой.

Но пора вернуться к печальному предмету, к которому я как раз подошла, но войти основательно, за руку с читателем, еще не успела: к школе, тоже оказавшейся не такой, как прочие.

Говоря о ней, неминуемо приходится начинать со здания. Мне именно это сделать сейчас рудно, потому что семь лет назад, сочиняя «Одиннадцатый час», я очень прилежно и скрупулезно описала свою школу, подарив целиком все движимое и недвижимое в ней моей страдальце и убийце Ирине. Строки собственной книги так и норовят встать у меня перед глазами, как только пытаюсь выдать хоть какое описание – и вот только что пришла мне в голову шальная мысль: а что, если взять – и прямоком вставить сюда кусок из моей же повести, благо она есть прямо в этом ноутбуке – не с вульгарной целью сэкономить время и вдохновение, а по иной причине. Видите ли, без ложной скромности, я тем куском очень довольна, и лучше, кажется, мою школу мне не описать, ибо лучшее – враг хорошего. Итак, быть по сему!

Школа наша размещалась в старинном здании, где до революции была какая-то привилегированная гимназия. Когда пытаюсь описывать ее кому-нибудь, у меня всегда не хватает слов, зато в душе неизменно растет непередаваемое ощущение – простора. Простором, полным воздуха, дышало все: лестницы, на ступеньках которых еще остались по краям медные кольца, державшие много лет назад ковер; величественный, выкрашенный всегда в розовый цвет актовый зал с обильной белой лепниной, где потолком, казалось, служило само небо – настолько он был недостижим; в некоторых классах долго

сохранялись добротные старинные парты с наклоном и выемками для чернильниц – и так удобно было писать; коридоры, скорее, рекреации, где любая детская возня выглядела мелко; строгая библиотека, хоть и прореженная изрядно, но в ней свободно можно было взять почитать прижизненное издание «Войны и мира»... Достопримечательностью считались даже туалеты (...), более похожие по размеру на бальные залы, да в них и танцевали, случалось, младшеклассницы.

Расскажу мимоходом еще об одном обстоятельстве(...). Итак, вернемся на лестницу. Здание было четырехэтажным, высота каждого этажа соответствовала дореволюционным представлениям о красоте и удобстве – так что можете представить себе, какая именно высота набиралась в совокупности. Парадная лестница вела наверх из подвала, где имелся гардероб (о нем вы можете судить по фразе, брошенной в десятом классе одним из моих лихих соучеников: «Если наши в город войдут, здесь отстреливаться можно будет») – и заканчивалась на четвертом этаже перед входом в «рекреацию» небольшой площадкой с витыми перильцами. Пролет лестницы – глубокий, как шахта, с метлахской плиткой внизу, по неизвестным причинам не был снабжен железными сетками, как это еще встречается в старых домах на случай чьего-либо непредусмотренного полета. Так вот, делом особой чести, своеобразным ритуалом посвящения в Братство Храбрых считалось среди первоклассников и продленников после уроков подняться на верхнюю площадку, лечь животом на перила, свеситься над бездной, оторвать от пола ноги, задрать их наверх и так покачаться. Через эту процедуру прошли абсолютно все учащиеся – всех поколений и обоего пола – кроме, разумеется, совсем уж безнадежных трусов, которые как были ни на что не годны в первом классе – такими и оставались до выпускного бала. Очевидно, традиция аккуратно перекочевала в советскую школу из частной гимназии, потому что школа ни на день не закрывалась.

Но за всю историю не было известно ни одного – действительно ни одного случая, чтобы кто-то из детей неудачно сорвался в пролет и был потом соскоблен с метлахских плиток: об этом не только не слышали, но и по логике выходило то же: ведь после такого происшествия сетки установили бы при любой власти... А их – не было, несмотря на очевидную опасность, наблюдаемую не одним поколением учителей. Более того, даже особых мер не принималось, чтобы пресечь эту дополнительную гимнастику – словно под негласным запретом находились замечания именно по такому поводу. Во всем же остальном нас жучили как нигде: школа из привилегированной претерпела метаморфозу в образцово-показательную. Разве что пробежит на каблучках мимо молоденькая училка и пропоет ласково: «А-я-яй, детки, упадете...» – и погрозит хорошеньким пальчиком...

Вы скажете, что все это оттого, что гимназия, когда ее сто пятьдесят лет назад построили, во время открытия была освящена, как и плод любого труда – да и я, надо сказать, склонна (...) согласиться: другого объяснения просто нет.

Ну вот, понадобилось только полторы страницы и три отточия, а впечатление передано весьма полное: знаете, школа действительно была именно такая, и, кроме того, имелись в ней разные интересные нюансы, в повесть ту не попавшие – например, там была не только парадная, но и черная лестница – узкая, с гладкими ступеньками... Внизу располагался медпункт и несколько маленьких английских кабинетов, на этажах тоже имелись закутки и классы, а вверху упиралась она в совсем уж таинственный кабинетик – такой крошечный, что, казалось, и заниматься-то в нем нельзя... Думаю, что в гимназическое время жил там сторож или кто-то еще из прислуги... Над кабинетом географии на третьем этаже сохранилась замазанная белилами выпуклая надпись «Рисовальный класс». Другая черная лестница вела в столовую – внизу – и на чердак – наверху. Обычно он был закрыт, но единственная состоявшаяся экспедиция мне навеки врезалась в память: не помню, с кем, поднялась я туда однажды, учась классе, наверное, в седьмом, то есть, уже вошедшая в сознательный возраст – и обнаружила склад старой мебели, в основном – парт. Свое

потрясение от увиденного мне не забыть никогда: многие парты старого образца оказались сплошь изрезанными и исписанными старыми едучими чернилами – и надписи датировались 1904-м, 1908-м, 1911-м – и другими, казавшимися столь же бесконечно далекими годами... Отстояли тогда эти годы вглубь времен всего лет на семьдесят, и выжившие авторы тех надписей вполне могли еще догуливать свое по асфальту 8-й Красноармейской – но тогда я была почти уверена, что невзначай раскопала чуть ли не древний культурный слой...

Странная закономерность! Чем старше становишься, тем ближе тебе по времени события не только начала 20-го века (эти-то уж почти современными кажутся), а и даже времен протопопы Аввакума: его читаешь, как родного и близкого батюшку, которому так и хочется написать письмо и попросить совета... Тогда же, в детстве, и Великая Отечественная, закончившаяся за 22 года до моего рождения, казалась делом, мхом покрывшимся, а участники ее, далеко не старые люди, меня, нынешней, едва на пятнадцать лет взрослее, казались музейными экспонатами... А сейчас мнится, будто едва ли не сама воевала... Не одна же я такое испытываю?

... С первой учительницей мне, можно сказать, повезло, потому что она, по крайней мере, была живым человеком – рефлексивным, вспыльчивым, но отходчивым – горячим, *не теплым*. Ее звали Нина Николаевна С. Не знаю, жива ли она, поэтому фамилия пока останется за инициалом, да и огромное несчастье с ней приключилось потом, уже после окончания нами школы: дочь ее, моя ровесница и тезка, оказалась одержима бесом. Бесновалась страшно, но исцелить ее ничто не могло: Нина Николаевна была еврейкой и атеисткой, о крещении девушки вопрос не стоял, даже когда она неделями разговаривала «голосом Буратино»... Ну, да это ей предстояло рассказать мне по телефону спустя пятнадцать лет, а первые три школьных года никаких шокирующих травм не принесли: училась я еще хорошо, почти отлично, потому что учиться мне, собственно, было нечему, а если получала четверки, то только из-за того, что, должна признаться, моя тетрадь всегда оказывалась самой грязной в классе – хуже даже, чем у мальчишек-двоечников. Я как-то не умела и не пыталась научиться красиво писать, мне не хватало терпения аккуратно карандашиком зачеркивать ошибки – и я их просто вымарывала чернилами, а иногда и попросту рисовала на полях фасы и профили, ничуть не заботясь о дисциплине и не подражая Пушкину: просто мне так хотелось, а я привыкла доставлять себе маленькие удовольствия. Потом я спохватывалась и все замазывала – можете себе представить, что, в результате, представляла собой моя многострадальная тетрадь по чистописанию («прописи»). Взбешенная Нина Николаевна, стоя у доски, (кстати, тогда и в помине не было этих современных зеленых стеклянных досок, а мы знали только темно-коричневые или даже черные, деревянные) старательно копировала мои буквы из тетради и выполняла их в виде огромного рисунка-иллюстрации того, как *не надо* писать. Я пылала от стыда – и завтра делала то же самое... Но специально моя первая учительница никогда никому не гадила, любимчиков не держала, отщепенцев не выковывала. Просто иногда на нее «находило» и она устраивала какой-нибудь «внезапный сыч» вроде, например, прогулки по классу со словами: «Я знаю прекрасно, кто из вас меня любит, а кто – нет». В тот день она обошла всех до одного и про каждого говорила: «Эта девочка меня любит... Эта тоже... Про эту не знаю... Про этого мальчика не знаю... Этот любит... Этот – не знаю...». Дойдя до меня, она сказала совершенную истину: «Ну, эта-то девочка точно меня не любит!». Я оказалась единственной в классе, про чье негативное отношение она доподлинно знала – и посмела высказать это при всех: по всей вероятности, моя нелюбовь ее достала, потому что была явно видна. А я никогда так и не смогла понять, почему нужно (и как можно) любить постороннюю женщину – да и еще ласкаться к ней, как это зачастую делали другие девчонки, любившие «виснуть» на переменах на учительнице и по-кошачьи тереться об нее головой. Я всегда могла любить только близких людей, в те годы – исключительно маму и папу, хотя и к ним особенно не ласкалась, очевидно, интуитивно ощущая в ласке яркое эротическое начало, кровникам и однополым людям не предназначенное. Кроме родителей,

остальных людей я лишь терпела по неизбежности и даже периодически вредила им – но вредила только в знак протеста или из детской смешной мести.

На расправу Нина Николаевна была скоро и обожала казни именно публичные, отчасти, чтобы другим «неповадно было», а отчасти оттого, что не могла в наказании остановиться – и частенько мелкий проступок вырастал у нее до размеров едва ли не уголовного преступления. Например, я однажды надела на палец алюминиевое колечко с голубым камешком – и у Нины Николаевны случился припадок – другого слова не подобрать. Вместо того чтобы просто подойти к ребенку и спокойно потребовать, чтобы он убрал в карман неположенную в школе вещь, как того требовали правила и здравый смысл, она обрушила на мою голову шквал оскорблений и обвинений, зачем-то волоком выволокла меня к доске и пол-урока многоречиво стыдила перед всем классом, а потом красными чернилами исписала целую страницу в моем дневнике – скачущими от гнева буквами, с многочисленными стрелами и серпами восклицательных и вопросительных знаков... Так ее заносило не только со мной: одного мальчишку она, помню, в злобе швырнула спиной о доску, а девочку, продавшую кому-то фломастер за три копейки (очень ей, бедной, хотелось газированной воды), громогласно обзывала перед всеми спекулянткой и уголовницей... Приступов этих никто не боялся, потому что они неизменно кончались ничем, ибо злопамятность в числе пороков Нины Николаевны, к нашему счастью, отсутствовала. Вне своей вспыльчивости была она лояльна, терпима и невредна – а от учителя младших классов, по большому счету, сверх того ничего и не требуется.

Настоящим моим мучением – и определенной школой жизни к тому же – стала продленка, адское изобретение человечества, к которому родители прибегают от безысходности. Действительно, куда девать маленького еще, семи-девятилетнего ребенка, живущего от школы на расстоянии почти часа езды на двух видах транспорта, если нет в доме ни бабушки, ни тетушки, ни доброй соседки? Не бросать же маме было работу: на одну папину финансовую зарплату не выживешь. Вот и отдали меня в группу продленного дня – и получали около семи часов вечера – накормленную, выгулянную и со сделанными уроками. И разращенную в свою меру – но этого же родители не знали...

В группе собиралось человек двадцать, из каждого класса понемножку, занимались, чем могли, причем, в целом – бесконтрольно, потому что всегда разрешалось под предлогом выхода в туалет разгуливать по всей огромной школе, да и время прихода в группу не регламентировалось ничем. Тогда-то я и повисела впервые над бездной с метлахскими плитками внизу – сперва замирая от ужаса, а потом так к этому занятию приохотившись, что уже, бывало, с начала последнего урока мечтала о скором запретном удовольствии. Здорово было, от души скажу, болтаться небольшой кампанией продленников по пустым и тихим рекреациям и лестницам – всем другим ученикам доступным только на переменах, а это ведь совсем не то! Перемена – это в любой школе сутолока, визг, топот, пестрое мелькание – словом, нечто оглушающее и отупляющее. Мы же имели возможность наблюдать школу как бы отдыхающую от учеников и учения – тихую, немую и немного торжественную, как пирог, только что вынутый из печи и накрытый чистым полотенцем... Здесь была масса возможностей уединиться и пошептаться, под плиткой на полу в туалете организовать нехитрый денежный тайничок, полежать там же на подоконнике с видом на Троицкий собор (тогда заколоченный), посмотреть, заперевшись в учительском отдельном комфортном туалете, набор старых порнографических открыток или учебник по гинекологии 38-го года выпуска, подражаться со щипками и слезами – и помириться, обменявшись любимыми фантиками... По окончании уроков в старших классах (мы уже знали, после какого по счету звонка – и только тогда шли в группу), учитель продленки вел нас обедать, а потом мы одевались в нашем страшноватом гардеробе и бомбами вылетали на прогулку. Там тоже был хлопот полон рот: разрисовать, например, обломком кирпича и жирными мелками только что оштукатуренную светлую стену флигеля во дворике, устроить в черной земле или снегу традиционные, сейчас из обихода исчезнувшие, а тогда очень популярные девичьи «секретки», мимоходом поискать и какой-нибудь заваливающий

клад... Кстати, его мы с какой-то девочкой однажды благополучно нашли – именно завалыщеный: горстку закопанных вместе серебряных монеток Тысячелетнего Рейха – черных от времени и неизвестно как в наш тихий дворик попавших... Было немножко страшно, потому что монетки были не только серебряные, но и явно «запрещенные» – это слово советские дети очень хорошо знали чуть не с детского сада – и оттого притягательные вдвойне. Мы их честно поделили, а через несколько дней без сожаления потеряли...

Часа через два нас вели обратно, но не в школу, а в особое помещенье с отдельным входом, отданное в те дни продленке, а в нынешние – стоматологической клинике. Помню одну из стен помещения для игр: она была яично-желтой, а на ней масляной краской папа одной из моих одноклассниц, художник, изобразил классическую сцену покорения репки – очень ярко, так, что в глазах рябило. В этой комнате желающих поили (без всякого насилия) бесплатным жирным молоком – это, пожалуй, единственное время в моей жизни, когда я его пила добровольно: оголодавшая была после поганого школьного обеда и здоровой прогулки. Помню треугольные красные с белыми снежинками картонки на четверть литра – и черный хлеб на подносе; пить полагалось не из стакана, а из обрезанного пакета, что мне парадоксально нравилось, а хлеб я обязательно старалась отламывать: тогда создавалась иллюзия определенной бивуачности, делавшей терпимым употребление ненавистного молока... После полдника нас гнали делать уроки – никаких трудностей для себя не помню – а проверив их, выпускали играть и читать до приезда родителей. В общем-то «ада» как такового не наблюдалось – просто несказанно тяжело ребенку, встав в семь часов утра и выйдя из дома в восемь, возвращаться туда лишь через полсуток – не каждый взрослый выдержит такое напряжение... В игровой, по мере того, как нас постепенно разбирали родители, мы взбудораженно толклись в ожидании, снова забивались по трое в туалет – но дневной раскрепощенности уже не существовало, потому что к вечеру мы становились усталыми, агрессивными и злыми. Читать тоже особо не приходилось, потому что на продленке можно было раздобыть только примитивные сказки с картинками и неизменные книжки о кудрявом гимназисте Володе с его мнимыми отличными оценками, от чего всех поголовно тошнило уже тогда...

Вошедший в игровую папа воспринимался избавителем – и однажды, помню, он вдруг с видом фокусника, напускаемого им на себя, когда мне готовился сюрприз, достал из портфеля стройную серенькую книжку. Оказался Б.Васильев, его повесть «А зори здесь тихие...». «По-моему, это ей рано!» – в педагогическом пылу ринулась в бой учительница. «Ничего, как раз подойдет, она у нас уменькая», – ответил папа и оказался бесконечно прав. Эта книга пережила со мной все бури и передраги моего жизненного пути, ее страницы уже даже не желтые, а оранжевые от моего вечного внимания и прозрачные от ласки, потому что вот уже несколько десятков лет я периодически читаю ее везде, одним глотком – за обедом, в ванне, в постели, в дороге, в беде, в отчаянье, в спокойствии – всегда. Существует, конечно же, существует, метко опознанная Бондаревым виртуальная «Золотая Полка» у каждого читателя – и эта книга Васильева одна из тех немногих, что у меня там стоят с глубокого детства с пометкой «хранить вечно» – по соседству с «Возмутителем спокойствия» и «Очарованным принцем» Л. Соловьева, «Сестрой печали» и «Лачугой должника» В. Шефнера, «Верными друзьями» Б. Рябинина, впервые прочитанными и навсегда полюбленными тогда же, в начальной школе...

По вторникам и пятницам вносилось некоторое разнообразие, которое сейчас видится недоразумением: в принудительном порядке всех – всех! – продленников гнали в Дом пионеров, в хореографический кружок вместо прогулки. Кто такое придумал, и почему не спросили не только детей (в те годы, впрочем, полностью безгласных), но и хотя бы родителей? Всех нас, вне зависимости от способностей, комплекции и желания, заставляли переодеваться в белые юбочки (мальчиков – в шорты) и балетные тапочки и ставили «к станку» разучивать бесконечные балетные позиции и выполнять идиотские батманы. Я терпеть этого не могла, тем более что преподавательница, по осанке – бывшая балерина,

отличалась балетной же суровостью и жестокостью, что когда-то считалось хорошим тоном в Вагановском училище, но по отношению к испуганной кучке упитанных деток выглядело весьма нелепо и желанных плодов не приносило. Я, правда, ухитрилась сделать неожиданные успехи в разучивании какой-то там «Октябрятской польки» (весьма странное словосочетание, согласна, но таковы были неумолимые требования времени) и была удостоена даже съемки на телевидении для передачи «Творчество юных». Какое там творчество, Господи, Боже ты мой! Смутно помню короткие платица из пурпурного шелка и белые газовые переднички в качестве сценических костюмов, собственный огромный бант на макушке, лютый холод и слепящий свет в студии, где нас толклось пять-шесть пар одереженевших от волнения детишек – а потом на экране черно-белого телевизора даже собственные родители меня узнали не наверняка... Первый и второй класс я еще не решалась сопротивляться произволу, а в третьем, раз уж пригона в Дом пионеров вместе с прочими избегать не удавалось, после скандала с привлечением папы, демонстративно сменила балетный станок на юннатский кружок – о чем ни разу в жизни не пожалела.

Тот Дом пионеров на улице Егорова памятен мне еще и тем, что я нечаянно вскрыла там собственных родителей на кошмарную по тем временам сумму – восемь рублей, разбив ногой огромное окно в туалете, когда вздумалось мне однажды протанцевать на подоконнике не Октябрятскую польку, конечно же, а канкан... После этого наша воспитательница продленки обозвала меня «овцой поганой» и даже вознамерилась треснуть по физиономии, но я успела увернуться, а кара постигла ни в чем не виноватую мою одноклассницу, по щеке которой и пришелся удар воспитующей длани...

Так что начальная школа протекала мирно, родителей я пока не особенно огорчала, и меня легко им было вводить в оглобли с помощью милых домашних средств. Например, чтобы стимулировать мое прилежание, папа однажды выдумал награждать меня за успехи лично им нарисованными грамотами. Как жаль, что я их не сохранила, а ведь место им – навеки первое, далеко впереди литературных и всяких прочих необязательных наград. Всего грамот мне вручили три: Малая Грамота, белая с красными буквами и зеленой оливковой ветвью, Большая Грамота – синяя с красным и Высшая Почетная Грамота – желтая, *очень* красивая. Подчеркну, что это была не цветная бумага, а белая, раскрашенная папой цветными карандашами, с приличествующими надписями (не помню, какие мои заслуги отмечавшими) и торжественной его подписью: *Глава семьи: А.Веселов*. На самом деле, если главой он и был, то мама – классической шеей, эту голову успешно по своему хотению вертевшей, о чем гордая «Глава» может, и догадалась к концу жизни, но поверить себе так и не захотела...

Учеба моя текла своим чередом, и вот уже пройдены по математике фигурные скобки, похожие в моих тетрадках на уродливые носики старинных чайников, и в третьем классе появилась у нас новая девочка Лиза. Помню ее у доски на математике, в красной кофточке не по форме, поддетой под черный школьный передник – и свой завистливый взгляд, потому что нарисованная «новенькой» изящная скобка выглядела по сравнению с моими примерно так же, как лань рядом со стадом мамонтов. С этой девочкой – в то время еще будущим акушером-гинекологом, кандидатом медицинских наук (а относительно настоящего времени, уверена – будущим доктором этих же наук) Елизаветой Валерьевной Шелаевой, Лизаветой, наша дружба продолжается без перерывов вот уже тридцать один год, и отношения давно перешли из дружеских в родственные – и духовные, потому что она моему сыну – крестная («Кока»), а мне, стало быть, полноправная кума.

(Полюбив в старших классах невесть где добытых тогда еще полузапрещенного Н.Гумилева и абсолютно запрещенную З.Гиппиус, мы находили забавным, прогуливаясь на переменах, хором полускандировать, полупеть их стихи, особенно преуспев в исполнении легендарного «Жирафа», стихотворения про Ромула и Рэма, которые «взошли на гору», и неудачной гиппиусовской «Ирландии»). И по сей день я легко могу прерваться посреди важного разговора с Лизой и ни с того ни с сего завести: «Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд...» – и ни минуты не сомневаюсь, что в ответ немедленно последует: «И руки

особенно тонки, колени обняв...» – а потом мы продолжим не особо стройным хором: «Послушай, послушай, далеко на озере Чад изысканный бродит жираф...». Только вот в конце стихотворения об основании Рима последнее двустопное про могильные склепы мы теперь стали читать с некой новой, не такой беззаботной, как раньше, интонацией. Да, конечно, могильные склепы надо поставить ближе к дому...).

Я была несправедлива к школе, легкомысленно заявив, что она не дала мне ровно ничего и была в моей жизни одной сплошной напрасностью: школа подарила мне Дружбу, так что не зря я тогда надрывалась на вступительном экзамене со своим «таинственным осёнем»...

Начальная школа кончилась, и первого сентября 1977 года 4 «Б» класс приняла его новая классная руководительница с таким огромным животом, что все родители, взглянув сначала на него, а потом на ее суровое бровастое лицо, украшенное мужскими очками, вздохнули с облегчением: «Скоро в декрет...». Роковая ошибка! Это оказалась всего лишь крупная миома, спустя несколько месяцев благополучно прооперированная, и Марьяша (такое нейтральное прозвище получил сей монстр) чутко руководила нашим классом по выпускной вечер включительно, произнесла на прощание в актовом зале со сцены примерно такую речь: «Я с облегчением расстаюсь с вами и ничего хорошего не могу вам пожелать. На мой взгляд, все вы – абсолютно безнадежные люди. Место девушек – на панели, а юношей – в тюрьме. Это в первый раз за мою педагогическую практику мне попался такой не поддающийся воспитанию класс, о котором у меня не останется не одного теплого воспоминания – и ничего мне от вас не надо, никаких прощальных подарков я не приму». Ерунда это все была – класс, как класс, да и сама Марьяша, если уж глядеть на нее с высоты справедливых лет, не стерва, не дура даже, а просто глубоко несчастный человек, упорно державшийся в жизни не за свое место. Нечего ей было делать в школе рядом с подростками, которых она не любила и подхода к ним не знала, расписываясь басовитым лаем и несдержанной бранью в своем педагогическом бессилии. Ей бы любимую математику не в школе преподавать, а уйти в нее с головой как в науку – и была бы, глядишь, счастлива, раз уж семья не сложилась, да и мы бы росли менее издерганными... Не захотела, и семь лет терзала нас своим непониманием, а мы ее – своим неуважением, потому что в том, что видели в ней, уважать было нечего, а жалеть мы еще не умели: дети жестоки.

А в остальном учительский коллектив представлял собой скучное, удручающее зрелище, состоя, в основном, из неустроенных дам с несложившейся личной жизнью, ограниченных, усталых до предпоследнего предела, в зависимости от особенностей характера – то раздражительных, то, наоборот, напускающих на себя мудро-педагогический вид, а в целом – беспомощных, малообразованных, комплексующих, неблагополучных и, соответственно, ничему хорошему молодяк научить неспособных. Какие-то из них были более вредными, какие-то – менее, кто-то любил свой предмет, кто-то таскался на работу, как на каторгу, кто-то терпимо относился к детям, кого-то трясло от отвращения – но безликость общей массы этих женщин, вкуче называвшихся педагогическим коллективом, бросалась в глаза даже мне, когда я стала чуть-чуть постарше. Вот и угнетало меня постоянное чувство жесточайшей несправедливости оттого, что я, по возрасту и социальному положению вынуждена была находиться в подчинении у этих недалеких людей с грубой психологией – и я шла порой ради собственного развлечения на мистификации и подлоги – заранее зная, что узкий кругозор моих педагогов не позволит им меня разоблачить. Так, например, я писала сочинение на свободную тему про какое-нибудь литературное произведение, никогда не существовавшее, приписывая его известному (или только что вдохновенно придуманному) автору – и с умным видом рассуждала о его классовости, идейности и партийности – и никто никогда не схватил меня за руку. Хотелось бы, как многим вспоминателям до меня, написать какие-нибудь теплые благодарные слова о любимом педагоге (у них это чаще всего словесник-литератор), но, увы, не нахожу ни для кого таких слов, потому что не попался в жизни Учитель с большой буквы. Те, что

преподавали литературу, вовсе не стремились вскрывать таланты в учениках, не поощряли творческого начала, а, наоборот, старательно промывали школьникам мозги, с младых ногтей обучая их не только говорить и писать, но и думать хором...

Особого упоминания заслуживают, пожалуй, знаменитые пионерская и комсомольская организации. Заявляю ответственно: в наше время идеология уже настолько одряхлела и прогнила, что не только я, воспитанная своими родителями, но и подавляющее большинство моих ровесников, не относилось серьезно ни к каким политическим идеям, прививаемым нам, а просто молча терпело и презирало существующий шутовской строй. Исключение составляли несколько недалёковидных приспособленцев, с начальной школы строчивших верноподданнические стишата и брызгавших патриотической слюной на пионерских собраниях – но такие уважения ни у кого не вызывали и лидерами назывались только в стенгазетах. С младших классов никто из нас не видел ничего зазорного в анекдотах про Брежнева и Ленина, а если и клялись традиционным «Честное пионерское!» – так это из-за отсутствия в сердце настоящей святыни – и то через раз ввали.

Чтобы уж совсем развязаться со школой: была, была у нас одна достопримечательность, представлявшая собой незаурядного человека, учителя физики. Он заслуживает отдельного рассказа, и этот рассказ уже написан мною девятнадцать лет назад, по свежим следам, спустя всего пятилетие после последнего звонка. В 1995-м году я опубликовала его во втором номере альманаха «Автограф» и, пожалуй, снова последую своему же примеру, аккуратно перенеся свое сочинение сюда, лишь сделав необходимые купюры на местах устаревших лирических отступлений – опять по простой причине: нечего мне и сегодня добавить к сказанному, а прочитавшие рассказ некоторые одноклассники согласны с моей трактовкой незабвенного образа.

Уроки физики

Рассказ

Много раз я задумывалась: откуда, собственно, берутся мои рассказы? После долгих попыток это понять, я, наконец, пришла к единственному выводу: это моя защита от душевных коллизий. То или иное потрясение, ранив мне душу однажды, потом вечно терзает ее. А если что-то случилось с кем-то другим, на беду мою, я примеряла это к себе. И рана будет тлеть в моем сердце до тех пор, пока я огнем ее не выжгу. Пока не заставлю себя пережить заново каждую секунду страдания, записывая его на бумаге, – только тогда оно оставит меня в покое...

(...)

Никакого прозвища длинные и острые школьные языки за ним так и не закрепили. Называли просто – Физик. Кажется, заглавная буква сама собой подразумевалась. В ее начертании, как и в звучании самого слова, мне все чудится удивительное созвучие с большой порочной птицей филином. Но даже такой, на вид очень подходящей клички Физикю дать было нельзя, несмотря на внешнее сходство.

Возрастом, по тому времени, лет за пятьдесят, внешностью он обладал совершенно потусторонней. Достаточно сказать, что мне он напоминал одомашненного Мефистофеля. Черные волосы без единой сединки наводили на мысль о краске, но на макушке просвечивала небольшая, старательно зачесанная лысина. Волосы никогда не лежали гладко, создавая впечатление двух небольших рожек под ними, и не могу поручиться, что их там действительно не было! Со свойственной детям астральной чуткостью я, рисуя от злости на него карикатуры, неизменно пририсовывала рога (и, кстати, вполне похоже получалось). В молодости Физик, очевидно, выглядел породистым: клювообразный нос его был тонок, лицо, уже старчески обрюзгшее, имело благородную форму. Ничего не могу сказать о глазах – не знаю даже их цвета. Они не играли никакой роли во внешности Физика не только потому, что всегда скрывались за очками, а потому, что у него отсутствовало выражение глаз, но были разные

выражения всего лица. И достигались эти выражения неизвестными средствами – уж, во всяком случае, не мимикой! Кроме периодического грозного сведения бровей я ничего не замечала...

(...)

Средство Системы, которым пользовался на уроках Физик, было средством сильнодействующим, тем самым средством, благодаря которому Система и одержала победу: он создавал в классе атмосферу ужаса.

Одна его фраза в начале урока, произносимая каждый раз одинаково слово в слово, непреклонным скрипучим голосом, заставляла давиться собственным сердцем даже отличников: «Тэк. Первую часть урока посвятим повторению пройденного материала». Эта тирада после «Тэк» говорилась без каких-либо пауз, а ударение Физик почему-то делал на слове «посвятим». Это короткое предложение лично меня всегда приводило на грань обморока, намертво вышибая из памяти те обрывки заданного параграфа, которые там случайно оказывались.

Ничто не принималось Физиком в расчёт: ни больной братишка, ни стостраничный реферат по истории, ни полуночное бдение над стенгазетой, бесполезно было об этом даже заговаривать. Поднимаясь из-за парты, ты сталкивался будто вовсе и не с учителем, имеющим, как все смертные, свои слабости. Перед тобой сидела живая беспощадная **функция**, с которой нельзя было сладить иначе, как идеально вписавшись в её механизм.

Опрос (гораздо больше подходило слово «допрос») был инквизиторской пыткой. Происходил он обычно так. После неизменной вступительной фразы о пройденном материале в классе повисала густая и оглушительная тишина. Повисала на какие-то мгновения, в течение которых Физик наслаждался произведённым эффектом. И мгновения эти я запомнила навсегда. Возможно, мы переживали в несколько ослабленном варианте то, что хором переживала камера смертников в ЧК, когда туда входило начальство со списком на расстрел. Затем следовало: «Тэк. Будут задаваться вопросы для быстрых кратких ответов с места». Еще через секунду Физик бросал классу короткий вопрос, и тишина мгновенно изгонялась шелестом страниц. Дело в том, что ответами чаще всего бывали коротенькие правила или определения, выделенные в учебнике жирным шрифтом. Если в короткие секунды между вопросом и фамилией обречённого последний успевал найти это правило, то почти всегда был спасён: соседу по парте оставалось только идеально тихо прошептать эти несколько слов, а отвечающему – получше навести уши и почётче повторить...

Наконец, в класс падала фамилия, и жертва поднималась из-за парты. Если она произносила свои спасительные звуки, то получала «три» или «четыре», но если молчание затягивалось хоть на минуту – звучало неизбежное и роковое: «Тэк. Садись. Неудовлетворительная оценка». По какому принципу Физик ставил оценки, мне непонятно до сих пор. За чёткий и красивый ответ он мог поставить и «три», и «четыре». Пятёрка была явлением столь редким и неожиданным, что мало кто может припомнить такое за пять лет изучения физики.

Я – помню. Это случилось в первый год преподавания физики, то есть, в шестом классе. Я не только не знала, как отвечать на заданный вопрос, но и вовсе не поняла его смысла. Встаю, хватаясь за парту. И тут Лиза с невинным выражением лица подсовывает мне учебник, открытый на нужной странице. Икая и запинаясь, начинаю читать что-то, чего сама не понимаю, и что от этого звучит ещё более дико. Тут Физик прерывает меня: «Тэк. Достаточно». «Всё, кол», – пронеслось в моей бедной голове. «Я вижу, что материал ты знаешь, – продолжал скрипучий голос. – Поставим тебе "отлично". Садись».

Я обрушилась за парту.

Знаменитая «неудовлетворительная оценка» означала не только печальный факт, что ты в данный момент чего-то не знаешь, но и многое другое, например: отныне и

навсегда, до конца школы, ты вряд ли получишь что-либо выше «тройка», даже если станешь заниматься одной только физикой и полюбишь Физика, как родного дедушку.

Моя фамилия находилась в списке второй от начала, но это ещё ничего не значило. Если Физик с разлёту её и проскакивал, то он мог ещё десять раз к ней вернуться, потому, что ручка его двигалась по журналу в произвольном направлении. Он держал класс в напряжении до конца «опроса», длившегося минут пятнадцать, и за эти четверть часа мы с Лизой у себя на «Камчатке» успевали покаяться во всех грехах. Опросы, конечно, проводили и другие учителя, но там имелась одна лишь банальная альтернатива: но знаешь – получишь «два» (то есть «банан» на школьном жаргоне в наши дни). У Физика для получения обычной «тройки» нужно было пройти через такую унижительную, почти лагерную процедуру, что сердце заходило только от понимания того, что с тобой делают, и от полной невозможности сопротивляться.

Что это было? То, что общение Физика с нами в какой-то степени – извращение, стало понятно для меня где-то в восьмом классе. Но главным было вот что: Физик был самой страшной одушевлённой машиной, которую только может себе представить ребенок. В нём ещё присутствовал какой-то неуловимый нюанс, зыбкая грань между непробиваемостью автомата и утончённым изуверством садиста. И он сам постоянно и мастерски играл на этом нюансе (что-то за него играло), перешагивая этот одному ему известный рубеж туда и обратно и кое-где накладывая одно на другое.

Физик никогда не кричал и не сквернословил, как это делала, например, наша классная руководительница-математичка... (Так и вижу очкастую старую деву, разъярённо мечущуюся по классу и вопящую: «Негодяи! Сволочи!»). У неё был ньюфаундленд. Дама с собачкой. Дура с ньюфаундлендом. Потому что стервой она не была, а просто очень несчастной старой душой. Даже имя у собаки было какое-то дурацкое).

Физик не склонен был и к мелким пакостям. Но мы трепетали и содрогались, выстраиваясь перед уроком у дверей его кабинета. Такой трепет случается и перед учителями, которых, хоть и не любят, но в глубине души уважают. Физика можно было уважать только за одно: за виртуозное владение физикой. В его пальцах кусочек мела пел – пел, как смычок в руках у скрипача, как скальпель в руках хирурга, как шариковая авторучка в моих собственных руках. Возможно, это уважение происходило оттого, что физика для меня – это космос: примерно так же понятно. Да и на вид чёрная школьная доска, испещрённая созвездиями физических формул, всегда напоминала мне звёздное небо. Он захлёбывался физикой, но абсолютно не умел донести её до кого-либо. Доказательством служит тот факт, что у него знали предмет только те, кто вообще любил учиться и доходил до всего своей головой. Я такой не была, и теперь мне вдруг пришло в голову, что мой рассказ выглядит мстительным злопыхательством двоечника. Это не так, но кому докажешь! А вот мой первый муж, но не первый ученик, светлая, хотя и заблудшая голова, именно Физика посвятил свой верлибр, написанный в день выпускного экзамена по физике:

Я счастлив.

Я бесконечно

счастлив.

Сегодня весь день

меня мучили

злые люди.

И хотели правды допытаться.

Ничего у них

не получилось.

Этот день кончился.

Вот так вот. Но Физик не был злым человеком в прямом смысле этого слова. Уж чего-чего, а злых учителей за десять лет обучения в школе с углублённым изучением

английского языка я навидалась вдоволь. Я их уже тогда понимала: во-первых, бабе самой жизнью положено быть несчастной, а школьной учительнице – так втройне, да и зарплату тогда ещё не повысили: озвереешь тут. А причиной исключительности Физика я считаю вот что: он сам себя изначально запрограммировал на злобу, не знаю почему, а в результате получилась прозорливая, всевидящая и насмешливая машина. И запрограммирован был не только он, но и мы – им. На его уроках мы как-то вдруг становились частью хорошо пригнанного механизма, и любое, совершенно незначительное отклонение от налаженной работы могло вызвать столь же непредсказуемую реакцию, как медная пластинка, запущенная в жернова сложного агрегата. Может – застопорить. А может – взорваться. И никто не пробовал рисковать – боялись взрыва. Физик раз и навсегда гарантировал себя от «приятной» неожиданности обнаружить в журнале на своей странице использованный презерватив, а уж тем более от хрестоматийных кнопок на стуле. Совершенно невозможным казалось подойти к нему перед уроком и, поведав о какой-нибудь мелкой домашней беде, попросить не вызывать. Он просто не реагировал – глядел и глядел куда-то мимо. И врединою его не назовёшь: хоть бы раз навредил и спросил кого-то нарочно (ах, какую сладость мести можно было бы из этого извлечь – тушь на сиденье налить, что ли) – нет, он в таких случаях мог и вызвать, и не вызвать, он просто поступал, как если бы ничего не слышал: по необходимости...

Но один раз Система всё-таки дала сбой. После лабораторной работы исчез амперметр, а надо сказать, что вся атрибутика и настоящая автоматика подвергалась строжайшему учету и аккуратнейшему хранению. Нет, это не совершил смельчак, решивший сделать бяку нелюбимому учителю – просто кому-то (я знаю кому, но не в этом дело) действительно понадобился амперметр, а достать в другом месте он не смог. Так иногда задумается старая, подлежащая слому ЭВМ, с которой напоследок развлекаются ополоумевшие от безделья инженеры? Они в таких случаях задают ей некорректные вопросы типа: (...). ЭВМ на секунду замолкнет, и в этом её молчании столько тупого и гордого недоумения, что совсем не удивись тому, что через секунду она станет неуправляемой. Примерно так же выглядел Физик, пересчитывая амперметры во второй раз. В Систему вмешалось нечто постороннее, да ещё и с криминальным оттенком! Продолжение видели не мы, продолжение видела учительская. В те дни фраза «Верните мне мой амперметр!» стала сакраментальной и вошла в краткий словарь Физиковых шедевров, который я не удержусь от искушения привести ниже. «Тэк, – говорил Физик. – Я не буду вести уроки в этом классе. Сначала верните мне мой амперметр». Прибор, кажется, так и не вернули, а педагогический коллектив путём смазки вернул забунтовавший агрегат к размеренной работе.

О! Со стороны это действительно выглядело карикатурно! О карикатурности ходили легенды. «Красны девицы» – назывались девочки. «Добры молодцы» – назывались мальчики. «А я знаю, к какой красной девице нужно посадить грозного льва Р., чтобы он стал кротким львёночком!» – дребезжал Физик из-за кафедры...

Я начинаю рассказывать сейчас о самом удивительном и невероятном в этой кровожадной машине. Она шутила. Её арсенал состоял из шести постоянных шуток и одной жутки. Две я уже привела, а ещё существовало, например, такое выраженьице: «У-у, пло-хо-ва-тень-кий!» (вариант: «У-у, пло-хо-ва-тая!»). Это не являлось оценочной категорией. Это была всего лишь шутка, от которой я, например, чувствовала легкий приступ дурноты. Ещё одна шуточка являла собой подобие «испанского сапога». Звучали она так: «Желающие, запишите домашнее задание!». Нежелающих не находилось. Только однажды один смельчак, по-моему, его звали Толя Л., сунул в крутящиеся детали машины палец: «А кто не желает, тому что?». Машина опять тупо изумилась, но вскоре опомнилась и со скрежетом и хрустом палец отгрызла. Дословно выражений Физика я сейчас припомнить не могу, но, кажется, речь шла о том, что все «воспринимают сказанное как доброжелательную шутку» (ничего себе!), а только он

один, (плоховатый Л.) что-то вроде «юродствует». Причём, слово «плоховатый» не употреблялось: оно относилось к разряду действительно безобидных шуток.

Другой Физиков перл – пирожки с капусткой. Стоя далеко от журнала, в который нельзя было минутным порывом вклеить «неудовлетворительную оценку» и услышав неправильный ответ на мелкий вопрос (ради крупного Физик не поленился бы и дошел до журнала), он изрекал: «У-у, пло-хо-ва-тая! Ты лишаешься пирожка с капусткой!». В обратном случае: «Ну-у, ты можешь сегодня попросить дополнительный пирожок с капусткой!».

Существовало предание о единственной проделке каких-то учеников, которых Физик этими пирожками закармливал. Они, якобы, скинулись всем классом по пять копеек, купили в буфете поднос пирожков с капусткой и в День Советской Армии преподнесли это Физик в большой коробке с бантом. Уж либо Физик тогда ещё не совсем спятил (пардон, не до конца запрограммировался), что решились на такое, либо просто был значительно моложе, либо это враньё или гипербола: возможно, кто-то просто подкинул ему пирожок или два в ящик стола...

Меня же всегда подмывало поднести Физик в большой букет цветов. От себя лично. Я, видите ли, любительница острых ощущений.

О том, что с Физиком творилось нечто, как говорится, не совсем обычное, рассказывает ещё и такой случай с шутками. Запомнила я одно его выражение на уроке, касавшемся то ли спектра, то ли радуги, то ли просто цвета. Он тогда объяснял нам, что мир на самом деле чёрно-белый, «...и рубашки вовсе не разноцветные, да и яркий румянец у нас на щеках – всего лишь различная степень серости...».

В тот же день я совершенно случайно оказалась на таком же уроке в параллельном классе (послали с какой-то бумажкой) и, войдя в класс, замерла, услышав: «...да и яркий румянец у нас на щеках – всего лишь различная степень серости...». Складывалось впечатление, что Физик имел особую методичку с графами: «Класс», «Тема», «Шутки».

Жутка была грозная и единственная – скороговоркой: «Поторопись!». «Поторопиться» приглашалось куда угодно – к своей парте (опоздавшему), к кафедре с дневником, для прописывания «неудовлетворительной оценки», к доске составлять схему... И это – действовало! Человек начинал суетиться и бежал бегом. И из всего, что я помню, это – самое тошнотворное.

Ведомого класса Физик, конечно, не имел, потому что в таком случае его общению с учениками волей-неволей пришлось бы выйти за рамки программы, а создать универсальную на такой случай, очевидно, не было возможности. А до нравственных трудностей Физик не снисходил.

Случаи, когда Физик проявлял какие-то эмоции, кроме истории с амперметром, такая редкость, что я еле могу припомнить одну, о которой ещё расскажу. Наоборот, он поставил всё так, чтобы не только исключить проявление каких-либо чувств самому, но и подавить их в нас. В систему Физика входило ещё и намеренное обезличивание не только учеников, но и своих отношений с классом. Он никогда не здоровался с нами в начале урока и не прощался в конце. Исходя из того соображения, что любой урок – это своего рода беседа, он лишал нас необходимого доброжелательного заряда. «Тэк. Садитесь», – слышали мы вместо «здравствуйте». Очень редко Физик говорил о себе «я», как нормальный человек. Вместо этого он употреблял такие выражения, как «вам указывалось», «неоднократно повторялось», «здесь использовалось»... И уж конечно, на его традиционное в конце урока «Есть ли какие-либо вопросы, неясности в изложенной теме?» никто не рисковал никак реагировать, хотя для большинства всё являлось одной большой неясностью.

В своей машинообразности Физик, пожалуй, оказался большим католиком, чем Папа Римский, Например, он упорно делал вид, что не помнит наших фамилий и, вызывая кого-нибудь по фамилии (имён для Физика вообще не существовало), глядел в пространство, словно не представлял, кто сейчас поднимется. Это не совсем так. Он

действительно не помнил часть фамилий, но подозреваю, что эта часть составляла ничтожный процент от общего количества. Потому что помимо взгляда вдаль, всегда случался и короткий выстрел из-под очков в сторону намеченной цели. Этот взгляд проверял наличие. Очень редко случалось, чтобы Физик вызывал отсутствующего. Зато, если ученику за чем-либо приходилось самому обращаться к учителю, то первое, что он слышал от Физика, было: «Тэк. Фамилия».

Очевидно, будь на то его воля – он заставлял бы нас на уроки физики прикреплять на грудь номера, дабы исключить вообще какое-либо упоминание о личности. Но всё-таки некоторое подобие занумерованности Физик ввёл и сделал это, на мой взгляд, остроумно.

Перед письменными опросами, о которых речь впереди, он раскладывал на столе в ряд соответствующие тетради, которые хранил у себя и за пределы кабинета не выпускал. Чтобы мы не толкались всем классом у стола, отыскивая свою, он велел каждому из нас наклеить на угол тетрадки безобидную картинку («Заиньку, например...» – забытая мной шуточка).

Многие так и делали, легко отыскивая по этой примете свою тетрадь, и это экономило, по крайней мере, пять минут урока. Я наклеила картинку один единственный раз – первую картинку на первую тетрадку по физике – и это навсегда отбило у меня охоту к такого рода дизайну. Я где-то раздобыла небольшой, четыре на три, розовый пакетик, на котором чёрным было изображено улыбающееся женское лицо в полумаске. На голове женщины – шлем с двумя небольшими рожками и – иностранная надпись. Я отрезала картинку и, ничтоже сумняшися, наклеила на тетрадь. На следующий день я обнаружила, что картинка Физиком отодрана (слава Богу, я не догадалась по простоте душевной поинтересоваться у него – почему). Потом одноклассники объяснили мне, от чего был пакетик (от финского презерватива)... И больше – до конца школы – я уж не клеила картинок!

Физику почти всегда удавалось осуществлять свою программу размеренно и беспощадно, за исключением тех особых случаев, когда она давала сбой по причинам, от него независимым, например, исходя от нас – всё же незапрограммированных. Изредка случалось, что программа сама насмеялась над своим создателем, пугая одновременно и нас, так как мгновенно высвечивала в Физике подобие человеческих черт (увы, только подобие).

Случилось так, что одна из учениц нашего класса, будучи вызвана (уже я и сама заразилась его инквизиторской терминологией) к кафедре для составления электрической схемы (какова фразочка), что-то с чем-то неправильно соединила и нажала на кнопку раньше, чем схему проверил Физик.

Вы не почувствуете дальнейшего, если четко не представите себе место действия. А им был длинный-длинный широкий стол, закрытый до пола с трёх сторон и стоявший на возвышении. Физик восседал примерно посередине и, чтобы обогнуть стол и оказаться у парт, преодолевал значительное расстояние, примерно одинаковое с обеих сторон. Злополучная схема составлялась шагах в трёх правее Физика. И вот, эта-то схема, вместо того, чтобы включиться и заработать, неожиданно выдала маленький, но впечатляющий голубой взрывчик. Никто не пострадал. Но ещё не успело погаснуть мгновенное пламя, как Физик совершенно непостижимым образом и вопреки всем законам своей возлюбленной науки, оказался посередине класса. Как он преодолел свою кафедру (именно так мы называли рабочее место этого учителя) до сих пор остаётся неизвестным. Но самым удивительным оказалось то, что в руках Физик цепко держал раскрытый журнал. Будь это любой другой учитель – хоть изверг – класс бы до конца урока лежал от хохота. Но никто даже не икнул. Физик же, если происшествие на какой-то миг и выбило его из привычной колеи, быстро в нее вернулся. Стоя посреди класса и держась за журнал, он изрёк: «Тэк. Неудовлетворительная оценка». И мы оцепенели. Это стоило любой бури, которой мы уже приготовились отдать свои головы.

А Физик в своём древнем, аккуратном, хотя и кое-где запачканном мелом синем костюме, размеренным шагом двинулся в обратный путь к кафедре.

И до сих пор не оставляет меня сумасшедшая мысль: а вдруг тот эпизод был не насмешкой программы, а тоже частью её?!

Школа есть школа. И в учебном процессе неизбежны свои маленькие забавные казусы, которые потом вспоминаешь с умилением и нежностью. Я бы покривила душой, если бы не призналась, что и об уроках физики у меня есть одно такое воспоминание.

Нашему классу «Б» повезло больше, чем заклётым «ашкам», которым, зато, во всём остальном везло гораздо больше. На протяжении предпоследнего школьного года уроки физики у нас регулярно шли через урок после «ашек». И, если они сообщали нам о том, что Физик спрашивал домашние задачи или же собирал тетради, то мы в течение следующего урока (истории) благополучно всё друг у друга списывали и выходили на перемену с чистой совестью и задачами в тетрадях. Надо ли говорить, что Физик, как и любой хорошо смазанный автомат, два раза, на одном и том же уроке в разных классах, дословно повторял одно и то же, не меняя ни одного знака препинания? И, если «ашки» сообщали, что Физик задачи не спрашивал, то никто ничего и не списывал.

Тот день именно таким счастливым и оказался. Урок физики благополучно подбирался к концу, я мирно дремала над снежно-белой тетрадью, блаженствуя от мысли, что до конца нелюбимого урока остаётся три минуты... Но то ли Физик случайно всё-таки поторопился с нами, то ли «ашки» на своём уроке его чем-то задержали, но последние три минуты оказались лишними, и где-то в организме нашего обожаемого сработал сигнал: заполнить. Раздалось абсолютно непредвиденное и потому сокрушительное: «Тэк. Проверим правильность и качество выполнения домашнего задания». В ушах было зазвенело, но звон быстро оборвался, потому что низко спускаться по списку Физик не возжелал. Прозвучала моя фамилия – вторая от начала. А до звонка оставалось уже чуть больше минуты.

Я поднялась, опуская, якобы в тетрадку, глаза и ясно сознавая, что минуты вполне достаточно для «неудовлетворительной оценки».

- По закону Менделеева-Клайперона... – вдруг прошипел кто-то сбоку.

- По закону Менделеева-Клайперона... – обреченно повторила я.

И вдруг – удача! Кл-ай-перон оказался Кла-пей-роном! До конца жизни запомню эту фамилию. К такого рода оговоркам Физик относился чрезвычайно болезненно, потому что не только знак, но и каждая совершенно чуждая для него фонема всё равно должна была стоять на своём месте. Иначе могло разрушиться – всё.

- Подожди, - остановил меня Физик, – Почему Клайперон? Вот Менделеева всегда правильно называют ...

Я, про себя: «Ещё бы, он отец жены Блока!».

-... а вот Клапейрону вечно достаётся...

И в этот блаженный миг на класс обрушился звонок, на который Физик реагировал примерно так же, как зажжённая люстра – на щелчок выключателя.

- Тэк. Садись. Урок окончен.

После этого урока меня отпаивали водой.

Школьники, как всем известно, большие насмешники. Усердно отлучаемые от внешнего мира Физиком, мы всё равно оставались людьми. Ещё Набоков открыл мне глаза на то, что тирана можно истребить – смехом. Этим мы с Лизой и занимались у себя на «Камчатке» с большим успехом все последние два года напролёт. Велика, скажете, доблесть, тихо издеваться над старым бедным учителем, но ...

У любимого учителя имелась странная манера сидеть во время письменных опросов или «самостоятельного изучения материала» за своей высокой кафедрой, ссутулясь и спрятав под неё плечи и руки, оставляя торчащей лишь голову. Так ведь одним из самых приличных измышлений насчёт того, чем он там занимается, было: «Онанизмом, чем же ещё – с такой-то рожей!».

Такого человека, как Физик, очень хотелось представить за пределами школы. Ко всеобщему удивлению, в один прекрасный день от нашей словоохотливой англичанки нам стало известно, что Физик благополучно женат и имеет двух взрослых дочерей, одна из которых занимается парашютным спортом. Англичанка в институте училась в одной группе с Физиковой женой и даже приносила нам её фотографию – так, ничего, даже приятная блондинка. Невозможно было представить себе Физика, пусть молодого, но – признающегося в любви!

«Посмотреть бы, как он с женой любовью занимается!». «Сложный вопрос...». «Начинает, наверное, вот как: "Тэк. Приступим"».

И «Камчатка» плакала от смеха. Такими были зелёные лужайки радости в глухом и тёмном лесу опросов устных и менее страшных, но более странных, опросов письменных.

Последние имели, конечно, одну цель: малыми усилиями выставить недостающие оценки. Но одно до сих пор ставит меня в тупик: почему Физик, за долгие годы работы, конечно, разобравшийся в том, как пишутся эти опросы, намеренно давал себя одурачить и гордо принимал это очевидное всем надувательство.

Письменные опросы проходили таким образом.

После обычной вступительной фразы – «Тэк. В течение первых двадцати минут урока кратко изложите содержание такого-то параграфа» – он замолкал, сидя за своим знаменитым столом, или же шёл в конец класса и становился спиной к стене так, чтобы просматривались все парты – что у кого там лежит. А мы, предоставленные на двадцать минут самим себе, выкручивались, кто как умел. Я, например, приоровилась выдирать нужный лист из учебника, класть его на колени под передник и со скоростью света переписывать, отлично понимая при этом, что моя работа не нужна никому и, в первую очередь, нам с Физиком...

«Тэк. В течение минуты допишите до точки».

Никто не поднимает головы.

«Тэк. На счёт "три" все работы должны быть сданы. Раз».

Все пишут.

«Два».

Шелест бумаги.

«Три».

Топот ног. В воздухе что-то начинает вибрировать. По чужим портфелям, ногам, дипломатам, папкам...

«Тэк. Приём работ закончен».

Знал ли Физик, что называет слово «работа»? Конечно, знал,

Проверял он написанное следующим образом: поворачивал свой увенчанный очками нос с одного листа на другой и сразу произвольно ставил оценку. Проверка тетрадей в общей сложности занимала у него пять минут, после чего он тут же объявлял оценки. Если опрос кто-то написал не в тетради, а, за неимением оной, на листке, то после выставления оценки Физик неповторимым движением швырял листок на пол, себе под ноги. В эти минуты я его уважала. То, что Физик не читает работ, знали все. Один из моих товарищей рискнул здоровьем и во время одного такого опроса переписал каждое предложение слово в слово по пять раз, чтобы достичь необходимого объёма, и получил за свою галиматью «четыре».

Твёрдо зная, как и что делается. Физик всё же иногда устраивал небольшой террорчик, жертвой которого случилось однажды оказаться и мне. Я очень увлеклась списыванием со своего выдранного листа, не заметила, что Физик давно уж смотрит на меня в упор, и опомнилась только тогда, когда Лиза, ткнув меня локтем, дала знать что Физик направляется ко мне.

Я успела накрыть листочек передником и принять целомудренный вид, который, впрочем, всё равно никого проведсти не мог.

- Тэк. Что у тебя в парте?

Я светло глянула:

- Ничего, – и отодвинулась, давая Физику возможность оценить мою правдивость.

- Тэк. Встань.

Я почувствовала «неминучий конец»: сейчас листочек, выданный из казённого учебника, выскользнет из-под передника на пол и... Это уже не медная пластина в машине, а целый кирпич! Я поднялась с тем лёгким чувством в душе, которое всегда некстати возникает в самых неподходящих ситуациях. Но вопреки закону Ньютона, вопреки теории вероятности – листочек не падал! Я стояла, боясь заурчать животом или моргнуть – только не спугнуть прекрасный миг! А секунды шли!

-Тэк. Садись, – скринуло надо мной. – Продолжай работу.

И Физик, ни разу не обернувшись, гордо удалился.

Я знаю одно: как бы человек ни стремился омашиниться – это не может пройти для него безболезненно, в любом случае это насилие над личностью, и Физик, скорее всего, за пределами кабинета превращался в человеческое существо. Конечно, «с личностными особенностями», но в человека. Чуть-чуть эта завеса начала приоткрываться передо мной на празднике «последнего звонка». «Аишки» сделали тогда очень остроумный музыкальный коллаж, сочинив на мотивы тогдашних шлягеров забавные пародии на всех учителей. Физика тоже не забыли. За давностью лет я не помню всего, но выступление, ему посвящённое, звучало на мотив известной тогда песенки: «Вдруг как в сказке скрипнула дверь – Всё мне ясно стало теперь – Столько лет я спорил с судьбой – Ради этой встречи с тобой». В интерпретации десятого «А» с намёком на письменные опросы, это звучало так:

Вдруг как в сказке

Скрипнул портфель.

Всё мне ясно

Стало теперь,

Пол урока спорил с судьбой

Не напрасно было!!!

Дальше под другую музыку кто-то из класса выкрикивает: «Кто сейчас пойдет к доске?!!». Хор: «Пло-хо-ва-тень-кий!». И что-то вроде «добры молодцы в печали, красны девицы в тоске» – не помню, кто – в печали, а кто – в тоске, да и дальше – намертво забыла, а помню только, что все до коллик смеялись, и пародия на Физика получилась самой яркой (благодаря обширному материалу).

Во время исполнения я очень близко находилась к Физику и могла наблюдать его непосредственную реакцию. Бедняга сразу как-то весь уменьшился, сидел, чинно положив руки на колени, нервно притоптывал ногой и пылал как закат, а уши его стали уж и вовсе цвета клубничного варенья и странно оттопырились. Весь вид Физика казался настолько трогательным и уморительным, что я искренне удивилась про себя: «И чего, о, Господи, я так боялась пять лет?!». И именно этот, так по-детски смущавшийся человек, несколькими днями позже на выпускном экзамене по физике собственноручно обыскал мою Лизу – взрослую уже девицу – выискивая ишаргалки. Просто, не говоря ни слова, распахнул ей пиджак – и...

Приподнявшаяся было завеса тяжело рухнула уже навсегда.

*Я рассказала обо всём этом вовсе не для того, чтобы облить грязью человека, и теперь, когда он, несчастный, даже в суд на меня за этот очерк подать не может (фамилию я не указала, да и он не захочет связываться), безнаказанно наговорить о нем возможно большее количество гадостей. Я ставила своей целью только одно: разобраться. Просто понять человека, которого помню незамутнённо спустя вот уже пять лет после школы, который не только стал притчей во языцех среди своих учеников, но о котором в своё время ходили легенды по всему району. Я своими ушами слышала тогда в райкоме комсомола, как Физик – и особенно пирожки с капусткой – горячо обсуждались учащимися **не нашей** школы.*

Для всего этого, несомненно, существовали какие-то свои причины, их неустанно искали с одной целью: оправдать. Был даже пущен слух (говорилось в то время об этом шепотом, с испуганными глазами), что Физик в молодости успел побывать в сталинском лагере, где «немного тронулся» – это добавляли совсем уж беззвучно. Вездесущие школьники, конечно, нашли бы доказательства, если б это в действительности было так, потому я склоняюсь к мысли, что всё это кем-то впечатлительным выдуманно.

Но, может быть, может быть, хоть и шансов – один к тысяче, так правда и было...

И кто, Боже Милосердный, кто простит мне тогда этот рассказ?

1989 г., Санкт-Петербург

(Текст не редактирован).

Все мои настоящие интересы лежали за пределами школы – с периодическими любовями, становившимися все менее и менее платоническими, но настолько скучными для меня теперь, что и читателя ими вгонять в сон не стоит, с постоянным чтением всего, что попадалось под руку, и столь же запойными писаниями чудовищных стихотворных произведений, часть из которых я даже дерзнула спустя лет десять опубликовать в сборнике «Цветные сны»...

В старших классах я возвращалась домой около четырех часов – после прогулки с Лизой по парфюмерным отделам – и у меня оставалось еще вполне объемное время до прихода родителей. Чаще всего я проводила его так: разогрев себе обед, несла его в тарелках в ванную комнату, ставила на деревянную подставку поперек ванной и забиралась в теплую воду с очередным томом в руках и запасным – в сухой раковине. Я неторопливо обедала прямо в воде, одновременно читая – и так проводила около трех часов, самых лучших и наполненных часов в моих сутках, часов, которые делить я ни с кем не собиралась. Когда возвращались родители, то, соврав им, что уроки благополучно сделаны, чего они никогда не проверяли, и чем я не занималась вообще никогда класса примерно с восьмого, я отправлялась к своей подруге Вике К., жившей на той же лестнице, двумя этажами выше. С ней мы гуляли или пьянствовали, потому что ее мать работала в ресторане, и недопитых бутылок в их доме всегда было предостаточно для скромных девичьих нужд. Пьянствовала, признаюсь, я и с Лизой, и с временно прибившейся к нам ученицей параллельного класса Асей Д. – в этих случаях готовя глинтвейн из дешевого портвейна и распивая его в элитном доме с видом на «Аврору», отчаянно ругая за глинтвейном Советскую власть, превознося Солженицына («Солжа», как называли его в ту пору диссиденты) и обращая при этом непосредственно к вентиляционной решетке под потолком со словами: «Эй, товарищ лейтенант, еще не офигел слушать?!». Подразумевался персонаж тогдашнего диссидентского фольклора:

- А у нас в квартире «глаз».

А у вас?

- А у нас – микрофон:

Вон, вон, вон и вон.

- А из нашего окна

Площадь Красная видна.

Я в оптический прицел

Даже лица разглядел...

Весело было и совсем уже в те годы неопасно.

А вообще, все очень грустно. И теперь, наступившая в воспитании собственного ребенка на те же грабли, что и тысячи гордых родителей до меня, включая сюда и моих собственных, я с полным правом могу прокричать глубоко выстрадавшее: дети должны быть детьми! Не может, не должна двенадцатилетняя девочка шпарить наизусть «Поэму без героя» под умиленным оком мамы или папы, как это происходило со мной, причем

родители сияли: наш ребенок – вундеркинд. Не вундеркинд, а мученик, интеллигентский страдалец. Не имеет морального права отроковица четырнадцати лет писать некую «Поэму о поэте» с живописными и очень психологически достоверными подробностями расстрела – с точки зрения расстреливаемого – и в таком же возрасте – пьесу «Тирады о смехе и слезах» с призывами к насильственному свержению существующего строя. Каждая книга, открываемая ребенком, должна быть получена им только из рук родителя или педагога, а остальные – находиться в священном запертом шкафу. Ни в коем случае, никогда, как бы ни был огромен соблазн, нельзя поощрять в ребенке мысль, что он особенный, не такой, как все, чуть ли не Божий избранник. Попытки самого ребенка обособиться и отмежеваться от себе подобных в младшей группе детского садика должны пресекаться со всей возможной жесткостью, вплоть до законной суровости: «С чего ты взял, что тебе позволено больше, чем другим?!». Не за разбитые чашки или пролитый суп нужно наказывать детей – а за проявления гордости и самости. Никто не призывает давить в зародыше «творческую личность» – но, лишь заметив ростки будущего искажения души и психики, необходимо вырывать сей сорняк без жалости, пока не поздно, пока не вырос плохо поддающийся исправлению гордец, и через четверть века после окончания школы объявляющий своих учителей малограмотным сбродом. Ребенок должен воспитываться под контролем и в непрерывном труде до изнеможения – таком, чтобы руки его никогда не были пусты: либо данная взрослыми книга, либо орудие труда – все равно, какого: будь то рукоделье, работа по дому или вскапывание огорода. Свободного времени на мечтания нельзя оставлять вообще, ни одного часа, и для этого день ребенка следует расписать поминутно, жестко контролируя исполнение расписания. Бесконечно правы те родители, которые записывают чадо в пять-шесть кружков, чтобы после школы оно летело на музыку, с музыки – на спорт, со спорта – на английский, потом домой делать уроки под контролем матери, а, сделав их, проваливалось бы в сон без сновидений. Это касается атеистических семей, а в религиозных к труду должно быть прибавлено строгое молитвенное правило и обязательная воскресная школа – пусть, пока маленький, жалуется на то, что нет возможности побегать во дворе: оттуда никто еще не приносил ничего хорошего – зато взрослым избегнет психопатий и нервных расстройств...

Иначе, родные мои интеллигенты, получите такого ребенка, какого описывает только что почти дочитанная вами третья часть. Хотите?

Инаковость не только пытка, но и великий грех, из-за которого сам пресветлый Денница превратился в то, что все мы знаем и с чем так безуспешно боремся, это из его темной области к таким детям самое пристальное внимание, потому что они – легчайшая добыча... Ослепленные талантами своего ребенка, на муку вы растите его, легкомысленные родители-интеллигенты, и хорошо еще, если мука ограничится веком сим... Говорю это как прошедшая все ступени инакового взросления лично, говорю как жертва, а не как герой.

Но не зря они предстоят за нас в том мире, который заслужили по делам своим, – наши предки. Не пустые слова – родовая связь, родовая память... Господь, карающий до третьего колена потомство нераскаянных грешников, до двадцатого благословляет род праведника.

Кто молился за меня на небесах, когда я, последние два года в школе учась, почти перестала туда ходить, прогуливая постоянно и вызываясь? Не прабабушка ли Анна, дважды сходившая в Иерусалим пешком? Или безымянный расстрелянный большевиками протоиерей Михаил? Кто-то из тех предков, чья жизнь безвестно сгинула для меня во тьме веков, но кто велик там, где не пропадает ничто доброе?

Ведь свою элитарную по тем временам школу я в старших классах практически бросила, мотивируя это для себя тем, что учиться мне там нечему (и отчасти так оно и было); иным вещам меня, в силу моей природной к ним неспособности и научить было невозможно: я и до сих пор двузначные числа складываю на калькуляторе, а что уж говорить об интегральном исчислении! Моя разнузданность поддерживалась еще и полной безнаказанностью: в теперешнее время мне бы с таким отношением к учебе не то что высшего, но и среднего образования не получить, но в те годы действовал строгий

постулат: советская школа – лучшая в мире, и поэтому в ней не может быть двоечников. Неудовлетворительных оценок в четверти и, тем более, в году нам не ставили, тройки натягивали всегда, и, зная это, я с наслаждением унижала учителей в глаза. «Веселова, сходи хоть на один урок астрономии: оценку же поставить надо!» – уже без злости, а почти обреченно убеждала меня как-то раз завуч, случайно поймав в школе, куда я заскочила за своей какой-то явно неучебной надобностью. Я усмехнулась ей в лицо и отвечала со всем возможным цинизмом: «Зачем? Вы же сами знаете, что и без меня поставят». Это была сущая правда, которую мы обе знали. «Уйди с глаз моих! – передернулась она. – Уйди от греха, пока по морде не получила!». Я прекрасно понимала, что могу однажды и получить, не вечно же мотать учителям нервы – и быстренько ретировалась из школы прочь. Все с той же целью – поставить оценку – наша Марьяша вызвала меня раз на математике (как я там очутилась – до сих пор не понимаю, наверное, просто договорилась с кем-то покурить после урока в подворотне (клуб «Дымок» – так ее называли старшеклассники), и боялась упустить напарника, владельца сигарет). Она прекрасно знала, что то легчайше уравнение – и с ее точки зрения, и, вероятно, с объективной – я решить категорически неспособна, и даже пробовать не стану, потому что мои познания в математике закончились на формуле дискриминанта. И вот она, потев от унижения и, представляю, как ненавидя меня в этот момент, обхватила голову руками, делая вид, что поглощена изучением журнала и ничего вокруг не видит. Класс начал подсказывать мне хором и вслух – но и подсказка была рассчитана на человека, понимающего хотя бы азы интегралов. Я стояла лицом к одноклассникам, улыбаясь, разводя руками и пожимая плечами: мне было весело и интересно; дело закончилось тем, что Лиза вышла прямо к доске и написала на ней решение самостоятельно (не надо думать, что вполне бескорыстно: сама она была начисто лишена способности писать сочинения, и, в результате, всегда, когда это требовалось, включая сюда и выпускные экзамены, я наскоро писала два: себе и ей – таково было взаимовыгодное сотрудничество). Видя, что Лиза возвратилась к себе за парту, Марьяша обернулась и смогла лицезреть на доске идеально, на пятерку с плюсом решенное уравнение. «Садись, три», – хмуро процедила она, и я, довольная, отправилась на место: таковы были правила игры, свято соблюдаемые обеими сторонами...

Как я оправдывалась за прогулы? Очень просто: как-то раз в десятом классе за пять рублей знакомый ученик гравера сделал мне с оттиска отличную печать нашей поликлиники, и проблема отпала навсегда: я снабжала справками не только себя, но и всех желающих, а до того счастливого дня приходилось каждый раз разыгрывать небольшой спектакль. Я шла в травмпункт, где для посещения врача сначала выписывалась в регистратуре разовая медкарта – на большом листе бумаги под печатью поликлиники писалась фамилия и инициалы. Я брала эту медкарту и, не идя, разумеется, ни к какому врачу, преспокойно отправлялась по своим делам. Дома я обрезала лист с печатью до формата обычной справки и выписывала «больничный» сразу недели на три, чтоб спокойно организовать себе свободный график посещения школы. Однажды, правда, мой будущий первый муж, в женихах ходивший, попросту ограбил для меня подростковый кабинет нашей поликлиники – на глазах врача и медсестры взял стопку пропечатанных бланков, сказал изумленным медичкам: «Большое спасибо», – и невозмутимо вышел, оставив позади немую сцену. Родители об этих моих подвигах, разумеется, не знали, потому что я предусмотрительно имела два дневника: один для них (вернее, для папы, мама особо не интересовалась), другой для школы. Дневник для папы я вела вполне правдоподобно, особо не перехваливая свою успеваемость и даже иногда для порядка вписывая туда красными чернилами невинные замечания от имени учителей: «Бегала на перемене», «Болтала на уроке» и, чтобы папе потрафить: «Опоздала на экскурсию в музей-квартиру Ленина» – знали ведь родители, что у них дочка-шалунья! Другой дневник, заглянув в который, кто угодно легко мог упасть в обморок, предназначался для учительских экзерсисов – впрочем, когда на определенном этапе они махнули на меня рукой – лишь бы выпустить без осложнений! – стало возможным от второго отказаться: дневник попросту пустовал, сияя

незаполненными страницами – а хождениями на родительские собрания мои мама с папой никогда не заморачивались: времени не хватало.

Болезни со мной в те годы приключались редко: благодаря материнской заботе вывозить любимую дочь ежегодно на юг, к Черному морю, я пользовалась несокрушимым здоровьем и почти анекдотическим иммунитетом. Помню, в эпидемию гриппа – настолько повальную, что при поликлиниках организовывались дневные стационары, я, желая отдохнуть дома легально, отправилась в такой стационар и, набредя там на своих больных ровесников, попросила их всех хорошенько меня «обкашлять», чтоб заразить зловредным вирусом уж наверняка. Как они ни старались – вирус меня не взял, как не смогли причинить вреда и полтора кило мороженого, съеденные на обмерзшей скамейке при расстегнутом пальто. Если уж что случилось – так по-крупному: например, вырос однажды прямо под носом, в пресловутом «носогубном треугольнике» опасный для жизни фурункул – и страдала я мучительно жестоко – так, что даже сегодня страдания те не забыла...

Итак, свободного времени стало у меня хоть отбавляй, и для начала шла я чаще всего в Зоологический музей или Кунсткамеру, после – в Эрмитаж (и однажды нашла там, в щели между сиденьем и спинкой красного бархатного дивна, Бог весть кем туда засунутую красную десятку – целое состояние по тому времени!), а иногда просто в кино. Рядом с синагогой на улице Декабристов был тогда такой Дворец Первой Пятилетки – и сеансы начинались в десять часов, что очень мне подходило. Чего я только там не смотрела! А как научилась играть в морской бой на игровом автомате! Когда сеанс около двенадцати заканчивался, я возвращалась на Театральную площадь и, не торопясь, шла в сторону Никольского собора... А теперь опять слово литературному герою, обладателю моего ценного – наиценнейшего – подарка, о Вячеславу из «Оставь надежду», бывшему актеру.

Сорвалась у нас как-то репетиция. А мы на сцене Консерватории тогда работали. Час времени свободного появился. Ну, думаю, что в буфете торчать – у меня тогда напряженные отношения в труппе сложились – пойду, прогуляюсь. И прогулялся двести метров – как раз до Николы Морского. Походил, посмотрел, интересно. Вижу, икона какая-то необычная, с тремя руками. Мать Божия. Подошел поближе посмотреть. Тут меня и жахнуло. Сам не знаю что. Стою, не отрываясь, в глаза Ей смотрю. И ноги не идут. Через некоторое время ощущения какие-то странные появились. Я лицо свое потрогал – мать честная! – оно слезами залито. И все текут слезы-то! Я было испугался: срам ведь какой, мужик здоровый ревет! Но ничего поделать с собой не могу, слезами обливаюсь, аж трясусь весь и все на Нее гляжу... Наконец, уйти смог. Выхожу на улицу и чуть на месте не падаю: темень на дворе, поздний вечер, а когда зашел – часа два было, не больше... Ну, дела, думаю. И с тех пор, как рядом оказывался – всегда к Ней заходил. Не молился, ничего подобного, я и слово-то такое тогда только в пьесах старых встречал. Стоял и смотрел. Казалось, помню, что лицо у Нее живое, прямо дышит. Дышит и плачет, дышит и плачет... И с сердцем у меня невообразимое что-то делалось – будто рвалось на части. Наконец, я священника увидел и его спросить додумался – что такое странное со мной у иконы творится. А он отвечает – так просто, я даже удивился: это Богородица к тебе в душу заглянула. Так всегда, чадо, бывает, когда Она кому в душу заглядывает... Ну и пошло потихоньку... И ведь знаете, что самое главное? Я тогда и друзей своих туда, к иконе той, приводил, и даже теперь, когда кто из Питера приезжает, спрашиваю: видел ли Троеручицу в Никольском, как она тебе? И, представьте, все в один голос: да, хорошая икона, красивая. Оклад интересный. Ну, а еще что-нибудь, особенное, спрашиваю. А они: икона как икона, икона и есть икона... Выходит, Она мне лично это сделала, а?

У о. Вячеслава сорвалась репетиция, а у меня «прогулялась» школа – только и всего. Впечатления свои я подарила ему целиком и полностью, и могу к этому добавить, что мне, родившейся в день Зачатия Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и Словенской иконы Божьей Матери, а День Ангела имеющей в день Владимирской, Пресвятая

Владычица по чьим-то молитвам изволила даровать покровительство еще и другого Своего образа – Треручного, что в моей уже взрослой жизни чудесно подтверждалось не раз и не два – но расскажу я об этом, даст Бог, уже в другой книге.

Формальное детство неумолимо заканчивалось, юность оказалась короткой и невнятной. Что еще сохранила память? Сохранила день смерти Брежнева и очень ясное ощущение, что являешься свидетелем конца эпохи, и начала неведомой новой эры... В тот день, когда об этом объявили, у нас была так называемая «практика». В старших классах раз в неделю вместо уроков нас гоняли на фабрику «Веретено», где заставили получить профессию мотальщицы – и мне даже забавно, помню, было ездить вдоль ревущей и жужжащей машины, перематывающей белые нитки, на большой электрической тележке – и связывать специальным приемом оборванные концы хлопковых нитей (на такую тележку я тоже самым роковым образом посадила потом героиню своего романа «Дерево на крыше» – Настю Волкову). Когда мы разделись в гардеробе, подруги обнаружили на мне черную юбку и черный свитер – и сама не знаю, почему я так оделась в тот незабываемый день. «Ты что, в трауре?» – спросил кто-то с усмешкой. «Да нет, – вдруг произнесла я первый и последний раз в жизни оправдавшееся пророчество, – просто все надеюсь, что вдруг Брежнев помрет». О его кончине объявили ровно через три часа...

Помню первую неудачную попытку поступления в педагогический институт им. Герцена – вкатили «три» по истории за то, что никак не могла растолковать, в чем же «реакционность» аграрной реформы Столыпина, проявив тем вопиющую политическую незрелость. И вторую – удачную, в Университет на филфак, где училась походя, между другими, куда более важными делами в жизни – замужествами, родами, разводами, любовями, написанием и изданием первых книг, организациями всякого рода Лито... Поэтому смутны лица педагогов и вечно менявшихся сокурсников, и никогда в жизни не пригодился многострадальный диплом.

Осталась в памяти и первая самостоятельная поездка в стольный (столицу Хакасской ССР) город Абакан по сугубо сердечному делу – и свое искреннее изумление перед тем фактом, что одна банка тушенки, размешанная в трехлитровой кастрюле вареных макарон, – праздничное лакомство для, по сути, голодающих жителей республики... Хлеб, не черный, не белый и не серый, а рыжий, цвета мокрых опилок и крошащийся при попытке его нарезать, – за которым надо было провести в очереди утром не менее трех часов... Розовые Саяны в шапках всех цветов радуги, неожиданно на рассвете восставшие в неземном своем великолепии надо мной и всем городом среди белодымного ноябрьского мороза...

Не забыть и Смерть, однажды подступившую (в моем случае – подплывшую) вплотную и заглянувшую в лицо. Это было в местечке Варданэ, что на Черном море между Лоо и Лазаревским. Черт понес меня (это пишу без всякого переносного смысла, потому что не ангелы же подбили на такую глупость) купаться в двухбалльный шторм в море, причем на пляже, состоявшем из крупной гальки, да в месте, где настоящая глубина начиналась практически сразу. Все произошло, как теперь понимаю, хрестоматийно: заплывать в море я заплыла, а вот выйти никакой возможности не было, и дело закономерно кончилось тем, что у самого берега меня захлестнула огромная, чуть не с дом, волна, в которой я благополучно и захлебнулась. Никаких черных тоннелей *там* не существует, просто в какой-то неуловимый момент физическое страдание прекращается при полностью сохранившемся сознании. Я прекрасно понимала, что уже не дышу – дышать мне больше не нужно! – и нахожусь под водой, причем эту бурлящую воду прекрасно вижу, как и солнце, отчаянно пробивающееся ко мне сквозь ее зеленую толщу, но при этом мне тепло и покойно, и единственная мысль об оставляемом навеки мире такова: «А ну его на фиг...». Вытащил меня папа. Случайно. До того они с мамой, стоя рядом на берегу, за меня непостижимым образом не беспокоились, решив, что я, хорошая пловчиха, беззаботно играю и кувыркаюсь в ласковых волнах, и ни на секунду не

подумали, что я самым банальным образом тону и даже не могу позвать на помощь... Мое тело выкинуло прямо к ним под ноги – папа заметил, что я, вроде как, нырнула в ту волну – и рефлекторно наклонился к пенному гребню, разбившемуся перед ним. Не успев удивиться, он нащупал там мою голову – и задержал ее за волосы, не дав этим волне, откатываясь, утянуть меня с собой навсегда. Через одиннадцать лет я заставила совершить столь же приятный заплыв очередную свою героиню – Аню из «Дерева на крыше».

Спустя чуть больше года, 7 ноября 1987-го, утром в нашу родовую палату вошла дежурный врач: «Ну, признавайтесь, которые из вас сегодня собрались рожать мне юбилейных деток?». Ибо то был последний – семидесятилетний – юбилей, и традиционно в «родилке» дежурила усиленная, праздничная бригада. В тот день родов не произошло вообще. Ни одних. Словно женщины сговорились провести политическую забастовку, чтобы их дети не праздновали потом всю жизнь день рождения в дату, которую чуть позже вся страна станет считать днем траура – зато 8-го уже обычная бригада приняла восемнадцать родов. Моих среди них не было, я рожала десятого числа, в день милиции. В тот последний день моей юности уже лежал под белым небом глубокий толстый снег, и вся жизнь вполне готова была круто перемениться.

Головокружительный зигзаг сделала не только моя жизнь – но и судьбы целых многомиллионных народов. Словно неопишимо огромная река человечества вдруг произвольно поменяла свое русло – и не знаю, что труднее в книге для писателя – то ли ее подобающе начать, то ли вовремя закончить.

*2008 г.
Букино*